UNIVERSITY OF TORONTO
3 1761 00313053 1

416/1477

274 p.

45.—

Purchased for the

LIBRARY *of the*

UNIVERSITY OF TORONTO

from the

KATHLEEN MADILL BEQUEST

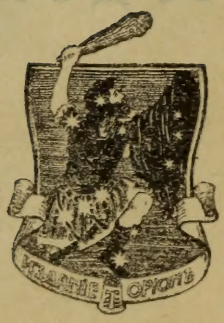
Проф. Д. Н. Овсянико-Куликовскій.

Л. Н. ТОЛСТОЙ

КАКЪ ХУДОЖНИКЪ.

ИЗДАНІЕ 2-е, ИСПРАВЛЕННОЕ и ДОПОЛНЕННОЕ.

Книгоиздательство „ОРІОНЪ“.
С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
1905.



LIBRARY
JAN 16 1969
UNIVERSITY OF TORONTO

PG
3410
O81
1905

Типо-литографія „Энергія“, Загородный, 17.

ОГЛАВЛЕНІЕ.

Предисловіе.

ГЛАВА I. Постановка задачи 1

ГЛАВА II. Художественная автобіографія въ произведеніяхъ Толстого: Ник. Иртеньевъ, Нехлюдовъ, Оленинъ, Левинъ 7

ГЛАВА III. Художественныя *открытія* Толстого. Народные типы въ „Казакахъ“ 38

ГЛАВА IV. Типы національные. Каратаевъ 55

ГЛАВА V. Типы національные. Кутузовъ. 79

ГЛАВА VI. Великосвѣтскіе типы. Кн. Андрей Болконскій . . . 97

ГЛАВА VII. Великосвѣтскіе типы. Пьеръ Безуховъ 135

ГЛАВА VIII. Романъ „Анна Каренина“. Великосвѣтская психологическая форма. Графъ Вронскій. 165

ГЛАВА IX. Разложеніе аристократической психологической формы. Стива Облонскій 190

ГЛАВА X. А. А. Каренинъ. Бюрократъ въ изображеніи Толстого 212

ГЛАВА XI. Душевная драма Левина и переходъ Толстого отъ „наблюдательнаго“ творчества къ „экспериментальному“ 242

ГЛАВА XII. Краткій обзоръ важнѣйшихъ художественныхъ экспериментовъ Толстого 255

ПРЕДИСЛОВІЕ.

Въ предлагаемую книгу вошли семь главъ (I—VII) перваго изданія этого сочиненія, три главы (VIII, IX, X), напечатанныя въ журн. „Жизнь“ (1900 г.), и двѣ вновь написанныя главы (XI и XII).—Авторъ не задавался цѣлью обозрѣть всю художественную дѣятельность Толстого и остановился на тѣхъ ея сторонахъ, которыя онъ считаетъ наиболѣе характерными для художественнаго генія Толстого. — Моральныя исканія и ученія великаго писателя затронуты постольку, поскольку это необходимо для пониманія его художественнаго творчества вообще и для характеристики его пріемовъ въ произведеніяхъ „тенденціозныхъ“, какъ „Власть тьмы“, „Смерть Ивана Ильича“ и др.

ГЛАВА I.

Постановка задачи.

Въ обширной литературѣ мемуаровъ, какъ извѣстно, не претендующей на титулъ художественной, не трудно однако найти такіе мемуары, которые производятъ впечатлѣніе художественное, и даже такіе, которые по праву могутъ быть разсматриваемы не какъ простая копія дѣйствительности, а какъ ея художественное обобщеніе и истолкованіе. Къ числу таковыхъ въ нашей русской литературѣ относятся «Семейная хроника» С. Т. Аксакова и «Былое и Думы» Герцена.

На вопросъ: гдѣ таится и къ чему сводится та характерная черта, въ силу которой художественные мемуары должны быть отличаемы отъ произведеній настоящаго искусства? нужно отвѣтить такъ: эту черту слѣдуетъ искать не въ самихъ мемуарахъ, не въ самихъ образахъ, въ нихъ воспроизведенныхъ, которые зачастую равно ничѣмъ не отличаются отъ образовъ искусства, а въ личныхъ намѣреніяхъ авторовъ. Мемуаристъ не задается цѣлью творить, обобщать дѣйствительность, создавать типичные образы: его задача—разсказать свою жизнь, передать свои впечатлѣнія, сфотографировать тотъ уголокъ дѣйствительности, который ему знакомъ. Но если у него есть даръ художественнаго обобщенія, то образы, которые онъ рисуетъ, легко могутъ выйти художественными, даже безъ всякой съ его стороны преднамѣренности. Такъ и вышло у Аксакова и Герцена. Въ «Былое и Думы» (помимо другихъ сторонъ этого поистинѣ великаго произведенія) найдутся образы несомнѣнно художественные (какъ напр. фигура отца автора).

Мемуаристъ съ художественнымъ даромъ—это тотъ-же художникъ, но только ограниченный въ своемъ творчествѣ рамками дѣйствительности, которыя онъ самъ себѣ поставилъ.

Рисуя, напр., себя, своихъ родителей, братьевъ, сестеръ, знакомыхъ, друзей, враговъ и т. д., онъ не имѣетъ въ виду создавать новые образы, кромѣ данныхъ ему самой дѣйствительностью, а потому и не позволитъ себѣ устранить изъ фигуры отца извѣстныя черты, несущественныя для художественности образа, и замѣнить ихъ чертами, взятыми изъ характера дяди, чтобы путемъ такой амальгамы создать новую—типичную индивидуальность. Но, въ то-же время, ничто не мѣшаетъ ему въ изображеніи даннаго лица, дѣйствительно существовавшаго, выдвинуть на первый планъ, искусно сгруппировать и ярко освѣтить его типичныя черты и такимъ образомъ написать портретъ художественный.

Мемуаристъ-художникъ ставитъ себѣ цѣлью одну только Wahrheit—въ смыслѣ фактической правды, но у него эта Wahrheit возводится на высшую ступень—правды художественной, не переставая быть и фактической. Художникъ въ собственномъ смыслѣ ставитъ себѣ цѣлью Dichtung, но онъ воленъ въ основу этой Dichtung положить «истинное происшествіе» и «вывести» лицъ, въ самомъ дѣлѣ существовавшихъ,—только онъ не вмѣняетъ и не можетъ вмѣнять себѣ въ обязанность оставаться вѣрнымъ фактической правдѣ.

Со стороны психологіи творчества, художественные мемуары, какъ и произведенія настоящаго, свободнаго искусства, совмѣщаютъ въ себѣ процессы и субъективные, и объективные: мемуаристъ изображаетъ себя и то, что онъ самъ пережилъ, переиспыталъ, перечувствовалъ, но рядомъ воспроизводитъ и другихъ людей и вообще то, что онъ только наблюдалъ.

И такъ, различіе между художникомъ-мемуаристомъ и «настоящимъ» художникомъ заключается въ намѣреніяхъ, въ поставленной себѣ задачѣ, говоря психологическимъ терминомъ,—въ волевомъ актѣ. Но самый-то волевой актъ чѣмъ-нибудь вѣдь обусловленъ: художественный волевой актъ обусловливается всею совокупностью художественныхъ силъ писателя. Художникъ-мемуаристъ не покидаетъ почвы лично ему извѣстной дѣйствительности, потому что только въ этомъ родѣ творчества, который можно назвать «связаннымъ» или эмпирическимъ, онъ и можетъ быть мастеромъ — по самому свойству своего таланта. Въ искусствахъ «изобразительныхъ» этому роду отвѣчаетъ портретная живопись и таковая-же скульптура.

Это, стало быть,—особая спеціальность въ искусствѣ и особый даръ. Какъ не всякій живописецъ одаренъ талантомъ пор-

третной живописи, такъ не всякій поэтъ-художникъ обладаетъ даромъ мемуариста. Тургеневъ, повидимому, если и обладалъ имъ, то лишь въ слабой степени. Его отнюдь нельзя было-бы назвать эмпирикомъ въ искусствѣ: факты дѣйствительности всегда служили ему только отправными точками для свободнаго творчества. Тургенева (такъ можно думать) и не влекло въ сторону искусства связаннаго, несмотря на богатство впечатлѣній, на обиліе интереснѣйшаго матеріала, который былъ въ его распоряженіи. Его «воспоминанія» (Бѣлинскій, художникъ Ивановъ, Загоскинъ, Литературный вечеръ у Плетнева) отрывочны, написаны «между дѣломъ» и, представляя интересъ въ другихъ отношеніяхъ, художественнаго значенія не имѣютъ.

Но возможна и иная разновидность художественнаго генія, въ которой совмѣщаются оба творчества, и свободное, и связанное. Обладая огромнымъ даромъ художественной комбинаціи, т. е. способностью создавать новые образы, художникъ однакоже не отрывается отъ почвы дѣйствительности, въ особенности отъ той части ея, которая входитъ въ сферу его субъективнаго опыта. Будучи настоящимъ художникомъ-творцомъ, онъ въ то-же время не перестаетъ быть въ извѣстныхъ предѣлахъ эмпирикомъ, въ извѣстномъ смыслѣ—мемуаристомъ.

Таковъ Л. Н. Толстой.

Наша задача и будетъ состоять въ томъ, чтобы, по мѣрѣ возможности и умѣнія, выдѣлить совмѣщающіеся въ громадномъ талантѣ Толстого элементы эмпиризма и свободнаго творчества и дать посильную оцѣнку ихъ. Намъ предстоитъ разсмотрѣть: 1) ту сторону въ произведеніяхъ Толстого, которая можетъ быть названа художественными «мемуарами» и «семейной хроникой»; 2) ту, которая, хотя и не подводится подъ первую рубрику, но роднится съ нею въ томъ отношеніи, что основана на данныхъ субъективнаго опыта: сюда относятся всѣ тѣ образы, для созданія которыхъ Толстой черпалъ матеріалъ изъ богатой сокровищницы своей собственной натуры; 3) образы, основанные на наблюденіи и представляющіе продуктъ свободнаго творчества.

Не трудно показать, что первая и вторая рубрики занимаютъ въ творчествѣ Толстого весьма видное мѣсто,—можно сказать, добрая половина его художественныхъ силъ была направлена именно въ эту сторону. То, что мы называемъ «семейной хроникой», составляетъ содержаніе знаменитыхъ повѣстей «Дѣтство»

(1852), «Отрочество» (1854) и «Юность» (1855—1857), красною нитью проходитъ черезъ всю великую эпопею «Войны и Мира» (исторія семьи Ростовыхъ и отчасти Болконскихъ) и завершается въ другой великой эпопеѣ, романѣ «Анна Каренина», изображеніемъ семейной жизни Левина. Это—первая рубрика. Вторая, вмѣщающая въ себѣ образы, построенные на основѣ самоанализа, представлена фигурой разсказчика въ повѣстяхъ «Дѣтство», «Отрочество» и «Юность», княземъ Нехлюдовымъ въ «Отрочествѣ», «Юности» и «Утрѣ помѣщика», Оленинымъ въ великолѣпной «кавказской» повѣсти «Казаки», въ извѣстной мѣрѣ Пьеромъ Безуховымъ (и также, если не ошибаюсь, кн. Андреемъ Болконскимъ) въ «Войнѣ и Мирѣ» и, наконецъ, Левинымъ въ «Аннѣ Карениной». Какъ видитъ читатель, все это фигуры первостепенныя; съ художественной стороны, большинство ихъ (Безуховъ, А. Болконскій, Левинъ, Оленинъ) принадлежатъ къ числу лучшихъ созданій Толстого, а съ точки зрѣнія ихъ значенія для фабулы и, что важнѣе, для идеи соотвѣтственныхъ повѣстей и романовъ всѣ они могутъ быть названы фигурами основными или центральными, т. е. такими, которыхъ нельзя устранить или замѣнить другими.

Изъ этого краткаго обзора уже видно, какую капитальную роль въ художественной дѣятельности Толстого играютъ разные виды творчества субъективнаго: здѣсь мы находимъ и воспроизведеніе «себя самого», и натуръ, родственныхъ натурѣ художника, разработанныхъ при дѣятельномъ участіи самоанализа, и изображеніе лицъ своей семьи, своего круга.

Обращаясь къ рубрикѣ 3-й, я сперва позволю себѣ своей одну психологическую догадку. Я предполагаю, что въ теченіе долгой художественной дѣятельности Толстой неоднократно ощущалъ внутреннюю потребность раздвинуть рамки творчества, выйти изъ сравнительно тѣснаго круга «семейной хроники» и самоанализа, какъ-бы отдѣлаться отъ самого себя, своего круга, привычныхъ впечатлѣній и окунуться въ широкую сферу иныхъ явленій жизни. Будь Толстой, по призванію, по самой природѣ своего генія, такимъ художникомъ-созерцателемъ, какъ Тургеневъ, эта потребность перемѣны впечатлѣній была-бы дѣломъ весьма простымъ: разработавъ одинъ кругъ явленій, поэтъ переходитъ къ другому, повинуясь только влеченіямъ своей художнической пытливости. У Толстого-же эти переходы всегда принимали характеръ какъ бы реакціи, являлись въ видѣ умствен-

наго или вообще душевнаго кризиса и сводились не къ простой перемѣнѣ сюжета, а къ исканію чего-то въ родѣ стихіи, населенной своеобразными явленіями духа, принципіально-противуположными тѣмъ, съ которыми художникъ до сихъ поръ имѣлъ дѣло—у себя, въ своемъ кругу. Разъ такой кризисъ наступилъ,—Толстой уже не удовлетворится простымъ, спокойнымъ наблюденіемъ людей другой сферы: ему нуженъ народъ, какъ стихія, какъ часть природы, стихійное движеніе массъ, война съ ея ужасами, съ ея своеобразной психологіей, историческіе процессы, въ которыхъ безсильна воля человѣка,—вообще все грандіозное, могучее, величавое въ своей простотѣ, безыскусственное, наивное въ своей грубой правдѣ, прямо противуположное той искусственности, условности, утонченности, которыя свойственны высшимъ слоямъ общества и вошли въ плоть и кровь его представителей, въ томъ числѣ—и самого художника. Тургеневъ, рисуя народные типы (въ «Запискахъ охотника»), показалъ намъ, что «мужики» такіе-же люди, какъ и мы, что и у нихъ наблюдается такое-же разнообразіе натуръ и умовъ, какъ и у насъ, что и тамъ есть умы практическіе, дѣловые и умы поэтическіе, созерцательные и т. д. Онъ приблизилъ народъ къ верхнимъ слоямъ и показалъ возможность взаимнаго пониманія. Толстой обращается къ народу, напротивъ, съ мыслью найти въ немъ нѣчто такое, чего нѣтъ и быть не можетъ въ культурномъ классѣ, рисуетъ народные типы (въ «Казакахъ»)—какъ совсѣмъ особую породу людей, между которой и «нами» не можетъ установиться ни пониманіе, ни сочувствіе.

Я попрошу читателя вызвать въ памяти тѣ образы, созданные Толстымъ, которые выходятъ за предѣлы субъективной (въ обширномъ смыслѣ) сферы его творчества и явились воплощеніемъ его наблюденій надъ чуждой ему жизнью. Вотъ дядя Ерошка, казакъ Лукашка, Марьянка («Казаки»), вотъ Платонъ Каратаевъ, вотъ самъ Кутузовъ,—не правда-ли, какія яркія, какія своеобразныя, какія мощныя созданія искусства! Это—не только художественныя обобщенія, полученныя обычнымъ путемъ объективныхъ наблюденій,—это вмѣстѣ съ тѣмъ рядъ настоящихъ художественныхъ открытій. Въ наукѣ имъ отвѣчаютъ тѣ геніальныя гипотезы, которыя хотя и строятся обычными пріемами индукціи и основаны на объективныхъ наблюденіяхъ, но на которыхъ прежде всего лежитъ печать глубокой, смѣлой, оригинальной интуиціи. И тамъ, и здѣсь это—плоды вдохнове-

ній мысли, это—откровенія творчества,—тамъ ученаго, здѣсь художественнаго. Въ другихъ областяхъ своего творчества (въ сферѣ субъективной въ обширномъ смыслѣ) Толстой является образцовымъ художникомъ, глубокимъ психологомъ, тонкимъ бытописателемъ,—здѣсь, въ этихъ «художественныхъ гипотезахъ», онъ, прежде всего,—творческій геній.

И я думаю, есть какая-то внутренняя связь между этими вдохновеніями, этимъ пробужденіемъ генія и тѣми душевными кризисами, о которыхъ я говорилъ выше... Въ противуположность Тургеневу, Толстой никогда не былъ спокойнымъ созерцателемъ жизни, безстрастнымъ наблюдателемъ людей и вещей—это былъ всегда умъ ищущій и мятущійся. Тѣ образы, на которые я только-что указалъ, и были блестящимъ результатомъ этихъ страстныхъ исканій, счастливыми находками взволнованной мысли, рвущейся изъ оковъ привычныхъ впечатлѣній къ новымъ чарамъ невѣдомой жизни. Примелькавшіеся типы, до послѣднихъ мелочей изученная психологія людей своего общества дѣйствуютъ теперь на нее гнетущимъ образомъ и, охваченная стихійнымъ порывомъ, она стремится въ манящую даль новыхъ грандіозныхъ замысловъ, подобно пушкинскому поэту, который, «дикій и суровый», «и звуковъ, и смятенья полнъ», бѣжитъ

На берега пустынныхъ волнъ,
Въ широкошумныя дубровы...

Во всякомъ художественномъ созданіи есть элементъ, который можно назвать «открытіемъ». Но онъ можетъ быть больше и меньше. Онъ будетъ очень значителенъ въ томъ художественномъ образѣ, въ которомъ воплощено то, что въ конкретныхъ явленіяхъ жизни, положенныхъ въ основу образа, существуетъ только какъ намекъ, какъ психологическая возможность, или, пожалуй, даже какъ нѣчто психологически-необходимое, но только въ дѣйствительности неосуществленное, непроявившееся. Проявляя его въ своемъ созданіи, художникъ его открываетъ. Во всемъ, что создалъ Толстой на почвѣ «семейной хроники», бытописанія великосвѣтской жизни и анализа собственной личности, этотъ элементъ — художественнаго открытія—былъ, для него самого, сравнительно невеликъ, порою онъ могъ считаться – психологически—равнымъ нулю. Толстой воспроизводилъ здѣсь то, что вошло у него въ плоть и кровь, что онъ хорошо зналъ и понималъ въ деталяхъ, съ чѣмъ сроднился; это было

только художественное разслѣдованіе себя самого и своихъ близкихъ, вообще представителей великосвѣтскаго круга—и соотвѣтственные образы весьма мало заключаютъ въ себѣ такого, чего нѣтъ или что дано лишь въ видѣ намека въ самой дѣйствительности. Они только отлично обобщаютъ и исчерпываютъ эту дѣйствительность. Эту часть въ творчествѣ Толстого можно назвать «интенсивной» художественной культурою, которая на данной почвѣ взращиваетъ изысканные плоды художественнаго самоанализа. Она, конечно, вносила въ душу художника свѣтъ самосознанія, но въ то-же время вызывала въ немъ родъ пресыщенія собою и своимъ и приводила къ душевной реакціи, въ силу которой возгорался въ душѣ могучій и страстный порывъ—къ поискамъ дикой природы, некультурной почвы, къ художественному труду надъ величинами неизвѣстными, сулящему обильную жатву настоящихъ открытій.

Для генія Толстого въ высокой степени характерно и то, и другое: и замкнутость въ своемъ субъективномъ мірѣ, въ своемъ кругу, и тѣ исканія и открытія, о которыхъ мы говоримъ. Поэтому великое произведеніе, въ которомъ совмѣщены и гармонически слиты оба начала, «Война и Миръ», и есть главное, капитальнѣйшее созданіе Толстого: онъ весь, во всей сложности своей художнической натуры, проявился въ этой эпопеѣ, далъ въ ней свои глубочайшія художественныя изысканія въ направленіи субъективномъ и сдѣлалъ свои величайшія открытія на почвѣ творчества объективнаго.

ГЛАВА II.

Художественая автобіографія въ произведеніяхъ Толстого (Николай Иртеньевъ, Нехлюдовъ [1]), Оленинъ, Левинъ).

I.

Въ предыдущей главѣ я намѣтилъ общій планъ, котораго буду держаться въ дальнѣйшемъ изложеніи: сперва наше вниманіе должно быть обращено на тѣ части въ произведеніяхъ Толстого, которыя въ извѣстномъ смыслѣ могутъ быть названы «мемуарами» и гдѣ на авансцену выступаетъ личность самого художника, въ большей или меньшей степени замаскированная вымы-

---

[1]) Конечно, Нехлюдовъ раннихъ повѣстей, но не—„Воскресенія“.

сломъ. Сюда, какъ это уже было указано, прежде всего относятся цѣликомъ повѣсти «Дѣтство», «Отрочество», «Юность», «Утро помѣщика», а затѣмъ отдѣльныя фигуры въ другихъ произведеніяхъ, въ особенности—Оленинъ въ «Казакахъ» и Левинъ въ «Аннѣ Карениной».

Что повѣсти «Дѣтство», «Отрочество» и «Юность» не были плодомъ настоящей Dichtung и представляютъ собою родъ художественной автобіографіи и семейной хроники,—это давно уже было болѣе или менѣе извѣстно. Но такой характеръ раннихъ произведеній Толстого окончательно выяснился тогда, когда были обнародованы біографическія свѣдѣнія о Толстомъ—въ статьѣ проф. Н. П. Загоскина «Студенческіе годы Л. Н. Толстого» («Истор. Вѣстн.» 1894, январь) и въ книгѣ Р. Левенфельда «Графъ Толстой. Его жизнь произведенія и міросозерцаніе» (русск. перев. С. Петерб· 1896).

Левенфельдъ, черпавшій изъ непосредственнаго источника, отъ самого Л. Н. Толстого и членовъ его семьи и пользовавшійся также неизданнымъ дневникомъ Толстого, сообщаетъ намъ слѣдующія, не лишенныя интереса указанія, касающіяся его первыхъ произведеній. «У Толстого»— говоритъ онъ—«былъ планъ большого романа: Исторія 4-хъ эпохъ. Онъ имѣлъ въ виду изобразить въ формѣ личныхъ воспоминаній духовное или, точнѣе говоря, душевное развитіе ребенка, мальчика, юноши и взрослаго человѣка» (Левенф., стр. 42). Отсюда мы заключаемъ, что въ раннюю пору творчества, къ которой относится это извѣстіе, художественная пытливость Толстого была обращена внутрь, что, когда впервые его духовныя очи раскрылись и внутренній голосъ призванія сказалъ ему «виждь и внемли», то онъ прежде всего увидѣлъ самого себя. Какъ извѣстно, однако, планъ большого романа «Исторія 4-хъ эпохъ» не былъ осуществленъ, но плодомъ этого чисто-субъективнаго замысла явились повѣсти «Дѣтство», «Отрочество» и «Юность», такъ что «три эпохи» все-таки были воспроизведены. Четвертая-же («взрослый человѣкъ») была лишь намѣчена въ отрывкѣ «Утро помѣщика». Но, въ концѣ концовъ—въ другомъ только видѣ, по другой программѣ—этотъ циклъ 4-хъ эпохъ былъ все-таки завершенъ, потому что фигура Левина есть несомнѣнно плодъ стремленія Толстого—изобразить самого себя уже сложившимся и достигшимъ полноты самосознанія человѣкомъ. Не трудно понять, почему именно послѣдняя, 4-я, эпоха явилась въ художественномъ

изображеніи такъ поздно: въ 50-хъ годахъ Толстой могъ, опираясь на свои воспоминанія и путемъ самоанализа, изобразить себя ребенкомъ, отрокомъ и юношей, но для воспроизведенія себя, какъ взрослаго человѣка, у него, при сложности и своеобразіи его натуры, въ ту эпоху еще не было достаточно данныхъ, не было еще запаса отошедшихъ въ даль прошлаго воспоминаній; онъ могъ тогда только кое-что намѣтить и понять въ себѣ и это немногое, свидѣтельствующее о все еще продолжавшемся броженіи его духа, онъ и далъ въ «Утрѣ помѣщика» и въ образѣ Оленина. Но ему еще было далеко до полноты самосознанія, до окончательнаго выясненія своихъ путей въ жизни, своихъ цѣлей, идеаловъ,—все это опредѣлилось, осѣло и кристаллизовалось гораздо позже, послѣ долгаго опыта жизни и большихъ подвиговъ творчества. Великій художникъ не пойметъ себя, не подведетъ себѣ итога, прежде чѣмъ создастъ свое главнѣйшее произведеніе. Для Толстого 4-я эпоха, эпоха окончательнаго самоопредѣленія, могла наступить только послѣ созданія «Войны и Мира»,—когда онъ и принялся за послѣднюю часть автобіографіи и въ Левинѣ подвелъ итогъ самому себѣ.

Обращаясь къ разсмотрѣнію, съ этой автобіографической точки зрѣнія, первыхъ произведеній Толстого, приведу сперва слѣдующую цитату изъ книги Левенфельда: «Въ дневникѣ Толстого мы находимъ нѣкоторыя хронологическія указанія относительно его произведеній. 9 іюня 1852 г., онъ уже можетъ отослать въ Петербургъ свою первую повѣсть «Дѣтство». Одно за другимъ пишетъ онъ «Утро помѣщика», «Набѣгъ» и «Отрочество»... 18 октября Левъ Н—чъ составилъ планъ «Кавказскаго разсказа» (вышедшаго впослѣдствіи въ свѣтъ подъ заглавіемъ «Казаки»). 9 ноября онъ уже думаетъ о 3-й части «Дѣтства» и «Отрочества»,—«Юности»... Всѣ эти произведенія, представляя собою описаніе лично пережитого,—результатъ собственнаго внутренняго опыта и наблюденія въ гораздо большей степени, чѣмъ плодъ свободной фантазіи творческаго духа, тѣмъ не менѣе, поражаютъ рѣдкою самостоятельностью» (стр. 37) [1]).

Здѣсь для насъ любопытны и хронологическія указанія, почерпнутыя изъ «Двевника», и самый отзывъ Левенфельда о первыхъ произведеніяхъ Толстого,—отзывъ, указывающій на субъ-

---

[1]) Курсивъ мой.

ективное и автобіографическое ихъ происхожденіе. 1852 годъ составилъ эпоху въ жизни Толстого: въ этомъ году пробудился его творческій геній, и свидѣтельство Левенфельда показываетъ намъ, какія задачи прежде всего представились уму и фантазіи молодого художника. Это были задачи самосознанія, художественнаго самоопредѣленія. Въ этомъ отношеніи начало дѣятельности Толстого рѣзко отличается отъ первыхъ серьезныхъ (юношескія, незрѣлыя произведенія въ счетъ не идутъ) опытовъ другихъ нашихъ поэтовъ, кромѣ Лермонтова. Когда Пушкинъ писалъ «Кавказскаго плѣнника» и «Бахчисарайскій фонтанъ», Гоголь—«Вчера на хуторѣ», Тургеневъ—«Записки охотника», ими двигала потребность отлить въ художественные образы извѣстную сумму впечатлѣній и идей, не имѣющихъ прямого отношенія къ личности самого автора, и задача самосознанія не вставала передъ ними. У Толстого пробужденіе потребности творить было вмѣстѣ съ тѣмъ и стремленіемъ проникнуть въ свою душу, изучить и изобразить свою собственную личность въ ея развитіи и ея состояніи въ данный моментъ. Вотъ и посмотримъ, какъ была выполнена эта задача.

Изображеніе себя самого, исторія своего душевнаго развитія у Толстого неразрывно связаны съ «семейной хроникой» и воспроизведеніемъ бытовой психологіи той среды, къ которой онъ принадлежитъ. Какъ увидимъ ниже, это не просто «художественный пріемъ», это—необходимая постановка вопроса, обусловленная основными свойствами таланта и самой натуры Толстого.

Разработка «семейной хроники» въ трехъ автобіографическихъ повѣстяхъ представляетъ нѣкоторыя особенности, на которыя слѣдуетъ обратить вниманіе.

Изъ книги Левенфельда и статьи проф. Загоскина мы узнаемъ, что отецъ нашего писателя, Николай Ильичъ Толстой (Николай Ильичъ Ростовъ «Войны и Мира»), овдовѣлъ въ 1830 г., «когда Льву Н-чу истекалъ всего лишь второй годъ» (Загоск., стр. 84). Семь лѣтъ спустя (1837) умеръ и графъ Николай Ильичъ. Тогда Л. Н. было 9 лѣтъ. Осиротѣвшая семья (опекуншей которой была графиня Остенъ-Сакенъ) переселилась въ Москву, гдѣ воспитаніемъ дѣтей завѣдовали нѣмецъ Ѳ. И. Россель и французъ S.-Thomas.

Вотъ именно изображеніемъ нѣмца-учителя и начинается повѣсть «Дѣтство», гдѣ онъ названъ Карломъ Ивановичемъ. Только здѣсь дѣйствіе перенесено въ деревню. Конечно, отъ этой пере-

становки глава о «Карлѣ Ивановичѣ» и вся фигура добраго нѣмца не перестаютъ быть Wahrheit. Но уже со второй главы («Maman») несомнѣнно начинается Dichtung. Въ этой главѣ изображена мать разсказчика, которую, какъ мы только-что видѣли, Толстой помнить не могъ. Я предполагаю, что онъ, по воспоминаніямъ другихъ лицъ, по семейнымъ преданіямъ, хотѣлъ силою воображенія возстановить невѣдомый образъ своей матери. Вѣроятно, молодой художникъ долго всматривался въ ея портретъ, страстно желая представить себѣ ее живою и вообразить себя ребенкомъ, согрѣтымъ ничѣмъ незамѣнимой материнской любовью, которую извѣдать ему не было дано. Перечитайте со вниманіемъ тѣ страницы «Дѣтства», гдѣ идетъ рѣчь о «Maman», и вы легко замѣтите, что этотъ образъ какъ-бы подернутъ туманомъ, онъ—не портретъ живого человѣка, онъ—почти видѣніе, блѣдный призракъ, вызванный изъ загробнаго міра. Молодой писатель «смутно видѣлъ» этотъ призракъ «сквозь слезы воображенія» (гл. II). Онъ, конечно, могъ бы отряхнуть эти слезы и, давъ волю фантазіи, создать совершенно-новый образъ, поставить на вакантное мѣсто другую женщину, назвавъ ее своей «maman». Но въ данномъ случаѣ молодой писатель не чувствовалъ внутренняго влеченія къ этого рода «Dichtung» [1]). Здѣсь наглядно подтверждается истина, гласящая, что художникъ, въ своемъ творчествѣ, прежде всего стремится удовлетворить извѣстнымъ, строго опредѣленнымъ, въ данное время заявляющимъ о себѣ потребностямъ своего ума и чувства. Изъ такихъ потребностей вытекаетъ постановка художественной задачи. Создаваемый образъ является ея рѣшеніемъ. Въ повѣсти «Дѣтство» Толстымъ руководила именно потребность узнать свою мать, постигнуть ея душу, почувствовать ея неосуществившуюся материнскую ласку и любовь. Художественная задача, обусловленная этимъ живымъ душевнымъ стремленіемъ, приводила къ необходимости перейти отъ Wahrheit мемуаровъ къ тому роду творчества, который такъ свойственъ генію Толстого и состоитъ въ созданіи образовъ повидимому объективныхъ, на самомъ-же дѣлѣ основанныхъ на анализѣ собственныхъ ощущеній автора. Но въ данномъ случаѣ эти ощущенія были, такъ сказать, отрицательными психологическими величинами: это было ощуще-

---

[1]) За то, такъ поступилъ онъ съ образомъ отца, списавъ его съ другого лица, какъ увидимъ ниже.

ніе какого-то пробѣла въ душѣ, сознаніе пустоты въ томъ мѣстѣ душевнаго обихода, гдѣ должны были-бы сохраняться живые слѣды материнской любви. Стремясь заполнить этотъ пробѣлъ, молодой художникъ углубляется въ анализъ своего внутренняго міра и старается заставить трепетать ту струну, которая у него, не помнившаго матери, никогда не трепетала.

Насколько это удалось Толстому въ повѣсти «Дѣтство»?

Самое выдающееся мѣсто, сюда относящееся, это глава XV-я. «Счастливая, счастливая, невозвратимая пора дѣтства! Какъ не любить, не лелѣять воспоминаній о ней?..»—такъ начинается эта глава, въ которой Толстой видимо хотѣлъ растолковать самому себѣ всю непосредственную глубину и красоту любви ребенка къ матери и матери—къ своему дитяти. «Чувствуешь, бывало, въ просонкахъ, что чья-то нѣжная рука трогаетъ тебя; по одному прикосновенію узнаешь ее, и еще во снѣ невольно схватишь эту руку и крѣпко, крѣпко прижмешь ее къ губамъ. Всѣ уже разошлись; одна свѣча горитъ въ гостинной; maman сказала, что она сама разбудитъ меня; это она присѣла на кресло, на которомъ я сплю, своею чудесною нѣжною ручкою провела по моимъ волосамъ, и надъ ухомъ моимъ звучитъ милый, знакомый голосъ:—вставай, моя душечка, пора идти спать.—Ничьи равнодушные взоры не стѣсняютъ ее; она не боится излить на меня всю свою нѣжность и любовь. Я не шевелюсь, но еще крѣпче цѣлую ея руку.—Вставай-же, мой ангелъ!—Она другою рукою беретъ меня за шею, и пальчики ея быстро шевелятся и щекотятъ меня. Въ комнатѣ тихо, полутемно; нервы мои возбуждены щекоткой и пробужденіемъ; мамаша сидитъ подлѣ самаго меня; она трогаетъ меня; я слышу ея запахъ и голосъ. Все это заставляетъ меня вскочить, обвить руками ея шею, прижать голову къ ея груди и, задыхаясь, сказать:—Ахъ, милая, милая мамаша, какъ я тебя люблю!—Она улыбается своею грустной, очаровательной улыбкой, беретъ обѣими руками мою голову, цѣлуетъ меня въ лобъ и кладетъ къ себѣ на колѣни.—Такъ ты меня очень любишь?—Она молчитъ съ минуту, потомъ говоритъ:—Смотри, люби меня, никогда не забывай. Если не будетъ твоей мамаши, ты не забудешь ее?.. Не забудешь, Николенька?—Она еще нѣжнѣе цѣлуетъ меня.—Полно! и не говори этого, голубчикъ мой, душечка моя!—вскрикиваю я, цѣлуя ея колѣни; и слезы ручьями льются изъ моихъ глазъ —слезы любви и восторга».

Я нарочно привелъ все это мѣсто цѣликомъ: оно представляется мнѣ своего рода пробнымъ камнемъ для нѣкоторыхъ сторонъ художественнаго дарованія Толстого. Приведенная страница едвали можетъ считаться удавшейся въ художественномъ отношеніи: на этотъ разъ Толстому не удалось «схватить» здѣсь то, что онъ хотѣлъ «схватить», и поймать его тамъ, гдѣ оно—по выраженію Гете—«интересно» [1]). Много разъ—въ видѣ опыта—перечитывалъ я эту страницу и всегда оставался холоднымъ. А между тѣмъ, она, повидимому, и разсчитана на то, чтобы тронуть читателя, чтобы вызвать живое чувство поэзіи дѣтства, любви дѣтской и материнской. Очевидность такого намѣренія и отсутствіе соотвѣтственнаго эффекта производятъ впечатлѣніе антихудожественное. Иная неудачная въ художественномъ отношеніи страница можетъ, такъ сказать, сойти съ рукъ и не выдать себя, если останется незамѣченнымъ тотъ фактъ, что авторъ «старался», подбиралъ краски, напрягалъ свое воображеніе. Въ данномъ же случаѣ это-то и замѣтно: ясно видѣнъ сочиняющій авторъ, сознательно подбирающій подходящія черты для изображенія душевныхъ состояній, которыхъ онъ не испыталъ. Чтобы это стало очевиднѣе, достаточно вспомнить ту сцену въ «Аннѣ Карениной», гдѣ изображено свиданіе Анны съ сыномъ. Вотъ страница, которую нельзя читать безъ глубокаго душевнаго потрясенія,—вотъ тѣ «рѣчи» на тему о материнской и дѣтской любви, которымъ «безъ волненья внимать невозможно». И притомъ—полное отсутствіе какихъ-бы то ни было слѣдовъ преднамѣренности:—потрясающій эффектъ подкрадывается незамѣтно и застаетъ читателя врасплохъ.

Этотъ поразительный контрастъ между изображеніемъ материнскаго и дѣтскаго чувства въ «Дѣтствѣ» и его изображеніемъ въ «Аннѣ Карениной» былъ обусловленъ не тѣмъ, что талантъ Толстого окрѣпъ и развился, а тѣмъ, что художнику стало доступно чувство, котораго онъ не вѣдалъ раньше, въ то время, когда писалъ «Дѣтство». Материнскую любовь мужчина постигаетъ двумя путями: по воспоминаніямъ дѣтства и черезъ посредство отцовскаго чувства. Второй путь гораздо важнѣе перваго: преданія дѣтства съ лѣтами забываются, и гаснутъ тѣ чувства, которыми нѣкогда была переполнена душа ребенка. Образъ матери все дальше и дальше отодвигается въ глубь прошлаго,

---

[1]) Und wo Ihr's packt,—da ist's interessant.

все гуще и гуще заволакиваетъ его туманомъ забвенія. Но великій художникъ, какъ Толстой, все-таки, сумѣлъ-бы, силою творческаго воображенія, разсѣять этотъ туманъ, оживить угасшія чувства и воскресить полузабытый образъ, если-бы только онъ когда-либо зналъ ихъ. Но этого-то условія, какъ извѣстно, и не было, и вотъ почему въ повѣсти «Дѣтство» такъ блѣдны, такъ художественно-безсильны страницы, посвященныя «maman», вотъ почему онѣ отмѣчены всѣми признаками сочиненности, искусственнаго, головного построенія. Авторъ, нанизывая черты за чертами и повторяя до утомительности одно и то-же въ различныхъ комбинаціяхъ (она сидитъ возлѣ меня, я слышу ея запахъ и голосъ, она улыбается мнѣ, я цѣлую ея руку и т. д.) видимо самъ ищетъ живого художественнаго представленія и не находитъ его. За-то, впослѣдствіи, когда Толстой, ставъ семьяниномъ, извѣдалъ чувства мужа и отца и черезъ ихъ посредство постигъ материнскую любовь и душевный міръ ребенка, цѣликомъ построенный на органической привязанности къ матери, тогда ему уже не нужно было искать и «расписывать», достаточно было только разсказать, какъ вошла Анна Каренина въ комнату сына, какъ ребенокъ проснулся и, потягиваясь, полусонный, прильнулъ къ матери,—заставить Анну сказать: «милый Кутикъ!» да поставить въ дверяхъ фигуру растроганнаго и растерявшагося гувернера, и художественное «слово» было «найдено», была написана одна изъ самыхъ изумительныхъ, одна изъ самыхъ безсмертныхъ страницъ во всемірной литературѣ.

II.

За исключеніемъ «maman», всѣ прочіе, важнѣйшіе образы въ трехъ автобіографическихъ повѣстяхъ являются какъ-бы первыми эскизами или набросками той кисти, которая впослѣдствіи напишетъ великолѣпныя, во весь ростъ, фигуры бытовыхъ типовъ «Войны и мира» и «Анны Карениной». Сюда принадлежатъ: отецъ разсказчика, его бабушка, братъ Володя, знакомые изъ общества, а также и лица другихъ состояній, входящія въ обиходъ домашней помѣщичьей жизни, какъ учитель Карлъ Ивановичъ, Мими, Наталья Савишна. Эти фигуры, хотя и не достигаютъ той высоты художественности, на которой стоятъ бытовые типы «Войны и мира» и «Анны Карениной», тѣмъ не менѣе, являются образами съ опредѣленной, ярко очерченной физіоно-

міей и значительной типичностью. Для изображенія этихъ лицъ Толстой имѣлъ въ своемъ распоряженіи «натуру» и всѣ они входили такъ или иначе въ сферу его внутренняго опыта. Въ этомъ отношеніи любопытно слѣдующее свидѣтельство Левенфельда: «Теперь, когда мы знаемъ, что онъ лишился отца и матери въ... нѣжномъ возрастѣ... мы должны признать въ родителяхъ и бабушкѣ Иртеньева произведенія художественнаго творчества, въ созданіи которыхъ свободная фантазія и наблюденія надъ широкимъ кругомъ лицъ принимали одинаковое участіе... Такъ-какъ Толстой не зналъ своего отца, то онъ избралъ до извѣстной степени, въ качествѣ образца, другого пожилого человѣка изъ круга своихъ знакомыхъ: дядя его будущей супруги со стороны матери послужилъ ему образцомъ для отца Иртеньева, а Мими въ «Дѣтствѣ» Толстой срисовалъ съ дамы, бывшей гувернанткой въ домѣ этого самаго дяди, съ воспитательницы тещи Толстого» (48—49).

Здѣсь представляютъ интересъ фактическія свѣдѣнія, но мысль, что образы родителей Иртеньева были созданы путемъ свободной фантазіи и наблюденій надъ широкимъ кругомъ лицъ, требуетъ, на мой взглядъ, нѣкоторыхъ оговорокъ. Фигура отца Иртеньева была списана съ опредѣленной личности, которая тутъ-же и указана. Что касается матери, то вышеочерченный характеръ этого образа не позволяетъ думать, чтобы онъ могъ быть полученъ путемъ наблюденія. Въ его созданіи участвовала одна только «свободная фантазія», дѣйствовавшая на этотъ разъ почти апріорно,—оттого-то образъ и вышелъ такимъ блѣднымъ. Вообще, роль этихъ двухъ элементовъ, свободной фантазіи и наблюденій надъ широкимъ кругомъ лицъ, едвали была значительна въ началѣ дѣятельности Толстого, въ особенности когда онъ писалъ «Дѣтство», «Отрочество» и «Юность». Кругъ его наблюденій былъ по необходимости ограниченъ тогда сравнительно узкими предѣлами его родни и той части великосвѣтской среды, въ которой онъ вращался. Правда, къ той-же эпохѣ относятся и нѣкоторыя наблюденія надъ извѣстными типами изъ другихъ классовъ (напр., студенты изъ разночинцевъ въ «Юности»), а также надъ народной жизнью («Утро помѣщика» и «Казаки»). Но эти наблюденія были только первыми попытками выйти изъ заколдованнаго круга узкихъ, семейно-кружковыхъ впечатлѣній. Нѣкоторыя изъ этихъ попытокъ привели къ блистательнымъ результатамъ; сюда прежде всего нужно отнести великолѣпные

типы «Казаковъ» (дядя Ерошка, Лукашка, Маріанка и др.), которыми мы займемся ниже. Но всѣ образы, сюда относящіеся, начиная со студентовъ-разночинцевъ въ «Юности», носятъ на себѣ ясные слѣды того, что художникъ, ихъ писавшій, принадлежитъ къ другому, именно великосвѣтскому кругу, что онъ смотритъ на Божій міръ глазами аристократа, и самъ, чувствуя узкость и негуманность этой точки зрѣнія, борется съ нею, старается сбросить съ себя эти очки и взглянуть на людей и вещи съ иной, высшей и болѣе человѣчной точки зрѣнія. Не всегда это ему удается, и тамъ, гдѣ наименѣе удается, этотъ протестъ, эта борьба съ самимъ собою сказываются ярче и сами по себѣ являются предметомъ художественнаго воспроизведенія. Въ этомъ отношеніи очень характерна глава XXXI «Юности», озаглавленная «Comme il faut». Этимъ терминомъ Толстой обозначилъ одно «изъ самыхъ пагубныхъ, ложныхъ понятій, привитыхъ ему воспитаніемъ и обществомъ», въ силу котораго онъ дѣлилъ всѣхъ людей «на comme il faut и на comme il ne faut pas»; «второй родъ подраздѣлялся на людей собственно не comme il faut и простой народъ. Людей comme il faut я уважалъ и считалъ достойными имѣть со мной равныя отношенія; вторыхъ—притворялся, что презираю, но въ сущности ненавидѣлъ ихъ, питая къ нимъ какое-то оскорбленное чувство личности; третьи для меня не существовали,—я ихъ презиралъ совершенно». «Главное зло,—читаемъ далѣе,—состояло въ убѣжденіи, что comme il faut есть самостоятельное положеніе въ обществѣ, что человѣку не нужно стараться быть ни чиновникомъ, ни каретникомъ, ни солдатомъ, ни ученымъ, когда онъ comme il faut, что достигнувъ этого положенія, онъ уже исполняетъ свое назначеніе и даже становится выше большей части людей». Сознать, что это—зло, и стараться освободиться отъ него—это, конечно, первый шагъ къ той элементарной, по крайней мѣрѣ, внутренней свободѣ, которая безусловно необходима художнику. Но не такъ-то легко въ самомъ дѣлѣ ее завоевать. Протестуя противъ точки зрѣнія comme il faut, Толстой въ «Юности» фактически рисуетъ разночинцевъ именно съ этой точки зрѣнія: она сквозитъ въ самомъ способѣ изображенія, всѣ эти Оперовы, Семеновы и прочіе появляются въ полѣ зрѣнія читателя какъ-разъ въ той-же постановкѣ и такомъ-же освѣщеніи, какъ и въ глазахъ самого героя comme ii faut: герой, а за нимъ и читатель смотритъ на нихъ, какъ на курьезные обращики изъ какого-то

особаго міра, какъ на экземпляры, выхваченые изъ массы на показъ, которые скоро сливаются опять въ безразличную кучу, утрачивая свои индивидуальные признаки,—Семеновъ смѣшивается съ Оперовымъ, Оперовъ съ Иконинымъ, и отъ нихъ остается только общее впечатлѣніе, родъ запаха, что они не comme il faut.

Есть, конечно, разные пути, ведущіе къ освобожденію отъ этой узкой и негуманной точки зрѣнія на людей, столь вредной вообще, а для художника—въ частности,—напримѣръ, путь внутренней переработки своего духовнаго содержанія черезъ усвоеніе широкихъ идей и человѣчныхъ стремленій, путь фактическаго ознакомленія съ жизнью и психологіей людей другихъ слоевъ. Этими путями и шелъ Толстой въ началѣ своей дѣятельности и достигъ значительной степени внутренней свободы, давшей ему возможность изобразить въ «Казакахъ» народные типы съ глубокою художественною правдою и такъ, что читатель уже не забудетъ этихъ образовъ и не смѣшаетъ дядю Ерошку съ Лукашкой и Лукашку съ Назаркой. Но, какъ увидимъ ниже, и тутъ Толстому—въ лицѣ Оленина—не удалось вполнѣ отвлечься отъ «ветхаго человѣка» и вытравить въ себѣ спеціально-аристократическую основу въ отношеніяхъ къ людямъ и жизни вообще. Другой путь къ дальнѣйшимъ завоеваніямъ въ области внутренней свободы открывался передъ нимъ. Это былъ путь болѣе широкихъ наблюденій и болѣе глубокаго изученія той самой среды, которая ограничивала его свободу, развивъ въ немъ исключительную точку зрѣнія на людей, привычку ко злу «comme il faut». Нужно было взять быка за рога. Дѣло въ томъ, что и въ великосвѣтской средѣ, какъ и во всякой другой, есть свой «міръ» и свой «мірокъ». Отличительныя черты, привычки, точки зрѣнія и пр., принадлежащія средѣ, сильнѣе выражаются и получаютъ особливо-уродливое развитіе въ ея «міркѣ» и—наоборотъ—въ значительной степени стушевываются и парализуются перекрещиваясь другими бытовыми продуктами той-же сословной психологіи,—въ ея «мірѣ». Это различіе проявляется съ наибольшею силою въ тѣхъ классахъ, которые играютъ или играли извѣстную историческую роль и были ареною различныхъ умственныхъ движеній. Возьмите, напримѣръ, какой-нибудь уголокъ западно-европейской буржуазной жизни: обыватели этого уголка, хотя-бы они и не были проникнуты крайними буржуазными стремленіями и мѣщанскими идеалами,

непремѣнно будутъ отражать въ себѣ черты сословной узкости, мѣщанскихъ предразсудковъ въ гораздо большей мѣрѣ и въ болѣе уродливой формѣ, чѣмъ тотъ «буржуа», который живетъ болѣе широкой жизнью своего класса и, соприкасаясь съ различными теченіями этой жизни, находитъ въ массѣ психическихъ продуктовъ, приносимыхъ и уносимыхъ этими теченіями, и такіе, которые могутъ ему послужить противоядіемъ противъ узкости его-же сословной психологіи. Явленіе это гораздо сложнѣе, чѣмъ это кажется на первый взглядъ. Помимо различныхъ вліяній умственнаго и нравственнаго порядка, дѣйствующихъ на личность въ широкомъ «мірѣ» его класса и отсутствующихъ въ «міркѣ», здѣсь дѣйствуютъ еще особые, пока мало изученные, психическіе процессы, именно тѣ, которые развиваются въ общеніи личности съ ея средою и опредѣляютъ собою то, что можно назвать общественнымъ самочувствіемъ человѣка. Въ «міркѣ» сословныя черты этого самочувствія выступаютъ ярче и уродливѣе, чѣмъ въ мірѣ,—и въ уѣздѣ дѣйствительный статскій совѣтникъ чувствуетъ себя гораздо «дѣйствительнѣе», чѣмъ въ столицѣ. Въ широкой классовой средѣ, населенной массою представителей того-же классоваго типа, спеціальныя черты сословной психологіи отвлекаются отъ индивидуумовъ къ массѣ, и личность, въ извѣстной мѣрѣ освобождаясь отъ нихъ, въ той-же мѣрѣ становится человѣчнѣе; напротивъ, въ узкой средѣ, наполненной сравнительно-небольшимъ числомъ представителей класса, эти черты, не отвлекаемыя притяженіемъ сословной массы, тѣмъ рѣзче проявляются въ отдѣльныхъ личностяхъ. Въ этомъ отношеніи явленія сословной психологіи должны быть отличаемы отъ другихъ коллективныхъ психическихъ процессовъ, которыхъ сила или интенсивность возрастаетъ вмѣстѣ съ увеличеніемъ массы индивидуумовъ, являющихся носителями этихъ процессовъ. Паника или, наоборотъ, отвага тѣмъ сильнѣе, чѣмъ больше толпа. То-же самое, думаю, относится къ умственнымъ явленіямъ: большая толпа дураковъ глупѣе небольшой кучки тѣхъ-же дураковъ. Но другое дѣло черты сословной психологіи, а также, нужно прибавить, и національной. Психологически онѣ — форма, а не содержаніе. Это какъ-бы та рамка, въ которую вкладывается индивидуальное содержаніе личности. Въ общеніи личности съ массою, въ живомъ взаимодѣйствіи большого числа лицъ той-же психологической формы, сословной или національной, затрогивается преимущественно содержаніе, а не форма:

люди обмѣниваются мыслями, чувствами, сталкиваются характерами, темпераментами, сходятся и расходятся во взглядахъ, вѣрованіяхъ, убѣжденіяхъ,—а своихъ формальныхъ, сословныхъ или національныхъ, чертъ даже не чувствуютъ, какъ не чувствуемъ мы воздуха или собственнаго тѣла, пока оно здорово. Поэтому, эти формальные элементы не выступаютъ наружу съ той назойливостью, какъ это бываетъ въ тѣсныхъ сословныхъ кругахъ, гдѣ обмѣнъ содержаніемъ скуднѣе, или въ національныхъ группахъ, замкнутыхъ въ узкой обособленной жизни и характеризующихся тѣмъ, что у нихъ содержаніе сливается съ формою, что онѣ неспособны вложить въ свою національную форму новое содержаніе идей, стремленій, нравовъ, вѣрованій, вкусовъ. Тогда формально-психологическіе элементы выступаютъ вмѣстѣ съ содержаніемъ наружу, проникаютъ въ сознаніе и даютъ въ результатѣ въ одномъ случаѣ сословную обособленность и узкость, въ другомъ—національную исключительность, въ обоихъ—негуманный, чуждый человѣчности и широты укладъ духа.

Послѣ этихъ соображеній мы поймемъ, насколько необходимо было Толстому, какъ художнику, и, добавимъ, какъ человѣку, перейти отъ узкой сферы великосвѣтскаго кружка къ наблюденіямъ надъ цѣлымъ «міромъ» великосвѣтской жизни въ ея различныхъ теченіяхъ и проявленіяхъ, во всемъ разнообразіи вырабатываемыхъ ею характеровъ и умовъ,—какъ изображена она въ «Войнѣ и Мирѣ» и «Аннѣ Карениной».

Съ этой точки зрѣнія мы и разсмотримъ въ свое время великосвѣтскіе типы этихъ двухъ большихъ эпопей. Здѣсь-же у насъ на очереди анализъ тѣхъ образовъ, въ которыхъ Толстой воплотилъ свою художественную автобіографію. Этотъ анализъ прежде всего раскроетъ то броженіе душевныхъ силъ, ту внутреннюю ломку, чрезъ которыя прошелъ геній Толстого—въ своемъ стремленіи сбросить съ себя гнетъ сословной психологіи и завоевать ту долю внутренней свободы, какая была безусловно необходима для того, чтобы художникъ могъ выступить на только-что указанный путь широкихъ наблюденіи и объективнаго творчества.

Эта внутренняя борьба и ломка были тѣсно связаны у Толстого съ процессомъ самоанализа и вопросомъ самосознанія, къ разсмотрѣнію которыхъ и перейдемъ теперь.

III.

Въ связи съ субъективизмомъ и эмпиризмомъ, которыми такъ ярко отличается геній Толстого, находится, какъ отпрыскъ этого основного уклада, то, что можно назвать «эгоцентризмомъ» въ искусствѣ: художественная пытливость прежде всего обращается къ личности самого художника, какъ объекту ближайшему и наиболѣе доступному для эмпирическаго изученія.

Эгоцентрическое направленіе творчества и тѣсно связанный съ нимъ самоанализъ занимаютъ первенствующее мѣсто въ раннихъ произведеніяхъ Толстого. Сюда прежде всего относятся въ «Дѣтствѣ», «Отрочествѣ» и «Юности» фигуры разсказчика Николая Иртеньева и его друга, князя Нехлюдова. Что эти два образа представляютъ собою художественное воспроизведеніе собственной личности автора, въ этомъ не можетъ быть сомнѣнія для всякаго, кто сколько-нибудь вдумчиво читалъ Толстого. Только ради полноты приведу относящіяся сюда указанія Левенфельда. «Безъ опасенія смѣшать правду съ вымысломъ»—говоритъ онъ—«можно въ Николаѣ Иртеньевѣ... видѣть самого Толстого въ годы юности» (стр. 28). На стр. 41-й, замѣчая, что «источникъ перваго произведенія Толстого—стремленіе къ признаніямъ», Левенфельдъ указываетъ и на то, что князь Нехлюдовъ есть alter ego Николая Иртеньева. «Иртеньева и Нехлюдова»—поясняетъ онъ далѣе, стр. 57—«можно разсматривать, какъ двѣ части болѣе высокаго единства, воплощеннаго въ самомъ Толстомъ».

Нѣтъ надобности приводить здѣсь образчики превосходнаго художественнаго анализа, впервые произведеннаго Толстымъ въ этихъ первыхъ его повѣстяхъ и направленнаго преимущественно на психику самого автора въ разныя эпохи его развитія. Пусть читатель припомнитъ или перечитаетъ тѣ страницы, гдѣ такъ мѣтко и тонко разбираются различныя душевныя состоянія разсказчика, гдѣ такъ правдиво раскрывается его внутренній міръ. Укажу здѣсь только на слѣдующія двѣ важныя и характерныя черты.

Первая состоитъ въ томъ, что психологія ребенка, отрока и юноши, изображенная въ трехъ автобіографическихъ опытахъ Толстого, не есть психологія обобщеннаго, общечеловѣческаго ребенка, отрока и юноши, а самымъ тѣснымъ образомъ пріуро-

чена къ средѣ, національной почвѣ и эпохѣ: это спеціально психологія русской, великосвѣтской, помѣщичьей среды, прослѣженная въ трехъ возрастахъ. Бытовой колоритъ данъ не только въ обстановкѣ, во внѣшнихъ проявленіяхъ и въ способѣ выраженія душевныхъ состояній, которыя въ существѣ своемъ остаются, конечно, человѣческими вообще, но онъ внесенъ, если можно такъ выразиться, въ самый механизмъ этихъ душевныхъ состояній,—и въ силу такой окраски эти послѣднія, не переставая быть общечеловѣческими, вызываютъ въ читателѣ особливый интересъ не къ своей общечеловѣческой основѣ, а къ своей бытовой окраскѣ. Въ «Дѣтствѣ» и «Отрочествѣ» наше заинтересованное вниманіе сосредоточивается спеціально на психологіи «барчука», въ «Юности» — на психологіи молодого человѣка comme il faut. Въ этомъ отношеніи три автобіографическія повѣсти приближаются къ типу настоящихъ мемуаровъ и бытовыхъ картинъ: это въ тѣсномъ смыслѣ великосвѣтскіе очерки. Тутъ, въ самомъ началѣ дѣятельности Толстого, ярко обнаружился его субъективизмъ и эмпиризмъ. Художники объективнаго склада, художники-наблюдатели, какъ Шекспиръ, Пушкинъ, Тургеневъ, могутъ, сколько угодно, наряжать своихъ героевъ въ національный костюмъ и пріурочивать ихъ къ опредѣленной, строго-ограниченной въ пространствѣ и времени, почвѣ, но изъ-подъ національнаго, сословнаго, историческаго и всякаго иного обличья душевныя движенія этихъ героевъ, ихъ характеры и натуры выступаютъ въ той широкой и мощной обобщенности, которая ихъ дѣлаетъ типичными для человѣка вообще, для человѣчества. У Толстого, въ его раннихъ произведеніяхъ преимущественно, а въ послѣдующихъ въ большей или меньшей мѣрѣ, сословное обличье и великосвѣтская психологія героевъ не только служатъ средствомъ придать образамъ необходимую для осуществленія художественнаго эффекта конкретность, но вмѣстѣ съ тѣмъ входятъ въ составъ того содержанія, которое ими апперцепируется. Поэтому на читателя изъ другой среды его первыя произведенія и многое въ послѣдующихъ производятъ впечатлѣніе чего-то чуждаго, не своего, чего-то сословнаго, спеціально великосвѣтскаго. Для всякаго читателя изъ какой-бы то ни было среды, если только онъ человѣкъ образованный и имѣетъ достаточный опытъ жизни, Шекспиръ, Пушкинъ, Тургеневъ— «свой братъ» и сразу кажутся чѣмъ-то близкимъ, роднымъ; Толстой сперва кажется чуждымъ, не своимъ—и только вчитав-

шись и вникнувъ въ него, только подчинившись обаянію его генія, читатель принимаетъ его въ число «своихъ», въ число художниковъ-учителей и друзей человѣчества.

Вторая, очень важная и уже чисто-личная, а не бытовая, черта, которую мы должны отмѣтить въ трехъ разсматриваемыхъ повѣстяхъ, состоитъ въ слѣдующемъ: здѣсь уже обнаруживается та сторона въ натурѣ Толстого, которая впослѣдствіи займетъ видное мѣсто въ его художественномъ творчествѣ и, наконецъ, обособившись отъ него, выразится въ его дѣятельности, какъ мыслителя и моралиста. Это именно его неудержимое, какъ-бы органическое влеченіе, съ одной стороны, къ такъ называемымъ «проклятымъ» вопросамъ, съ другой—и въ особенности—къ выработкѣ нравственнаго міровоззрѣнія, даже нравственной догмы. «Въ продолженіе года, во время котораго я велъ уединенную, сосредоточенную въ самомъ себѣ, моральную жизнь»—читаемъ въ XIX гл. «Отрочества»—«всѣ отвлеченные вопросы о назначеніи человѣка, о будущей жизни, о безсмертіи души уже представлялись мнѣ; и дѣтскій слабый умъ мой со всѣмъ жаромъ неопытности старался уяснить тѣ вопросы, предложеніе которыхъ составляетъ высшую ступень, до которой можетъ достигнуть умъ человѣка, но разрѣшеніе которыхъ не дано ему».

Въ 50-хъ и даже 60-хъ годахъ эти строки и слѣдующее за ними описаніе головоломныхъ метафизическихъ упражненій героя могли казаться читателямъ продуктомъ чисто-объективныхъ замысловъ художника. Непосредственно вслѣдъ за приведеннымъ мѣстомъ читаемъ: «мнѣ кажется, что умъ человѣка въ каждомъ отдѣльномъ лицѣ проходитъ въ своемъ развитіи по тому-же пути, по которому онъ развивается и въ цѣлыхъ поколѣніяхъ, что мысли, служившія основаніемъ различныхъ философскихъ теорій, составляютъ нераздѣльныя части ума, но что каждый человѣкъ болѣе или менѣе ясно сознавалъ ихъ еще прежде, чѣмъ зналъ о существованіи философскихъ теорій». Несмотря на нѣкоторую неясность выраженія въ послѣдней фразѣ, мы все-таки улавливаемъ мысль автора, которая будетъ совершенно вѣрна, если вмѣсто словъ «въ каждомъ отдѣльномъ лицѣ» поставимъ «въ мыслящемъ человѣкѣ»: не всѣ способны задаваться и мучиться отвлеченными вопросами—большинство живетъ не мудрствуя лукаво; взять хотя-бы брата разсказчика, Володю: для него вовсе не существуетъ этого «пути развитія». Какъ бы то ни было, но, прочитавъ эти строки, читатель 50-хъ или 60-хъ

годовъ склоненъ былъ думать, что авторъ просто задался цѣлью — «показать» это, «провести эту мысль» на примѣрѣ своего героя, который вслѣдствіе этого получаетъ гораздо больше интереса, чѣмъ напр. Володя, но зато теряетъ въ смыслѣ бытовой типичности: взятъ любопытный, но рѣдкій случай,—описанъ «казусъ» неожиданнаго пробужденія философскихъ стремленій въ молодомъ баричѣ, поставленномъ совершенно въ сторонѣ отъ тѣхъ круговъ, гдѣ эти стремленія такъ или иначе обнаруживались. Случай—всегда возможный въ дѣйствительности, эпизодъ—вполнѣ умѣстный въ мемуарахъ, фотографирующихъ дѣйствительность, но не подходящій для цѣлей художественности.—Философскія упражненія Николая Иртеньева, какъ представлены они въ XIX-ой гл. «Отрочества», и его моральныя стремленія, изображенныя въ «Юности», рисуютъ намъ любопытную картину пробужденія и первыхъ шаговъ мощнаго, но въ высокой степени своеобразнаго ума, отмѣченнаго большой склонностью къ рефлексіи и необыкновеннымъ даромъ анализа. Эта картина нисколько не характерна для мыслящей части того круга, къ которому принадлежитъ Ник. Иртеньевъ; она не можетъ быть также названа типичною для философствующей части человѣчества вообще. Она характерна только для Л. Н. Толстого. Теперь, послѣ всего, что написалъ Толстой съ тѣхъ поръ, въ особенности послѣ статей IV-го тома, послѣ «Исповѣди» и сочиненій религіозно-философскихъ и этическихъ, мы уже не можемъ сомнѣваться въ томъ, что XIX-ая глава «Отрочества» и аналогичныя ей мѣста другихъ раннихъ повѣстей Толстого представляютъ собою не Dichtung, а самую подлинную Wahrheit. Эти страницы не принадлежатъ къ области искусства, это просто—глава изъ автобіографіи необыкновеннаго человѣка, который уже въ ранней молодости не удовлетворялся ходячими понятіями и силился собственнымъ умомъ рѣшить такъ называемые проклятые вопросы и выработать себѣ нормы высшей морали.

Для Толстого здѣсь характерна каждая мелочь. Напр. хотя-бы слѣдующее мѣсто: «Отвлеченныя мысли образуются вслѣдствіе способности человѣка уловить сознаніемъ въ извѣстный моментъ состояніе души и перенести его въ воспоминаніе. Склонность моя къ отвлеченнымъ размышленіямъ до такой степени неестественно развила во мнѣ сознаніе, что часто, начиная думать о самой простой вещи, я впадалъ въ безвыходный кругъ анализа своихъ мыслей, я не думалъ уже о вопросѣ, занимавшемъ меня,

а думалъ о томъ, о чемъ я думалъ. Спрашивая себя: о чемъ я думаю?—я отвѣчалъ: я думаю, о чемъ я думаю. А теперь о чемъ я думаю?—я думаю, что я думаю, о чемъ я думаю и т. д. Умъ за разумъ заходилъ...» («Отроч.», гл. XIX). Это были первыя пробы, это была ребяческая игра той мощной мысли, которая впослѣдствіи дастъ несравненные образцы психологическаго анализа. Подобно тому, какъ будущій великій изобрѣтатель уже въ дѣтствѣ начинаетъ упражнять свой даръ на игрушкахъ и другихъ вещахъ, разбирая и портя часы и т. д., какъ будущій великій полководецъ играетъ въ солдатики и выдумываетъ небывалые планы кампаній, мечтая о сраженіяхъ и побѣдахъ и т. п., такъ и будущій великій художникъ-психологъ въ отрочествѣ предавался головоломной—«игрушечной»—работѣ рефлексіи, анализа собственныхъ мыслей и чувствъ. Это были первые—инстинктивные—взмахи крыльевъ орленка.

Въ другихъ разсужденіяхъ, напр. по вопросу о «симметріи», о «пустотѣ», въ упражненіяхъ ума въ скептическомъ направленіи мы узнаемъ (конечно, не съ точки зрѣнія самого содержанія мыслей, а по общему пошибу, по характеру мышленія) будущаго оригинальнаго философа, который построитъ моральную систему, основанную на чисто субъективныхъ точкахъ зрѣнія и таковыхъ-же пріемахъ.

Для будущаго реформатора морали, истолкователя Евангелія и провозвѣстника всеобщей реформы основъ жизни путемъ личнаго нравственнаго возрожденія весьма характерны и знаменательны тѣ мѣста въ «Юности», гдѣ выставлены на видъ юношескія стремленія и опыты въ направленіи нравственнаго усовершенствованія. Сюда относится исторія дружбы Николая Иртеньева съ Нехлюдовымъ, ихъ разговоры на тему откровенности и морали, тѣ «добродѣтельныя мысли», которыя связывали друзей («Юность», гл. I), далѣе «правила жизни», которыя задумалъ начертать самому себѣ Николай Иртеньевъ («Юность», гл. V), наконецъ вліяніе церковной исповѣди (гл. VI, VII, VIII).

Какъ извѣстно, «Юность» оканчивается указаніемъ на новый «моральный порывъ», возникшій послѣ разныхъ ошибокъ, уклоненій отъ «правилъ жизни», провала на экзаменахъ и т. д. «Оправившись, я рѣшился снова писать правила жизни и твердо былъ убѣжденъ, что я уже никогда не буду дѣлать ничего дурного, ни одной минуты не проведу праздно и никогда не измѣню своимъ правиламъ. Долго-ли продолжался этотъ моральный по-

рывъ, въ чемъ онъ заключался и какія новыя начала положилъ онъ моему моральному развитію, я разскажу въ слѣдующей, болѣе счастливой половинѣ юности».

IV.

Эта «болѣе счастливая половина юности» не была написана по первоначальному плану, но сюда, очевидно, относится отрывокъ «Утро помѣщика», автобіографическій характеръ котораго стоитъ внѣ сомнѣнія. Въ этомъ очеркѣ, какъ извѣстно, изображены филантропическія затѣи молодого помѣщика Нехлюдова, поставившаго себѣ цѣлью устроить благополучіе своихъ крѣпостныхъ и содѣйствовать ихъ нравственному развитію. Вотъ что говоритъ Левенфельдъ о соотвѣтственныхъ стремленіяхъ самого Толстого: «Какимъ восторгомъ наполняло его душу сознаніе, что ему принадлежитъ такъ много людей, и что онъ можетъ стать для нихъ отцомъ и совѣтникомъ... Онъ, рѣшивъ выйти изъ университета, поставилъ себѣ цѣлью—осуществить въ своемъ маленькомъ царствѣ свои идеалы» (стр. 28—30). Неудачи Нехлюдова совпадаютъ съ слѣдующимъ свидѣтельствомъ Левенфельда о Толстомъ: «Толстой долженъ былъ самому себѣ сознаться, что его тетка Ергольская, предостерегавшая его отъ черезчуръ блестящихъ надеждъ, была права, когда утверждала, что легче устроить свое личное счастье, чѣмъ доставить его другимъ» (стр. 32). Такимъ образомъ, въ «Утрѣ помѣщика» слѣдуетъ видѣть продолженіе автобіографіи, Wahrheit, а не Dichtung: этотъ разсказъ, по словамъ Левенфельда, «почти цѣликомъ представляетъ собою самоописаніе: Нехлюдовъ—это Толстой». (Стр. 62).

Выше мы привели нѣкоторыя соображенія, объясняющія, почему вторая часть юности или зрѣлый возрастъ не былъ написанъ цѣликомъ. Къ сказанному нужно прибавить еще расширеніе кругозора, жажду новыхъ впечатлѣній, возникновеніе новыхъ художественныхъ замысловъ. На одинъ изъ таковыхъ, впрочемъ совпадающій съ автобіографическимъ направленіемъ творчества, указываетъ Левенфельдъ на стр. 58—59: «... въ немъ зародился планъ... дать типъ русскаго помѣщика. Планъ этотъ опирался на надежду Толстого провести всю свою жизнь въ имѣніи и изъ своего собственнаго опыта почерпнуть матеріалъ для большого

романа «Русскихъ помѣщиковъ». Здѣсь-же указано, что «Утро помѣщика» можетъ быть разсматриваемо, какъ отрывокъ, сюда именно относящійся. Но этимъ замысламъ не суждено было осуществиться. Толстому теперь нужны были новыя впечатлѣнія, изъ которыхъ его самоанализъ могъ-бы почерпнуть новые стимулы, новыя точки опоры—въ сравненіи себя съ другими натурами, въ провѣркѣ своего внутренняго міра данными новаго внутренняго опыта. Эти новыя впечатлѣнія и стимулы далъ Толстому Кавказъ,—и результатомъ было созданіе великолѣпной «кавказской повѣсти» Казаки, въ которой впервые геній Толстого проявился во всемъ своемъ блескѣ. Здѣсь насъ интересуетъ собственно герой этой повѣсти—Оленинъ, поскольку онъ является продуктомъ все того-же автобіографическаго субъективизма. Сперва приведемъ относящіяся сюда свѣдѣнія изъ книги Левенфельда. «Онъ (Толстой) проигралъ больше, чѣмъ позволяли ему его средства, и рѣшилъ—чего-бы не сдѣлалъ безъ внѣшняго давленія—послѣдовать за братомъ на Кавказъ». (Стр. 35). «И здѣсь (на Кавказѣ) Толстой сближался съ народомъ съ такимъже удовольствіемъ, съ какимъ онъ раньше заботился о своихъ яснополянскихъ крестьянахъ... Онъ подружился съ казакомъ Епишкой, хорошо знавшимъ мѣстность и народъ, ходилъ съ нимъ въ горы и на охоту, никогда не упуская случая срисовывать характерные типы населенія или мѣстности, обращавшіе на себя его особое вниманіе, и заносить эти рисунки въ свою книжечку». (Стр. 35). Нѣсколько позже, при содѣйствіи своего дяди, адъютанта кн. Барятинскаго, онъ зачисляется въ 4-ю баттарею 20-й бригады. «Бригада эта помѣщалась въ казацкой деревнѣ Старогладовѣ, на лѣвомъ берегу Терека». (Стр. 36). «Кавказская повѣсть 1852 г.—озаглавилъ Толстой свой разсказъ, какъ-бы указывая этимъ названіемъ, что въ его повѣсти нашли себѣ мѣсто событія изъ жизни самого автора. Правда, и безъ этого указанія не трудно было-бы въ Оленинѣ узнать нашего писателя съ его пытливымъ и неутомимо ищущимъ истины духомъ. Впрочемъ, въ основу самой фабулы разсказа легло событіе не изъ жизни Толстого, а изъ жизни одного офицера, который разсказалъ о немъ Льву Николаевичу ночью во время совмѣстнаго путешествія» (Стр. 72). Любопытно, что запасъ кавказскихъ наблюденій, собранный еще въ 1852 г., былъ обработанъ гораздо позже. «Казаки» были закончены только въ 1861 г. (Левенфельдъ, стр. 66).

Запасшись этими свѣдѣніями, обратимся къ анализу фигуры Оленина.

Молодой аристократъ, неудовлетворенный жизнью въ свѣтѣ, бѣгущій отъ пустоты, искусственности и фальши этой жизни, исполненный горечью сознанія собственныхъ ошибокъ и уклоненій отъ намѣченнаго идеала,—это образъ, безспорно построенный на данныхъ самонаблюденія. Это—самъ Л. Н. Толстой въ началѣ 50-хъ годовъ, и повѣсть «Казаки», по праву, можетъ быть разсматриваема, какъ глава изъ художественной автобіографіи Толстого. Характеристика Оленина, въ первыхъ трехъ главахъ, въ общемъ и въ нѣкоторыхъ частностяхъ вполнѣ согласуется съ тѣмъ, что мы знаемъ о Толстомъ въ соотвѣтственную эпоху его жизни. И это сходство представляется не только внѣшнимъ, но и внутреннимъ, идущимъ въ глубь интимныхъ движеній души, захватывающимъ индивидуальныя особенности ума и натуры Толстого: фигуру Оленина нужно признать списанною авторомъ съ самого себя—не потому только, что Оленинъ—аристократъ, богатъ, молодъ, скучаетъ въ свѣтѣ, проигрался и жаждетъ новыхъ, освѣжающихъ впечатлѣній, но главнымъ образомъ—потому, что въ Оленинѣ выведена натура незаурядная, можно сказать даже—исключительная. Здѣсь, сталобыть, повторилось то, что выше мы отмѣтили въ трехъ первыхъ автобіографическихъ повѣстяхъ: герой—не типъ, а совершенно своеобразная индивидуальность, только съ весьма ярко выраженной сословной (великосвѣтской) психологіей.

Прочтемъ сперва слѣдующее любопытное въ автобіографическомъ отношеніи мѣсто: «онъ раздумывалъ надъ тѣмъ, куда положить всю эту силу молодости, только разъ въ жизни бывающую въ человѣкѣ: на искусство-ли, на науку-ли, на любовь-ли къ женщинѣ,—или на практическую дѣятельность, на силу ума, сердца, образованія,—тотъ не повторяющійся порывъ, ту на одинъ разъ данную человѣку власть сдѣлать изъ себя все, что онъ хочетъ и какъ ему кажется, и изъ всего міра—все, что ему хочется. Правда, бываютъ люди, лишенные этого порыва, которые, сразу входя въ жизнь, надѣваютъ на себя первый попавшійся хомутъ и честно работаютъ въ немъ до конца жизни. Но Оленинъ слишкомъ сильно сознавалъ въ себѣ присутствіе этого всемогущаго бога молодости, эту способность превратиться въ одно желаніе, въ одну мысль, способность захотѣть и сдѣлать, броситься головой внизъ въ бездонную пропасть, не зная за что,

не зная зачѣмъ. Онъ носилъ въ себѣ это сознаніе, былъ гордъ имъ и, самъ не зная этого, былъ счастливъ имъ». («Казаки», гл. II).

Эти сильныя, безпорядочно-выброшенныя изъ души слова рисуютъ намъ Оленина, какъ человѣка незауряднаго, и въ то-же время не оставляютъ сомнѣнія въ томъ, что они сказаны авторомъ о самомъ себѣ; въ нихъ чуется та могучая сила, которая бродила въ Толстомъ, ища себѣ выхода и приложенія,—сила, которая могла ему самому казаться лишь даромъ «бога молодости», но въ дѣйствительности была независима отъ послѣдняго: она никогда не переставала бродить и искать, творить и опять искать, проявляясь и въ великихъ созданіяхъ искусства, и въ смѣлыхъ попыткахъ своеобразной общественной дѣятельности. И до сихъ поръ еще эта сила не исчерпана.

Оленинъ—натура оригинальная, самобытная, съ умомъ пытливымъ, вѣчно ищущимъ; эти исканія всегда направлены внутрь, на выработку нравственнаго идеала, который-бы доставилъ ему полное внутреннее удовлетвореніе, полный миръ его душѣ. Все это въ высокой степени характеризуетъ самого Л. Н. Толстого, о которомъ съ полнымъ правомъ можно сказать то, что говорится въ XXIII-ей главѣ объ Оленинѣ: онъ «жилъ всегда своеобразно и имѣлъ безсознательное отвращеніе къ избитымъ дорожкамъ». Какъ и Л. Н. Толстой, Оленинъ дѣлаетъ неожиданныя открытія въ сферѣ нравственныхъ истинъ. Въ XIX-й главѣ онъ вдругъ открылъ, путемъ созерцательнаго самоуглубленія, слѣдующую истину: «и вдругъ ему какъ будто открылся новый свѣтъ.—Счастье вотъ что,—сказалъ онъ самому себѣ:—счастье въ томъ, чтобы жить для другихъ. И это ясно. Въ человѣка вложена потребность счастья,—стало быть, она законна. Удовлетворяя ее эгоистически, т. е. отыскивая для себя богатства, славы, удобствъ жизни, любви, можетъ случиться, что обстоятельства такъ сложатся, что невозможно будетъ удовлетворить этимъ желаніямъ. Слѣдовательно, эти желанія незаконны, а не потребность счастья незаконна. Какія-же желанія всегда могутъ быть удовлетворены, несмотря на внѣшнія условія, какія? — Любовь, самоотверженіе! — Онъ такъ обрадовался и взволновался, открывъ эту, какъ ему казалось, новую истину, что вскочилъ и въ нетерпѣніи сталъ искать, для кого-бы ему поскорѣе пожертвовать собой, кому-бы сдѣлать добро, кого-бы любить».

Эти мысли о самоотверженіи весьма причудливымъ образомъ переплетались въ душѣ Оленина съ его протестомъ противъ прежней жизни и стремленіемъ отречься отъ своего круга и «опроститься». Въ главѣ XXVI-ой мы узнаемъ, что его оскорбляли письма отъ родныхъ и друзей, сокрушавшихся о немъ, какъ о погибшемъ человѣкѣ: «онъ самъ считалъ погибшими всѣхъ тѣхъ, кто не велъ такую жизнь, какъ онъ» (въ станицѣ).—«Онъ былъ убѣжденъ, что никогда не будетъ раскаиваться въ томъ, что оторвался отъ прежней жизни и такъ уединенно и своеобразно устроился въ станицѣ».—«Развѣ—думалъ онъ—желаніе быть простымъ казакомъ, жить близко къ природѣ, никому не дѣлать вреда, а еще дѣлать добро людямъ, развѣ мечтать объ этомъ глупѣе, чѣмъ мечтать о томъ, о чемъ я мечталъ прежде,—быть, напр., министромъ, быть полковымъ командиромъ?»—Это стремленіе къ «опрощенію» было только крайнимъ выраженіемъ или послѣднимъ звеномъ въ развитіи тѣхъ чувствъ, съ которыми Оленинъ покинулъ Москву и поселился въ станицѣ. Можно прослѣдить это душевное движеніе шагъ за шагомъ. Сперва это была просто потребность душевнаго освѣженія, которое и было имъ достигнуто силою новыхъ впечатлѣній, усталостью дороги, рѣзкимъ контрастомъ между утонченностью и искусственностью жизни въ свѣтѣ и простотою и грубостью той, которая теперь открывалась ему и манила къ себѣ. Еще дорогою, по мѣрѣ того, какъ исчезали послѣдніе слѣды «цивилизаціи»,—«Оленину становилось веселѣе и веселѣе. Всѣ казаки, ямщики, смотрителя—казались ему простыми существами, съ которыми ему можно было просто шутить, бесѣдовать, не соображая, кто къ какому разряду принадлежитъ. Всѣ принадлежали къ роду человѣческому, который былъ весь безсознательно милъ Оленину...» (гл. III).—Устроившись въ станицѣ, онъ «испытывалъ молодое чувство безпричинной радости жизни...»—«старая жизнь была стерта, и начиналась новая...—На душѣ у него было свѣжо и ясно...»—«Величавое чувство природы» также вносило сюда свою долю вліянія. (Гл. XI).—Все вмѣстѣ взятое, и это освѣженіе души, и наблюденіе новыхъ для него типовъ, и рѣзкій контрастъ между новой жизнью и прежней, и вліяніе величавой природы, горъ, дикихъ мѣстъ, опасностей и т. д. вызвало въ Оленинѣ то особое и очень для него характерное состояніе духа, которое такъ мѣтко схвачено въ описаніи думъ Оленина на охотѣ, въ

слѣдующемъ мѣстѣ главы XIX-ой: «И вдругъ на него нашло странное чувство безпричиннаго счастья и любви ко всему... Ему вдругъ съ особенною ясностью пришло въ голову, что вотъ я, Дмитрій Оленинъ, такое особенное отъ всѣхъ существо, лежу теперь одинъ, Богъ знаетъ гдѣ, въ томъ мѣстѣ, гдѣ жилъ олень... И ему стало ясно, что онъ нисколько не русскій дворянинъ, членъ московскаго общества, другъ и родня того-то и того-то, а просто такой-же комаръ, или такой-же фазанъ, или олень, какъ и тѣ, которые живутъ теперь вокругъ него...» Оттуда уже одинъ шагъ къ мечтамъ объ «опрощеніи». Но оттуда также и переходъ къ новой теоріи «не эгоистическаго счастья»: «такъ-же, какъ они (олени, фазаны, комары и т. д.), какъ дядя Ерошка, поживу, умру»—продолжаетъ размышлять Оленинъ—«только трава вырастетъ...» А все-таки «надо жить, быть счастливымъ, потому что я только одного желаю—счастья... Какъ-же надо жить, чтобы быть счастливымъ, и отчего я не былъ счастливъ прежде?»—Засимъ слѣдуетъ вышеприведенное разсужденіе о неэгоистическомъ счастьѣ,—открытіе «новаго» нравственнаго закона.

Вся эта сложная работа чувствъ и думъ, возникшая въ душѣ Оленина, была неизбѣжнымъ слѣдствіемъ двухъ основныхъ условій: во-первыхъ, того факта, что Оленинъ принадлежалъ къ русскому великосвѣтскому кругу, а не былъ «простымъ смертнымъ», и во-вторыхъ, того обстоятельства, что онъ обладалъ исключительной натурой, такой самой, какою обладаетъ Л. Н. Толстой. Огромная важность обоихъ условій наглядно представлена введеніемъ въ разсказъ типичной великосвѣтской фигуры Бѣлецкаго, являющагося въ ту-же станицу, гдѣ живетъ Оленинъ. Бѣлецкій—такой самый аристократъ, членъ московскаго общества, русскій дворянинъ и пр., какъ и Оленинъ. Это тотъ-же Оленинъ, но только—минусъ его пытливый умъ, его неугомонное нравственное чувство, его отвращеніе къ избитымъ дорожкамъ. Если когда-либо въ Оленинѣ эти его индивидуальныя черты на время стушуются, если онъ перестанетъ—до поры до времени—стремиться къ нравственному самосовершенствованію, мечтать о настоящемъ, непризрачномъ счастьѣ и т. д., то онъ будетъ тотъ-же Бѣлецкій. Разница между этими двумя величинами та, что Оленинъ временно можетъ превратиться въ Бѣлецкаго, Бѣлецкій-же въ Оленина никогда, ни при какихъ условіяхъ превратиться не можетъ. Черты внутренняго, сословно-

психологическаго сродства Оленина съ Бѣлецкимъ ясно отмѣчены напр. въ слѣдующемъ мѣстѣ: «Такъ и пахнуло на него (съ пріѣздомъ Бѣлецкаго) всею тою гадостью, отъ которой онъ отрекся. Досаднѣе-же всего ему было то, что онъ не могъ, рѣшительно не былъ въ силахъ оттолкнуть отъ себя этого человѣка изъ того міра, какъ будто этотъ старый, бывшій его міръ имѣлъ на него неотразимыя права» (гл. XXIII). Характерно здѣсь-же то, что Оленинъ сразу впадаетъ, противъ воли и съ чувствомъ досады на себя, въ тонъ Бѣлецкаго, такъ-же, какъ и онъ, съ презрѣніемъ и аристократической брезгливостью отзывается, пересыпая рѣчь французскими словами, о товарищахъ-офицерахъ (конечно, не «своего», великосвѣтскаго круга), о казакахъ и т. д. Очевидно, Оленину, все-таки, легко съ Бѣлецкимъ, въ лицѣ послѣняго явилась какъ-бы часть его собственнаго «я», которую онъ считалъ оставленною въ Москвѣ, та сословно-психологическая «форма», въ силу которой онъ, не по убѣжденію, а именно вопреки убѣжденіямъ, вопреки голосу нравственнаго чувства, безсознательно, инстинктивно дѣлилъ людей на разряды и смотрѣлъ на себя, какъ на существо особенное, потому что онъ—«русскій дворянинъ, членъ московскаго общества, родня того-то и того-то».

Когда впервые Оленинъ вышелъ на трудный и неблагодарный подвигъ борьбы съ гнетомъ сословной психологіи, ему казалось, что стоитъ только усвоить новые вгляды на людей и вещи, выработать сознательный идеалъ, и дѣло будетъ сдѣлано: онъ переродится и станетъ совсѣмъ другимъ человѣкомъ. Ему казалось также, что онъ выступаетъ противъ чего-то внѣшняго, противъ взглядовъ, привычекъ, наклонностей, лишь механически усвоенныхъ. Стоитъ только уйти отъ «общества» подальше, и оно потеряетъ свои права, свою власть надъ нимъ, и всѣ усвоенныя имъ привычки, предразсудки и пр. разлетятся въ прахъ. Съ пріѣздомъ Бѣлецкаго онъ начинаетъ догадываться, что это была иллюзія. Въ немъ постепенно зрѣетъ мысль, что противникъ находится въ немъ самомъ, что тутъ дѣло идетъ о борьбѣ гораздо болѣе сложной и трудной, борьбѣ одной половины его «я» съ другою, и передвиженіе въ пространствѣ, перемѣна всѣхъ условій жизни тутъ ни при чемъ. Но эта мысль могла созрѣть и стать вполнѣ очевидною только послѣ долгаго искуса внутренней борьбы, послѣ всѣхъ разочарованій, которыя пришлось испы-

тать Оленину. А пока она только исподволь заявляла о себѣ въ формѣ того «голоса», который въ самый разгаръ его пылкихъ стремленій «бросить все, приписаться въ казаки, купить избу, скотину, жениться на казачкѣ» и т. д. «говорилъ ему, чтобъ онъ подождалъ и не рѣшался». Характерно то, что тутъ-же этотъ «голосъ» отожествляется съ «смутнымъ сознаніемъ, что онъ не можетъ жить вполнѣ жизнью Ерошки и Лукашки, потому это у него есть другое счастье: его удерживала (отъ рѣшительнаго шага къ «опрощенію») мысль о томъ, что счастье состоитъ въ самоотверженіи» (гл. XXVI). Изъ-подъ этихъ мыслей, колебаній, стремленій и сомнѣній совершенно ясно сквозитъ основной психологическій процессъ: борьба выдающейся личности, ищущей своихъ путей въ жизни и широкаго человѣческаго идеала, съ гнетомъ узкой сословной психологіи, въ немъ-же заложенной, стало-быть, борьба съ самимъ собою, приводитъ психологически-послѣдовательно къ двумъ параллельнымъ стремленіямъ, къ опрощенію и исканію нравственнаго идеала. Но эти два стремленія, по мѣрѣ своего развитія, расходятся въ противоположныя стороны и оказываются далеко не согласуемыми; въ близкомъ будущемъ уже предвидится неизбѣжный конфликтъ между ними. «Опрощеніе», послѣдовательно до конца проведенное, какъ того и хотѣлъ Оленинъ, привело-бы его къ необходимости жить, чувствовать, думать такъ, какъ живутъ, чувствуютъ, думаютъ Лукашка и Ерошка. Помимо того, что это было для Оленина психологически невозможно, это не согласовалось съ стремленіями къ нравственному подвигу: вѣдь жизнь Лукашки и Ерошки, при всей ея простотѣ, не есть нравственный подвигъ. Кажущійся выходъ изъ этого противорѣчія представлялся въ слѣдующемъ компромиссѣ; «опроститься» не вполнѣ, а только внѣшнимъ образомъ, не передѣлывать своего нравственнигo и умственнаго содержанія по образцу Лукашки и Ерошки, оставаться самимъ собою, но только жить среди этихъ простыхъ людей и дѣлать имъ добро, поступаясь своими эгоистическими влеченіями. Такая «программа« была, конечно, не изъ легкихъ. Трудности заключались и въ самомъ Оленинѣ, и внѣ его, въ окружающей средѣ. «Онъ постоянно искалъ случая жертвовать собою для другихъ, но случаи эти не представлялись. Иногда онъ забывалъ этотъ вновь открытый имъ рецептъ счастья и считалъ себя способнымъ слиться съ жизнью дяди Ерошки; но потомъ вдругъ опоминался, тотчасъ-же хватался за мысль со-

знательнаго самоотверженія и, на основаніи ея, спокойно и гордо смотрѣлъ на всѣхъ людей и на чужое счастье» (гл. XXVI).

Чѣмъ дальше, однако, тѣмъ труднѣе оказывалось осуществить «программу». Новая среда не поняла и не полюбила Оленина. На него смотрѣли съ недовѣріемъ, и разныя его попытки самоотвергаться и дѣлать добро перетолковывались въ превратномъ смыслѣ. Онъ жилъ среди казаковъ чужимъ и одинокимъ. Одинъ только дядя Ерошка его полюбилъ; но онъ считалъ Оленина чѣмъ-то въ родѣ порченнаго и жалѣлъ его. Вскорѣ Оленину пришлось убѣдиться, что откажись онъ отъ своей мечты—опроститься и отъ исканія нравственныхъ подвиговъ и превратись въ обыкновеннаго барина, по-барски относящагося къ народу,—его скорѣе-бы поняли и полюбили: это стало очевидно ему на примѣрѣ Бѣлецкаго, передъ которымъ даже Маріанка не дичилась.—Наконецъ, разгорѣвшаяся любовь въ Маріанкѣ окончательно спутала эти сложныя душевныя движенія, и въ душѣ Оленина водворился настоящій хаосъ. Въ любопытномъ письмѣ (гл. XXIII), въ которомъ Оленинъ подводитъ итоги этому хаосу, сильными и мѣткими чертами изображенъ контрастъ между искусственной и лживой жизнью въ «свѣтѣ», гдѣ «вѣчная скука въ крови, переходящая изъ поколѣнія въ поколѣніе», и жизнью въ станицѣ, гдѣ онъ «созерцаетъ» «вѣчные непреступные снѣга горъ и величавую женщину въ первобытной красотѣ...» Оленинъ сознается здѣсь, что онъ оказался непригоднымъ для этой безыскусственной жизни,—однимъ-же «созерцаніемъ» удовлетвориться не могъ. «Я пробовалъ,—пишетъ онъ,—отдаваться этой жизни и еще сильнѣе чувствовалъ свою слабость, свою изломанность. Я не могъ забыть себя и своего сложнаго, негармоническаго, уродливаго прошедшаго. И мое будущее представляется мнѣ еще безнадежнѣе...» Далѣе онъ описываетъ свою любовь къ Марьянкѣ; оказывается, что эта какая-то совсѣмъ особенная любовь, не платоническая и не плотская,—любовь, о которой онъ выражается такъ: «...черезъ меня любитъ ее какая-то стихійная сила, весь міръ Божій, вся природа вдавливаетъ любовь эту въ мою душу и говоритъ: люби». И вотъ огонь этой пантеистической любви испепелилъ всѣ благородныя мечты Оленина о самоотверженіи. «Я писалъ прежде»—продолжаетъ онъ,—«о своихъ новыхъ убѣжденіяхъ... Никто не можетъ знать, какимъ трудомъ выработались они во мнѣ, съ какою радостью созналъ я ихъ и увидѣлъ новый, открытый путь въ жизни... Дороже этихъ убѣж-

деній ничего во мнѣ не было... Ну... пришла любовь, и ихъ нѣтъ теперь, нѣтъ и сожалѣнія о нихъ!.. Самоотверженіе — все это вздоръ, дичь. Это все гордость, убѣжище отъ заслуженнаго несчастья, спасеніе отъ зависти къ чужому счастью...»

Такимъ образомъ, онъ рѣшительно отказывается—на этотъ разъ—отъ того нравственнаго идеала, который онъ себѣ поставилъ, отъ исканія неэгоистическаго счастья. Ослѣпленный любовью, онъ жаждетъ теперъ счастья обыкновеннаго, эгоистическаго, но только не въ «свѣтѣ», который ему противенъ, а среди новой для него, простой жизни, къ которой онъ, однако, не приспособленъ,—въ общеніи съ некультурнымъ народомъ и дикой природой. Но этотъ народъ его не понялъ и не принялъ, Марьянка его отвергла, и онъ уѣзжаетъ, съ горечью и обидой въ душѣ, напутствуемый общимъ равнодушіемъ. Одинъ только дядя Ерошка выказываетъ доброе къ нему отношеніе. «Вѣдь я тебя люблю, я тебя какъ жалѣю! Такой ты горькій, все одинъ, все одинъ. Нелюдимый ты какой-то!..» говоритъ онъ ему на прощаніе и тутъ-же выпрашиваетъ у него «флинту».

V.

Оленинъ уѣзжаетъ, потерпѣвъ полное крушеніе въ своихъ стремленіяхъ къ опрощенію и проведенію въ жизнь нравственнаго идеала. Опытъ не удался. Но отсюда еще не слѣдуетъ, что Оленинъ долженъ успокоиться и навсегда отказаться отъ другихъ попытокъ. Нѣтъ, онъ не перестанетъ избѣгать шаблонныхъ дорогъ въ жизни и, умудренный опытомъ, обогащенный знаніемъ людей и жизни, воспринявъ и по своему переработавъ массу идей, онъ снова выйдетъ на путь исканій. Попрежнему онъ будетъ жаждать душевнаго обновленія въ общеніи съ народомъ. Онъ уйдетъ отъ свѣта въ деревню, гдѣ устроитъ оригинальную школу для народа, совсѣмъ не похожую на другія школы, когда-либо существовавшія, онъ напишетъ рядъ блестящихъ, мѣстами глубокихъ, мѣстами парадоксальныхъ статей по вопросамъ элементарнаго образованія. Въ этой области онъ пойдетъ дѣйствительно по своей дорогѣ, по которой никто никогда не ходилъ. Потомъ, неудовлетворенный и этой, хотя и плодотворной, но какъ-бы внѣшней дѣятельностью, онъ снова примется за внутреннюю переработку себя самого и своихъ отношеній къ окружающему міру. Свой протестъ противъ «свѣта» онъ выразитъ

теперь иначе, не въ видѣ горячихъ тирадъ, какъ въ томъ достопамятномъ письмѣ изъ станицы, а въ видѣ художественнаго изображенія людей великосвѣтскаго круга, взятаго на этотъ разъ не въ его маленькомъ «міркѣ», а въ его обширномъ «мірѣ», въ его исторической роли. Здѣсь онъ найдетъ то противоядіе противъ отравы крайностями сословной психологіи, о которомъ мы говорили выше. На этомъ пути вдумчивыхъ наблюденій и глубокозахватывающаго историческаго изученія онъ встрѣтитъ много человѣчески-важнаго и сдѣлаетъ великія художественныя открытія. Онъ станетъ «великимъ писателемъ земли русской».

И съ высоты этихъ новыхъ художественныхъ откровеній онъ снова увидитъ себя самого и закончитъ этотъ періодъ своей жизни и дѣятельности изображеніемъ себя, со своимъ протестомъ исканіями и стремленіями, въ образѣ Левина.

Левинъ, аристократъ по рожденію и воспитанію, не можетъ, однако, примириться съ жизнью въ свѣтѣ. Онъ ушелъ отъ свѣта въ деревню; свою дѣятельность, какъ помѣщика и сельскаго хозяина, онъ очень цѣнитъ, какъ настоящее, разумное дѣло, какъ здоровую жизнь въ непосредственной связи съ народомъ и землею; городскую жизнь вообще, великосвѣтскую и чиновную въ частности, онъ отрицаетъ всѣмъ своимъ существомъ, считая ее пустою, бездѣльною, лживою, искусственною. Жизнь помѣщика въ деревнѣ для него теперь психологически то самое, что для Оленина жизнь въ станицѣ. Только теперь ужъ нѣтъ мечты на тему объ «опрощеніи». И само счастье, котораго ищетъ Левинъ, далеко не то самоотверженное, неэгоистическое счастье, о которомъ когда-то мечталъ Оленинъ. Левинъ хочетъ счастья личнаго, разумно-эгоистическаго и находитъ его въ бракѣ съ Кити, въ своей семейной жизни. Задача, казалось, рѣшена, цѣль достигнута: счастливая семейная жизнь, разумный трудъ надъ землею, постоянное общеніе съ народомъ, отсутствіе тягостныхъ свѣтскихъ обязательствъ, всего этого Левинъ достигъ. И, разумѣется, онъ на этомъ-бы и успокоился, будь онъ просто «Левинъ», одинъ изъ многихъ и многихъ. Но, какъ извѣстно, онъ не просто «Левинъ», онъ самъ Л. Н. Толстой,—и, какъ таковой, онъ, конечно, успокоиться не можетъ. Никакое личное счастье не способно убаюкать его души, вѣчно стремящейся въ даль идеала, его ума, всегда надъ собою бодрствующаго, его нравственнаго чувства, всегда неудовлетвореннаго. Левинъ не успокоится. Онъ пойдетъ дальше. Въ послѣднихъ главахъ «Анны

Карениной» онъ уже тронулся въ новый, можетъ быть, труднѣйшій путь изъ всѣхъ путей, какими, подъ разными именами: Иртеньева, Нехлюдова, Оленина, онъ шелъ доселѣ. Важные и вѣковѣчные вопросы о нравственномъ началѣ, о религіозной стихіи, объ идеальныхъ цѣляхъ встаютъ въ его сознаніи. Онъ размышляетъ на тему о томъ, составляетъ-ли борьба за существованіе и эгоизмъ верховный законъ всего сущаго, подчиненъ-ли человѣкъ этому «желѣзному» закону. Онъ «открываетъ»' что есть иной законъ, которому подвѣдомственъ человѣкъ, какъ существо нравственное. Это логически приведетъ Левина къ изученію вопросовъ религіозныхъ и этическихъ, къ критикѣ различныхъ религіозныхъ системъ и моральныхъ доктринъ. Дѣло трудное, оно потребуетъ усидчиваго труда многихъ лѣтъ надъ предметами, для которыхъ Левинъ не имѣлъ столь необходимой спеціальной подготовки, напримѣръ, надъ греческимъ текстомъ Евангелія, надъ еврейскимъ—Библіи. Всѣ внѣшнія трудности преодолѣетъ онъ (преодолѣетъ-ли внутреннія, вытекающія изъ требованій научнаго метода и широкихъ идей современной исторической и филологической науки,—это другой вопросъ), все выучитъ, что нужно, и въ свое время выступитъ въ новой роли, столь неподходящей къ русскому дворянину и помѣщику, въ роли религіознаго проповѣдника и реформатора морали.

VI.

Весь этотъ рядъ образовъ,—Николай Иртеньевъ, Нехлюдовъ, Оленинъ, Левинъ,—рисуетъ намъ самаго Л. Н. Толстого въ различныя эпохи его жизни и въ различныхъ фазисахъ его нравственнаго развитія. Это, такъ сказать, 4 главы изъ его психологической автобіографіи. И то, что выше мы сказали о Николаѣ Иртеньевѣ, въ общемъ примѣнимо и къ остальнымъ тремъ фигурамъ: онѣ изображаютъ личность исключительную, онѣ—слишкомъ портреты, чтобы быть общечеловѣческими художественными обобщеніями. Съ тѣмъ вмѣстѣ въ нихъ слишкомъ ярки и свѣжи тѣ краски, которыми изображена ихъ національная и сословная сторона.

Чтобы художественный образъ, представляющій и истолковывающій какую-нибудь вѣковѣчную сторону человѣческаго духа, былъ общечеловѣчески-типиченъ, какъ напр. Лиръ, Отелло, Гамлетъ, Донъ-Кихотъ, необходимо, помимо всего прочаго, соблюденіе слѣдующаго важнаго условія: такой образъ не

долженъ быть ужъ очень типиченъ и ярокъ въ смыслѣ національномъ, сословномъ, бытовомъ,—эта сторона въ немъ должна быть поставлена и оттѣнена такъ, чтобы не мѣшать общечеловѣческому содержанію и интересу его выступать властно и мощно въ воспріятіи читающихъ поколѣній. Имѣя дѣло съ Антигоной, съ Гамлетомъ, Отелло, Донъ-Кихотомъ, мы весьма мало вниманія удѣляемъ совокупности тѣхъ чертъ, которыми первая изображена какъ гречанка своего времени, второй—какъ датскій принцъ, третій—какъ мавръ, четвертый—какъ испанецъ извѣстной эпохи. Но когда передъ нами Оленинъ или Левинъ, то, какъ ни подчеркнуты, какъ ни ярко выставлены на видъ извѣстныя стороны человѣческаго духа, въ нихъ вложенныя, какой-бы живой общечеловѣческій интересъ ни представляли ихъ стремленія къ нравственному идеалу, ихъ протестъ противъ искусственнаго и несправедливаго уклада общественныхъ отношеній,—мы никакъ не можемъ отдѣлаться отъ впечатлѣнія, что это прежде всего и въ особенности русскіе баричи, русскіе дворяне, помѣщики, представители нашего великосвѣтскаго круга. Слишкомъ тутъ «Русью пахнетъ»—да притомъ не всей, а только великосвѣтско-помѣщичьей,—и этотъ запахъ мѣшаетъ намъ сосредоточиться на ихъ общечеловѣческой сторонѣ,—такъ, чтобы сквозь призму нравственной личности Оленина или Левина мы могли-бы созерцать безчисленное множество аналогичныхъ явленій всѣхъ временъ и народовъ, какъ это созерцаемъ мы сквозь призму напр. Гамлета.

На ряду съ русской сословной типичностью мѣшаетъ этому и чрезмѣрная портретность этихъ образовъ.

Но эта самая портретность препятствуетъ и другому художественному эффекту: она отнимаетъ у этихъ образовъ значеніе и интересъ бытовыхъ. Исключительная, одна на всю Россію, личность графа Толстого такъ ясно сквозитъ въ нихъ и такъ импонируетъ намъ, что мы рѣшительно не можемъ воспринимать ихъ въ качествѣ бытовыхъ типовъ.

Итакъ, общечеловѣческое въ нихъ органичено и какъ-бы парализовано (въ художественномъ смыслѣ) бытовымъ, а бытовое—личнымъ.

Требованія высшей эстетической критики, которой подлежитъ Толстой на ряду съ величайшими художниками всѣхъ эпохъ, этими образами не удовлетворяются. Ихъ нельзя причислить къ великимъ и безсмертнымъ созданіямъ искусства. Но въ нихъ

есть нѣчто, имѣющее свои особыя права на безсмертіе: это именно то, что они портреты великаго человѣка, которымъ не перестанутъ интересоваться отдаленныя поколѣнія во всемъ цивилизованномъ мірѣ, и притомъ портреты, написанные не посторонней рукой, а самимъ Л. Н. Толстымъ и исполненные съ тѣмъ мастерствомъ рисунка и глубиною и тонкостью психологическаго анализа, которыя такъ свойственны ему, какъ художнику.

Здѣсь мы пріостановимъ обзоръ автобіографическихъ и въ тѣсномъ смыслѣ субъективныхъ образовъ въ произведеніяхъ Толстого. На очереди у насъ теперь тѣ образы, въ созданіи которыхъ его геній проявился во всей своей мощи, и которые представляютъ наиболѣе трудностей для анализа, имѣющаго цѣлью проникнуть въ самый процессъ творчества. Сюда прежде всего относятся народные типы.

ГЛАВА III.

Художественныя открытія Толстого (народные типы въ „Казакахъ").

I.

Какъ въ жизни Оленина былъ періодъ, когда онъ бѣжалъ отъ «свѣта» и жаждалъ «опрощенія», такъ и въ творчествѣ Толстого была эпоха, когда онъ искалъ новыхъ впечатлѣній и объектовъ для творчества, діаметрально-противуположныхъ тѣмъ, въ кругу которыхъ до тѣхъ поръ оно вращалось. Какъ художникъ, Толстой искалъ и нашелъ на Кавказѣ, въ казацкой станицѣ, то самое, чего искалъ тамъ и нашелъ Оленинъ, какъ человѣкъ и питомецъ великосвѣтской среды. Разница только въ томъ, что послѣдній въ своихъ стремленіяхъ и мечтахъ потерпѣлъ фіаско, между тѣмъ какъ первый вышелъ изъ коллизіи съ полнымъ тріумфомъ—создавъ высокохудожественные, граничащіе съ геніальностью образы казацкихъ типовъ и картины станичной жизни.

Здѣсь все, начиная съ простого, не претендующаго на художественность и поэтичность описанія станицы въ главахъ IV-й и V-й, отмѣчено необыкновенной свѣжестью впечатлѣній, поразительной яркостью красокъ, цѣльностью, живой характерностью образовъ. По всему видно, что художникъ воспринималъ новыя для него впечатлѣнія не однимъ холоднымъ умомъ любознатель-

наго туриста, а всею душою, которая жадно ихъ поглощала и гдѣ заранѣе была готова психологическая форма для ихъ воспріятія.

Какъ-бы ни были своеобразны, значительны и ярки новыя, представляющіяся человѣку, впечатлѣнія,—онъ ими заинтересуется, переработаетъ и объяснитъ себѣ ихъ только въ томъ случаѣ, если они ему психологически нужны и если у него уже есть другой запасъ воспріятій, могущій служить для новыхъ орудіемъ и формою апперцепціи. Нужно, чтобы новыя явленія не были случайнымъ и безразличнымъ зрѣлищемъ для наблюдателя, и чтобы послѣдній не былъ для нихъ равнодушнымъ зрителемъ,—нужно, чтобы было нѣкоторое психологическое сродство, извѣстная Wahlverwandtschaft между прежнимъ содержаніемъ души наблюдателя и новымъ, впервые ему открывающимся матеріаломъ воспріятій. Въ такихъ именно условіяхъ и находился Толстой, когда наблюдалъ станичную жизнь и народные типы, воспроизведенные въ «Казакахъ». Прежнее содержаніе его души дано въ психологіи Оленина, съ которою мы познакомились выше. На вопросъ, какими движеніями мысли и чувства, какимъ душевнымъ запросомъ и какою мечтою апперцепировалъ Толстой новыя для него впечатлѣнія, изображенныя въ «Казакахъ?»—мы отвѣтимъ такъ: всѣмъ, что дано въ Оленинѣ,—стремленіями его мысли, ищущей новыхъ впечатлѣній, прямо противуположныхъ тѣмъ, которыми она до тѣхъ поръ питалась, исканіями его души, утомленной жизнью въ свѣтѣ, его мечтою объ опрощеніи и нравственномъ идеалѣ. Такая «форма апперцепціи» не была исключительно головною,—она охватывала всю душу, она основывалась на психологическихъ потребностяхъ, на своего рода духовномъ голодѣ и духовной жаждѣ. Оттуда это непроизвольное, не нарочитое, какъ-бы само собою, точно здоровый органическій процессъ, осуществившееся поглощеніе новыхъ воспріятій, которыя неудержимо проникаютъ въ душу, тотчасъ-же находятъ тамъ ожидающую ихъ психологическую форму и, сливаясь съ нею, быстро перерабатываются въ живые и яркіе образы. Не виденъ «сочиняющій авторъ», который-бы старался получше изобразить эти фигуры, — но видна живая и живьемъ воспринимающая душа художника въ которой эти образы сами проявились, потому что нельзя было имъ не проявиться. Писателю оставалось только снять съ нихъ копію помощью литературныхъ средствъ, чтобы они могли стать достояніемъ читателя. Послѣдній воленъ, конечно, понимать и оцѣнивать ихъ посвоему; но

если онъ хочетъ понять и прочувствовать ихъ такъ, какъ они были апперцепированы душою художника, то онъ долженъ живо представить себѣ тотъ фонъ, на которомъ они проявились у Толстого,—онъ долженъ постоянно имѣть въ виду психологію Оленина и сквозь ея призму смотрѣть на типы казаковъ и картины станичной жизни. Въ этомъ условіи сказался субъективизмъ Толстого, проявившійся даже здѣсь, въ созданіи этихъ, столь противуположныхъ самому автору, образовъ. Не то—у Тургенева, въ «Запискахъ охотника»: выведенные тамъ народные типы не требуютъ отъ читателя, чтобы онъ, для полнаго ихъ пониманія, считался съ психологіей автора и становился на его точку зрѣнія. Поэтому эти образы мы и называемъ объективными въ собственномъ смыслѣ, между тѣмъ, какъ народные типы Толстого должны быть признаны лишь относительно объективными — по сравненію съ тѣми, которые были построены исключительно на данныхъ самонаблюденія или воспроизводятъ психологію среды, воспитавшей Толстого.

Постараемся нагляднѣе показать необходимость при чтеніи «Казаковъ» держаться субъективной точки зрѣнія автора.

Вотъ маленькая сценка изъ станичной жизни въ концѣ главы V-ой (разговоръ двухъ старыхъ казачекъ, изъ котораго мы узнаемъ кое-что о Маріанкѣ и Лукашкѣ), вотъ—въ главѣ VI-ой и VII-ой—сцены на Нижне-Протоцкомъ посту, Лукашка «урванъ», старый дядя Ерошка, Назарка и другіе. Всѣ эти лица, впервые являющіяся передъ читателемъ, ничего пока не дѣлаютъ, только посвоему разговариваютъ о своихъ дѣлахъ и заботахъ, обмѣниваются случайными замѣчаніями и т. д. Но этого достаточно, чтобы читатель сразу получилъ живое, хотя пока еще отрывочное представленіе о нихъ, о ихъ бытѣ и нравахъ. Прочитанныя отдѣльно, эти сцены оставляютъ впечатлѣніе этнографическаго наброска въ художественной формѣ и вызываютъ въ читателѣ нѣчто вродѣ того заинтересованнаго любопытства, какое возникаетъ напр. при чтеніи путешествій, гдѣ описываются бытъ и нравы некультурныхъ племенъ. Чтобы изъ такого любопытства получился искомый эффектъ, нужно читателю стать сперва на точку зрѣнія Оленина: ему нужно подойти къ этимъ людямъ съ нетерпѣливымъ ожиданіемъ найти въ нихъ нѣчто такое, что отложилось-бы въ сознаніи въ видѣ живого душевнаго интереса. Если вамъ до тошноты прискучили тѣ формы жизни и тѣ типы людей изъ общества, среди которыхъ вы живете, и вами овла-

дѣло страстное желаніе перенестись въ другую жизнь, діаметрально-противуположную,—то вы уже иначе, не съ однимъ лишь этнографическимъ интересомъ или любопытствомъ туриста, отнесетесь къ этимъ народнымъ типамъ. Вы начнете искать въ нихъ чего-то болѣе чѣмъ любопытнаго, вы будете чего-то ожидать отъ нихъ для себя, для переработки вашего внутренняго міра. Эти ваши исканія и ожиданія могутъ и не совпадать съ тѣми, которыя двигали Оленинымъ,—но все-таки вы уже стали на аналогичную точку зрѣнія, вы заняли соотвѣтственную психологическую позицію. Для наибольшаго приближенія къ позиціи Оленина, нужно представить себѣ ту жизнь въ «свѣтѣ», отъ которой онъ бѣжалъ, да еще не мѣшаетъ перенестись мысленно въ 50-е годы, когда — передъ великою реформою — «открывали» и изучали народъ, когда ознакомленіе съ типами той части русскаго народа, которая никогда въ рабствѣ не была и вѣками воспиталась въ традиціяхъ воинственной свободы, представляло особливый и общественный, и психологическій интересъ. Представимъ себѣ въ самомъ дѣлѣ князя Нехлюдова *)—онъ-же и Оленинъ—вдругъ, послѣ горькаго опыта въ деревнѣ, перенесшагося въ казацкую станицу: какъ отдохнула-бы его тоскующая душа въ общеніи съ полудикимъ, вольнолюбивымъ, посвоему гордымъ народомъ, столь непохожимъ на захудалый крѣпостной народъ!

Читатель легко пойметъ, что, при такихъ условіяхъ, радикально измѣнилось-бы его отношеніе къ казакамъ,—и этнографическая картинка получила бы въ его глазахъ совсѣмъ иное освѣщеніе и иной, болѣе глубокій, смыслъ.

Художественныя произведенія нужно умѣть читать, какъ нужно умѣть слушать музыку или смотрѣть на произведенія живописи. Читателю «Казаковъ» я рекомендовалъ-бы при чтеніи главъ V—VII стать по возможности на только-что указанную точку зрѣнія, чему, конечно, помогаетъ и авторъ, давъ въ предшествующемъ психологію Оленина. Но я-бы посовѣтовалъ помнить и Нехлюдова *). При такой подготовкѣ и соотвѣтственномъ настроеніи читателя, слѣдующія главы, VIII и IX-я (выслѣживаніе абрековъ и «подвигъ» Лукашки) прочтутся уже не какъ простое продолженіе этнографическаго очерка, а какъ художественно-психологическое изслѣдованіе, немногими ловкими и смѣлыми пріемами раскрывающее грубый, но здоровый духъ этихъ «дѣтей

*) „Утро помѣщика“.

природы»,—наивный и простой, чуждый рефлексіи и всему, что вноситъ высшая культура, но далеко не лишенный своеобразнаго развитія, содержанія и индивидуальности. Это не безразличная масса, гдѣ всякій Иванъ похожъ на всякаго Петра; въ ней есть личности, натуры, характеры. И дочитавъ до главы X-ой, вы уже будете подготовлены встрѣтить и понять тотъ контрастъ и конфликтъ, которые неизбѣжны между психикой этихъ народныхъ типовъ и сложной, утонченной, склонной къ рефлексіи психикой Оленина. Вмѣстѣ съ тѣми вы сейчасъ-же поймете, что этотъ конфликтъ ничего общаго не имѣетъ съ тѣмъ, который изображенъ въ «Утрѣ помѣщика».

Въ главѣ X-ой (водвореніе Оленина въ станицѣ) вы съ чисто-русскимъ специфическимъ чувствомъ, не поддающимся опредѣленію и едва-ли понятнымъ иностранцу, услышите, какъ славно ругается баба Улита—въ отвѣтъ на привѣтствіе Оленина:—«Здравствуй, матушка! Вотъ я о квартирѣ пришелъ...»—«Что пришелъ? (кричитъ Улита). Насмѣяться хочешь, а? Я-те насмѣюсь, черная на тебя немочь!..»--Оленинъ озадаченъ, но не обижается. Его лакей, Ванюша,—тотъ обиженъ и возмущенъ и находитъ, что эти люди—«не русскіе какіе-то». И въ самомъ дѣлѣ: не знаютъ, что такое баринъ, шапку не ломятъ, не говорятъ «ваше сіятельство». Не только не оробѣли, не засуетились, въ ручку не поцѣловали,—а прямо-таки ругательски ругаются и гонятъ вонъ.

Непосредственно передъ этимъ «объясненіемъ» съ воинственной бабой, Оленинъ, входя въ домъ, мелькомъ увидѣлъ ея дочь, Марьянку. Высокая, стройная фигура молодой казачки невольно привлекла его вниманіе. «Съ быстрымъ и жаднымъ любопытствомъ молодости онъ невольно замѣтилъ сильныя и дѣвственныя формы, обозначавшіяся подъ тонкою ситцевою рубахой, и прекрасные черные глаза, съ дѣтскимъ ужасомъ и дикимъ любопытствомъ устремленные на него...» Послѣ отповѣди старухи, когда онъ выходилъ изъ дому, «Марьяна, какъ была въ одной розовой рубахѣ, но уже до самыхъ глазъ повязанная бѣлымъ платкомъ, неожиданно шмыгнула мимо него изъ сѣней. Быстро постукивая по сходцамъ босыми ногами, она сбѣжала съ крыльца, пріостановилась, порывисто оглянулась смѣющимися глазами на молодого человѣка и скрылась за угломъ хаты...»

Таковы были первые впечатлѣнія Оленина въ станицѣ: строптивая, ругающаяся баба, столь не похожая на крѣпостныхъ бабъ и эта молодая дикарка, промелькнувшая какъ видѣніе. И конечно,

Оленинъ сразу почувствовалъ, что онъ въ самомъ дѣлѣ перенесся куда-то за тридевятъ земель отъ «цивилизаціи», «свѣта» и крѣпостного права и попалъ въ своеобразную и неподатливую среду, живущую самобытной жизнью, — среду людей, которые имѣютъ то, чего вообще такъ мало въ Россіи,—свою гордость и свой особый, нешаблонный складъ духа, представляющійся загадочнымъ и по своему значительнымъ. Это чувствуется въ самомъ способѣ изображенія, прежде всего—въ той по истинѣ гомеровской пластикѣ, полной выразительности и движенія, съ которою описано первое появленіе Марьянки. Ниже увидимъ, что такъ именно рисуются она и ея суженный, Лукашка, и въ дальнѣйшемъ теченіи разсказа, это фигуры «скульптурныя», — и мы, если можно такъ выразиться, не читаемъ о нихъ, а созерцаемъ ихъ и, любуясь ими, какъ изваяніями, догадываемся объ особенностяхъ скрытаго въ этихъ «мраморахъ» духа.

Но о нихъ рѣчь впереди; на очереди у насъ другая фигура, во многихъ отношеніяхъ представляющая еще бо̀льшій интересъ. На другой-же день, послѣ водворенія своего въ домѣ хорунжаго, Оленинъ знакомится съ дядей Ерошкой, который съ первыхъ-же словъ долженъ былъ произвести на молодого офицера сильное и своеобразное впечатлѣніе. — «Кошкильды!» сказалъ старый казакъ входя въ комнату.—«Кошкильды!» отвѣтилъ Оленинъ и подалъ ему руку.—«Дуракъ!» отвѣчаетъ ему Ерошка: «порядковъ не знаешь: коли тебѣ кошкильды говорятъ, ты скажи: алла рази бо сунъ, спаси Богъ. Я тебя всему научу, продолжалъ старикъ. — Такъ-то былъ у насъ Илья Мосеичъ, вашъ, русскій, такъ мы съ нимъ кунаки были. Молодецъ, былъ, пьяница, воръ, охотникъ... Я его всему научилъ...»

Своеобразная фигура стараго дяди Ерошки (оригиналомъ для которой послужилъ Толстому казакъ Епишка, пріятель и чичероне Льва Н. на Кавказѣ) ярко обрисована въ главѣ XI-ой, въ разговорѣ съ нимъ Оленина, завязавшемся послѣ только-что приведеннаго вступительнаго привѣтствія. Все, что узнаетъ Оленинъ отъ Ерошки, и то, что открывается ему въ самомъ старикѣ, должно было казаться молодому офицеру страннымъ, необычайнымъ, превосходящимъ всѣ его ожиданія. Онъ узнаетъ, что попалъ въ среду замкнутую, старовѣрческую, съ презрѣніемъ и недоброжелательствомъ относящуюся къ пришлымъ людямъ, къ мірскимъ, русскимъ, къ солдатамъ и офицерамъ въ особенности. Ему становятся понятными мотивы, побудившіе старую

Улиту гнать его вонъ, и даже отдѣльныя выраженія расходившейся бабы, въ родѣ: «не нужно мнѣ твоихъ денегъ поганыхъ... табачищемъ домъ загадитъ» и пр. Но съ тѣмъ вмѣстѣ онъ узнаетъ, что эти замкнутые въ своемъ быту люди далеко не представляютъ собою типичныхъ фанатиковъ-сектантовъ, и что въ ихъ средѣ возможно возникновеніе болѣе широкихъ взглядовъ на вещи. Живымъ доказательствомъ этому является самъ дядя Ерошка. Бывалый, умудренный опытомъ старикъ обнаруживаетъ всѣ признаки природнаго ума и способности къ сужденіямъ здравымъ, человѣчнымъ, независимымъ. Онъ говоритъ Оленину: «нашъ народъ анафемскій, глупый народъ,—они васъ не за людей считаютъ. Ты для нихъ хуже татарина. Мірскіе, молъ, русскіе. А помоему хоть ты и солдатъ, а все человѣкъ, тоже душу въ себѣ имѣешь...» Своеобразны и въ высокой степени любопытны философія и этика этого человѣка, добытыя собственнымъ его некультурнымъ умомъ, безъ помощи какихъ-бы то ни было книгъ и вліяній со стороны. Когда въ отвѣтъ на его предложеніе «достать» Оленину «красавицу», послѣдній замѣчаетъ, что это «грѣхъ», — старикъ говоритъ: «Грѣхъ? Гдѣ грѣхъ? На хорошую дѣвку глядѣть грѣхъ? Погулять съ ней грѣхъ? Али любить ее грѣхъ? Это у васъ такъ?.. Нѣтъ, отецъ мой, это не грѣхъ, а спасеніе! Богъ тебя сдѣлалъ, Богъ и дѣвку сдѣлалъ. Все онъ, батюшка, сдѣлалъ. Такъ на хорошую дѣвку смотрѣть не грѣхъ. На то она и сдѣлана, чтобы ее любить, да на нее радоваться. Такъ-то я сужу, добрый человѣкъ!» (Глава XII-я).

Чѣмъ дальше, тѣмъ яснѣе открывается Оленину оригинальный внутренній міръ этого человѣка, не чуждый самоуглубленія и нѣкоторыхъ высшаго порядка мыслей и чувствъ. Такъ, когда Лукашка, убивъ чеченца, гуляетъ и поетъ, старикъ замѣчаетъ: «Это знаешь, кто поетъ? Это Лукашка-джигитъ. Онъ чеченца убилъ; то-то и радуется. И чему радуется?.. Дуракъ, дуракъ!.. — А ты убивалъ людей?—спросилъ Оленинъ. Старикъ вдругъ поднялся на оба локтя и близко придвинулъ свое лицо къ лицу Оленина.— Чортъ!—закричалъ онъ на него:—что спрашиваешь? Говорить не надо. Душу загубить мудрено,охъ мудрено!—Что за люди, что за жизнь!—подумалъ Оленинъ» (гл. XIV-я). А вотъ религіозная философія этого человѣка, родившагося и выросшаго въ старообрядческой средѣ: «...Я бывало со всѣми кунакъ,—разсказываетъ онъ Оленину,— татаринъ — татаринъ, армянинъ—армянинъ, солдатъ — солдатъ, офицеръ—офицеръ, мнѣ все равно, только-бы пьяница былъ. Ты,

говоритъ, очиститься долженъ отъ міра сообщенія: съ солдатомъ не пей, съ татариномъ не ѣшь...—Кто это говоритъ?—спросилъ Оленинъ.—А уставщики наши... А муллу и кадія татарскаго послушай. Онъ говоритъ: вы невѣрные гяуры, зачѣмъ свинью ѣдите? Значитъ, всякій свой законъ держитъ. А помоему все одно. Все Богъ сдѣлалъ на радость человѣку. Ни въ чемъ грѣха нѣтъ. Хоть съ звѣря примѣръ бери. Онъ и въ татарскомъ камышѣ, и въ нашемъ живетъ. Куда придетъ, тамъ и домъ. Что Богъ далъ, то и лопаетъ. А намъ говорятъ, что за это будемъ сковороды лизать. Я такъ думаю, что все одна фальшь...—Что̀ фальшь?—спросилъ Оленинъ.—Да что уставщики говорятъ. У насъ, отецъ мой, былъ старшина—кунакъ мнѣ былъ... Такъ онъ говорилъ' что это все уставщики изъ своей головы выдумываютъ. Сдохнешь, говоритъ, трава выростетъ на могилкѣ—вотъ и все...» (гл. XIV-я). Любопытны также нелишенныя поэтичности разсказы старика о его охотничьихъ впечатлѣніяхъ, о тѣхъ чувствахъ и мысляхъ, которыя бывало возникали въ немъ, когда онъ «караулилъ» ночью, подстерегая звѣря. Подстерегъ онъ, напр., стадо дикихъ свиней и только-что хотѣлъ «стрѣлить», какъ свинья вдругъ фыркнетъ на своихъ поросятъ: «бѣда, молъ, дѣтки, человѣкъ сидитъ»,—и, къ великому огорченію охотника, «затрещали всѣ прочь по камышамъ». Это даетъ поводъ къ слѣдующему разсужденію: «Ты думалъ, онъ дуракъ, звѣрь-то? Нѣтъ, онъ онъ умнѣй человѣка, даромъ-что свинья называется. Онъ все знаетъ. Хоть то въ примѣръ возьми: человѣкъ по слѣду пройдетъ, не замѣтитъ, а свинья, какъ наткнется на твой слѣдъ, такъ сейчасъ отдуетъ и прочь; значитъ, умъ въ ней есть, что ты свою вонь не чувствуешь, а она слышитъ. Да и то сказать: ты ее убить хочешь, а она по лѣсу живая гулять хочетъ. У тебя такой законъ, а у нея такой законъ. Она — свинья, а все она не хуже тебя,—такая-же тварь Божья. Эхъ-ма! Глупъ человѣкъ, глупъ, глупъ человѣкъ!—повторилъ нѣсколько разъ старикъ и, опустивъ голову, задумался». Въ несомнѣнной связи съ этими воззрѣніями, посвоему широкими и свободными, развилось въ душевномъ обиходѣ этого человѣка, всю жизнь проведшаго среди грубыхъ и кровавыхъ впечатлѣній, рѣдкое по своей утонченности чувство жалости, состраданія. «А то разъ,—повѣствуетъ онъ, — сидѣлъ на водѣ, смотрю, зыбка сверху плыветъ. Вовсе цѣлая, только край отломанъ. То-то мысли пришли! Чья такая зыбка? Должно, думаю, ваши черти солдаты въ аулъ приш-

ли, чеченокъ побрали, ребеночка убилъ какой чортъ: взялъ за ножки, да объ уголъ. Развѣ не дѣлаютъ такъ-то? Эхъ, души нѣтъ въ людяхъ!.. И такія мысли пришли, жалко стало. Думаю: зыбку бросили и бабу угнали, домъ сожгли, а джигитъ взялъ ружье, на вашу сторону пошелъ грабить...» И, подъ вліяніемъ этихъ мыслей и воспоминаній, глубоко задумался старикъ. Задумался и Оленинъ и, «спустившись съ крыльца, заложивъ руки за спину, сталъ молча ходить по двору. А старикъ, очнувшись, поднялъ голову и началъ пристально всматриваться въ ночныхъ бабочекъ, которыя вились надъ колыхавшимся огнемъ свѣчи и попадали на него.—Дура, дура!—говорилъ онъ.—Куда летишь?.. Сгоришь, дурочка! Вотъ сюда лети, мѣста много,—приговаривалъ онъ нѣжнымъ голосомъ, стараясь своими толстыми пальцами поймать ея крылышки и выпустить.—Сама себя губишь, а я тебя жалѣю» (гл. XV-я).

Эти цитаты говорятъ сами за себя и длинныхъ комментаріевъ не требуютъ. Имъ нужно только подвести итогъ. Что такое дядя Ерошка, какъ художественный образъ, съ точки зрѣнія субъективнаго творчества Толстого? Что такое художественный образъ дяди Ерошки самъ по себѣ, какъ созданіе творчества объективнаго,—каковъ интересъ, представляемый имъ для насъ?

Прежде всего это—одна изъ великолѣпнѣйшихъ фигуръ, созданныхъ Толстымъ, одно изъ блистательныхъ его открытій—въ сферѣ тѣхъ психологическихъ и бытовыхъ явленій, которыя для него были чуждыми, посторонними, къ изученію и воспроизведенію которыхъ онъ обращался, влекомый живымъ стремленіемъ выйти изъ тѣсныхъ границъ субъективной сферы.

Оленинъ встрѣтилъ въ дядѣ Ерошкѣ, Толстой открылъ въ немъ цѣлую залежь душевныхъ формацій, къ общенію съ которыми первый стремился, какъ человѣкъ извѣстнаго круга, а второй—и какъ человѣкъ, и какъ художникъ.

Оленинъ-Толстой бѣжалъ отъ «цивилизаціи», отъ великосвѣтской, столичной жизни: ему нужна была дикая природа и человѣкъ, живущій въ постоянномъ и живомъ общеніи съ нею. Въ этомъ отношеніи дядя Ерошка, этотъ, по выраженію хорунжаго, Нимвродъ египетскій, ловецъ предъ господиномъ, удовлетворялъ Оленина-Толстого въ большей мѣрѣ, чѣмъ другіе представители станичной жизни. Хорунжій, начетчикъ претендующій на образованность, скопидомъ и хозяинъ, Лукашка-джигитъ, натура непосредственная, типичный предста-

витель казацкихъ нравовъ и станичнаго быта, Назарка и всѣ прочіе—все это люди, выросшіе и сложившіеся среди данныхъ формъ быта и традицій и столь-же крѣпко сидящіе въ ихъ тискахъ, какъ представитель великосвѣтскаго круга сидитъ въ своихъ культурныхъ тискахъ. Традиціонные взгляды на вещи, исторически-сложившіяся формы отношеній сковываютъ ихъ внутренній міръ и подавляютъ свободное развитіе чувства и мысли не меньше, если не больше, чѣмъ въ любомъ цивилизованномъ обществѣ. Здѣсь свои «избитыя дорожки», которыхъ такъ не любитъ Оленинъ, здѣсь свой «хомутъ», который такъ противенъ ему. Здѣсь, какъ и вездѣ, бытовая, сословная, профессіональная формація личности подавляетъ и ограничиваетъ ея общечеловѣческое и индивидуальное развитіе. Но дядя Ерошка является блестящимъ исключеніемъ. Онъ, въ извѣстномъ смыслѣ, такой-же отщепенецъ отъ своего общества, какъ Оленинъ—отъ своего. Онъ выше своей среды и умомъ, и чувствомъ,—какъ и Оленинъ въ тѣхъ-же отношеніяхъ выше своей. И потому они оба одиноки, оба не поняты. Рѣчи Ерошки на тему о томъ, что всѣ люди равны, и звѣрь не хуже человѣка,—остаются его личными свободными мнѣніями, которыхъ не поймутъ и не раздѣлятъ ни Лукашка, ни хорунжій, ни Назарка. Онъ между ними—человѣкъ особенный, какъ Оленинъ—между своими. Эта аналогія и сближаетъ ихъ, и между ними устанавливается родъ душевнаго тяготѣнія другъ къ другу, которое еще усуглубляется въ силу того, что указанная аналогія сопряжена съ яркимъ и притягательно-дѣйствующимъ психическимъ контрастомъ: Оленинъ—человѣкъ неустановившійся, ищущій и мятущійся, дядя Ерошка—человѣкъ сложившійся, спокойный, внутренно-уравновѣшенный; Оленинъ, при всѣхъ своихъ протестахъ и смѣлыхъ стремленіяхъ,—личность внутренно-связанная «неотразимостью» правъ на нее той среды, отъ которой онъ тщетно хочетъ уйти, и сложной, запутанной дѣятельностью его духа, дядя Ерошка—человѣкъ внутренно-свободный, непосредственный, самобытный философъ, рѣшившій для себя всѣ вопросы, какіе только возникали въ его умѣ, и нашедшій въ этихъ рѣшеніяхъ успокоеніе и миръ душевный; Оленинъ, уѣхавъ за тысячи верстъ отъ «свѣта», не можетъ избавиться отъ путъ его, Ерошка, оставаясь въ своей средѣ, сумѣлъ освободиться отъ ея оковъ; Оленинъ въ самыхъ своихъ отрицаніяхъ остается аристократомъ и думаетъ и чувствуетъ по-великосвѣтски—не со стороны содержанія мыслей и

чувствъ, а, что иногда важнѣе,—со стороны ихъ психологической, сословной формы, между тѣмъ какъ дядя Ерошка чувствуетъ и думаетъ посвоему: у него нетолько свое содержаніе мыслей и чувствъ, но своя особая психологическая ихъ форма, въ которой доведены до минимума черты сословно-бытовыя и остались только національно-этнографическія, правда, очень ярко выраженныя.

Эти указанія на черты сходства и контраста между душевнымъ укладомъ стараго казака и натурою Оленина-Толстого, даютъ намъ въ руки ту аріаднину нить, которая приводитъ насъ къ открытію субъективной стороны въ созданіи образа дяди Ерошки. Напомню, во избѣжаніе недоразумѣній, что субъективизмомъ въ творчествѣ я называю не приписываніе выводимому лицу собственныхъ мнѣній и взглядовъ автора, а внесеніе въ образъ результатовъ своего внутренняго опыта или-же какой-нибудь основной черты своей собственной натуры.

Въ натурѣ Толстого и въ многолѣтней исторіи его внутренняго опыта весьма видное, можно сказать, первенствующее положеніе занимаетъ слѣдующій душевный процессъ: въ своихъ постоянныхъ исканіяхъ высшей нравственной правды Толстой всегда руководился не то сознаніемъ, не то предчувствіемъ, что эта искомая правда погребена гдѣ-то глубоко въ нѣдрахъ его собственнаго духа, засыпанная и придавленная наносными пластами другихъ психическихъ наслоеній, отложенныхъ «цивилизаціей» вообще и культурою высшаго, аристократическаго класса въ частности. Чтобы увидѣть свѣтъ истины, нужно какъ-нибудь пробиться сквозь эту толщу, нужно приподнять и сдвинуть эти наслоенія. Слѣдующее простое соображеніе является на помощь этому трудному предпріятію: въ мужикѣ, который такъ мало причастенъ «цивилизаціи», въ душѣ котораго такъ незначительны ея наслоенія, всечеловѣческая правда должна лежать не такъ глубоко, а гораздо ближе къ поверхности, и мужику, ищущему этой правды, стоитъ только немножко порасчистить верхній слой, чтобы найти ее или по крайней мѣрѣ близко къ ней подойти. Отсюда обращеніе къ народу съ цѣлью подслушать это прозябаніе высшей правды сквозь исторически-отложившіеся, вѣковые, но a priori предполагаемые слабыми, непрочными наносы культуры и быта. Пожалуй, удастся даже подмѣтить коегдѣ, какъ этотъ свѣтъ пробивается самъ собою, независимо отъ

сознательныхъ усилій человѣка. Поскольку Толстой подходилъ къ народу съ этой стороны, руководимый этой точкой зрѣнія, постольку онъ шелъ путемъ субъективнаго творчества. Субъективность была въ самомъ замыслѣ. Въ процессѣ-же творчества она частью ограничивалась, частью совсѣмъ устранялась объективными наблюденіями и вновь появлялась тамъ, гдѣ дѣйствительность въ самомъ дѣлѣ оправдывала въ извѣстной мѣрѣ надежды Толстого и давала ему въ руки хотя-бы намеки, которые какъ-бы уполномочивали его воплощать въ народныхъ образахъ столь знакомый ему, по собственному внутреннему опыту, процессъ исканія высшей правды внутри себя,—добыванія истины собственнымъ умомъ, освобожденія духа отъ ограничивающихъ и искажающихъ его воздѣйствій культуры.

Чтобы этимъ путемъ, при дѣятельномъ участіи указаннаго субъективнаго момента, создать изъ объективныхъ наблюденій надъ народной жизнью превосходный образъ дяди Ерошки и, какъ увидимъ въ слѣдующей главѣ, грандіозную фигуру Платона Каратаева, нужно было обладать геніальной художественной интуиціей Толстого, тою, ему одному свойственною, силою художественнаго зрѣнія, которая позволяетъ ему созерцать объективный міръ въ его настоящемъ свѣтѣ—несмотря на то, что между этимъ міромъ и его взоромъ находится среда, казалось-бы, долженствовавшая неминуемо заслонить этотъ міръ или, по крайней мѣрѣ, преломить идущіе отъ него лучи,—собственная душа Толстого, столь сложная, столь богатая содержаніемъ, вѣчно движущаяся и волнующаяся и потому именно непрозрачная.

Не будь у Толстого этого дара геніальной прозорливости, вмѣсто типичной, истинно-народной фигуры дяди Ерошки вышла-бы фигура искусственная, псевдо-народная,—это была-бы часть того-же Оленина, переодѣтаго въ народный костюмъ. И какъ-бы хорошо ни былъ нарисованъ такой образъ съ внѣшней стороны, какъ-бы искусно ни были поддѣланы манеры, языкъ и т. д.,—образъ все-таки вышелъ-бы фальшивымъ и, разумѣется, не представлялъ-бы для насъ того живого интереса, какой присущъ великолѣпной фигурѣ дяди Ерошки. Говоря такъ, я съ тѣмъ вмѣстѣ даю отвѣтъ на второй, поставленный мною, вопросъ: какое значеніе имѣетъ для насъ этотъ образъ, какъ созданіе творчества объективнаго?

Дядя Ерошка—народный великорусскій типъ, обобщающій нѣкоторыя очень любопытныя стороны народнаго духа. Это обобщеніе говоритъ намъ, что не мы одни, люди, причастные европейской цивилизаціи, наукѣ, искусству, литературѣ,—всему, что облагораживаетъ человѣка и дѣлаетъ его гуманнымъ,—способны шевелить мозгами, критически относиться къ вѣками установившимся и господствующимъ въ окружающей средѣ нравственнымъ и инымъ понятіямъ, питать высшія чувства, напримѣръ, жалости, состраданія. Критическая мысль и глубина и чуткость душевной организаціи, для которыхъ общечеловѣческое просвѣщеніе является могущественнымъ и незамѣнимымъ орудіемъ и прочной основой, не составляютъ однако монополіи и привиллегіи образованныхъ классовъ. Дядя Ерошка цѣлой головой выше интелигентной толпы и, какъ личность, гораздо интереснѣе и богаче содержаніемъ тѣхъ адептовъ цивилизаніи, у которыхъ образованіе, нерѣдко обширное и разностороннее, отлично уживается съ вялостью мысли и деревянностью чувства. Въ народѣ, невзирая на всѣ неблагопріятныя условія, сохраняется природная энергія мысли и свѣжесть чувства, которыя какъ-бы ждутъ-не-дождутся живительныхъ лучей просвѣщенія—чтобы расцвѣсть и дать сочный плодъ. Горе тому народу, въ которомъ почему-бы то ни было изсякнетъ природный родникъ мысли и чувства,—тогда никакое просвѣщеніе ужъ не поможетъ ему! Этотъ родникъ засаривается и грозитъ изсякнуть тамъ, гдѣ общее душевное самочувствіе людей ненормально, нездраво, гдѣ человѣкъ теряетъ сознаніе своего человѣческаго достоинства, гдѣ его духъ угнетенъ такими разлагающими душевными процессами, какъ напр. страхъ, чувство безпомощности, сознаніе своего безсилія, своего ничтожества. Не такова среда, изображенная Толстымъ въ «Казакахъ»: это общество людей смѣлыхъ, сильныхъ духомъ, съ ярко-выраженнымъ чувствомъ человѣческаго достоинства, съ здравымъ общимъ душевнымъ самочувствіемъ,—а потому, какъ-бы ни была проста и некультурна ихъ жизнь, какъ-бы ни были грубы ихъ нравы, родникъ живой мысли и человѣчныхъ чувствъ у нихъ не засоренъ и не изсякнетъ. Въ образѣ дяди Ерошки мы видимъ его олицетвореніе.

Дядя Ерошка—типъ народный, но не мужицкій, не крестьянскій. Это не человѣкъ сохи и страды, это — вольный казакъ, охотникъ, бобыль. Даже отъ своихъ одностаничниковъ онъ отличается въ этомъ отношеніи: тѣ все-таки земледѣльцы и хозяева.

У дяди Ерошки хозяйства нѣтъ; онъ промышляетъ охотой и подачками добрыхъ людей, онъ — почти пролетарій, но только совсѣмъ особаго сорта,—такой, котораго душа не угнетена страхомъ нищеты и чувствомъ безпомощности; въ немъ нѣтъ и тѣни той душевной растерянности, которая образуетъ характерную черту сельскаго или городского пролетарія. Человѣкъ бѣдный, но все-таки обезпеченный и независимый, дядя Ерошка въ одно и то-же время свободенъ и отъ гнета нищеты, и отъ того, что Глѣбъ Успенскій назвалъ «властью земли»: въ самомъ дѣлѣ, характерный душевный складъ русскаго мужика, обусловленный «властью земли», у дяди Ерошки не виденъ. Если ко всему этому прибавимъ еще принадлежность къ той части народа, которая крѣпостного права не знала, да къ тому-же проникнута духомъ старообрядческой независимости, а также — жизнь на окраинѣ въ постоянномъ общеніи съ разными инородцами,—то мы будемъ имѣть въ своемъ распоряженіи всю совокупность бытовыхъ условій, благопріятствующихъ образованію той разновидности народнаго духа, которая воплощена въ лицѣ стараго казака-охотника. Эти условія не составляютъ исключительной принадлежности казацкихъ станицъ на Кавказѣ и, съ разными варіяціями, повторяются и на другихъ окраинахъ. Дядю Ерошку мы, конечно, найдемъ — mutatis mutandis — и на сѣверѣ Россіи, и на востокѣ, въ Сибири. Передъ нами люди здоровые и сильные духомъ, здоровые и сильные какъ раса, сохранившіе чувство человѣческаго достоинства и — въ силу всѣхъ этихъ свойствъ, вмѣстѣ взятыхъ,—способные къ своеобразному развитію, умственному и нравственному. И непремѣнно среди нихъ окажется хоть одинъ независимый философъ, который, подобно дядѣ Ерошкѣ, сумѣетъ стряхнуть съ себя вѣковыя понятія и традиціонные взгляды на Божій міръ, на жизнь, на людскія дѣла—и взглянетъ на все это съ такой свободной и возвышенной точки зрѣнія, какъ дай Богъ иному заправскому мыслителю. Навѣрно въ какомъ-нибудь Тарбагатаѣ, кромѣ зажиточности, крѣпкихъ избъ и тучнаго скота, есть еще и свой дядя Ерошка, который говоритъ: «гдѣ грѣхъ? въ чемъ грѣхъ? любить грѣхъ?» и проповѣдуетъ, что татаринъ-ли, русскій-ли — все едино, всѣ въ себѣ душу имѣютъ и что всѣхъ нужно жалѣть, не исключая и звѣрей. За освобожденіемъ духа человѣческаго въ его цѣломъ ото всего, что угнетаетъ и искажаетъ его, идетъ послѣдовательно освобожденіе въ немъ самомъ его лучшихъ и высшихъ сторонъ,

человѣчной мысли и человѣчныхъ чувствъ, отъ подавляющихъ ихъ низшихъ и эгоистическихъ влеченій. Энергія и независимость мысли и гуманность чувства—это положительная душевная сила, и она можетъ проявиться только тамъ, гдѣ вообще развитіе духа человѣческаго идетъ въ направленіи силы, а не безсилія, гдѣ—помимо мысли и чувства — вырабатываются характеры, хотя-бы и грубые, но въ которыхъ нѣтъ и тѣни дряблости, гдѣ слагаются нравы, хотя-бы и жестокіе, но не приниженные. Пусть дядя Ерошка въ своемъ родѣ отщепенецъ и, по своему душевному складу, личность оригинальная, а не вѣрный представитель своей среды, но онъ психологически возможенъ и даже необходимъ въ этой средѣ,—ибо это среда не дряблая, не оскудѣлая духомъ, и въ ней есть такіе молодцы, какъ Лукашка-джигитъ, и такія сильныя и гордыя женскія натуры, какъ Маріанка.

Эти два образа представляютъ собою художественное выраженіе тѣхъ наблюденій надъ бытомъ и нравами казаковъ, которыя кратко и не въ художественной формѣ резюмированы въ гл. IV-ой. Тамъ между прочимъ читаемъ: «Живя между чеченцами, казаки перероднились съ ними и усвоили себѣ обычаи, образъ жизни и нравы горцевъ; но удержали и тамъ, во всей прежней чистотѣ, русскій языкъ и старую вѣру... Еще до сихъ поръ казацкіе роды считаются родствомъ съ чеченскими, и любовь къ свободѣ, праздности, грабежу и войнѣ составляетъ главныя черты ихъ характера... Казакъ, по влеченію, менѣе ненавидитъ джигита-горца, который убилъ его брата, чѣмъ солдата, который стоитъ у него, чтобы защищать его станицу, но который закурилъ табакомъ его хату. Онъ уважаетъ врага-горца, но презираетъ чужого для него и угнетателя солдата. Собственно русскій мужикъ для казака есть какое-то чуждое, дикое и презрѣнное существо, котораго обращикъ онъ видалъ въ заходящихъ торгашахъ и переселенцахъ малороссіянахъ, которыхъ казаки презрительно называютъ шаповалами. Щегольство въ одеждѣ состоитъ въ подражаніи черкесу... Молодецъ казакъ щеголяетъ знаніемъ татарскаго языка и, разгулявшись, даже съ своимъ братомъ говоритъ по-татарски. Несмотря на то, этотъ христіанскій народецъ, закинутый въ уголокъ земли, окруженный полудикими магометанскими племенами и солдатами, считаетъ себя на высокой степени развитія и признаетъ человѣкомъ только одного казака, на все-же остальное смотритъ съ презрѣніемъ». Вотъ эти-то наблюденія и повторены въ художественной формѣ—въ

образѣ Лукашки, который поэтому и долженъ быть признанъ созданіемъ чисто объективнаго творчества. Этотъ образъ, по способу исполненія, отличается такою-же пластичностью и скульптурностью, какъ и фигура Маріанки. «Лукашка—читаемъ въ гл. VI-ой—былъ высокій, красивый малый, лѣтъ двадцати... Лицо и все сложеніе его, несмотря на угловатость молодости, выражали большую физическую и нравственную силу... По широкому выраженію его лица и спокойной увѣренности позы, видно было, что онъ уже успѣлъ принять свойственную казакамъ воинственную и нѣсколько гордую осанку, что онъ казакъ и знаетъ себѣ цѣну не ниже настоящей.—Порознь черты лица его были не хороши, но, взглянувъ сразу на его статное сложеніе, чернобровое, умное лицо, всякій невольно сказалъ-бы: «молодецъ малый!» Во всѣхъ сценахъ, гдѣ онъ появляется, онъ представленъ такъ, что мы въ одно и то же время и любуемся его молодецкой типично-казацкой фигурой, и ясно видимъ его несложный, но посвоему значительный внутренній міръ. Этотъ эффектъ достигается строгимъ выборомъ и экономіей художественныхъ пріемовъ: Лукашка появляется только тогда, когда это необходимо, говоритъ только то, что въ самомъ дѣлѣ нужно сказать, и самъ авторъ, занятый преимущественно Оленинымъ, говоритъ намъ очень мало о молодомъ казакѣ; онъ вообще мало о немъ заботится и предоставляетъ ему самому показать себя въ настоящемъ свѣтѣ. И Лукашка себя въ самомъ дѣлѣ показываетъ: въ выслѣживаніи абрековъ, дома—въ станицѣ, когда онъ кутитъ, балагуритъ съ дѣвками, на свиданіи съ Маріанкой, въ разговорахъ съ Оленинымъ—вездѣ онъ все тотъ-же молодецъ-джигитъ, натура непосредственная, типичный казакъ. Повидимому, онъ очень любитъ Маріанку, но эта любовь не играетъ большой роли въ его душевномъ обиходѣ и совершенно лишена всякой романтической окраски. Онъ любитъ сдержанно и сурово. Такъ-же точно сурова и сдержана любовь Маріанки къ нему. Въ своихъ отношеніяхъ другъ къ другу оба они обнаруживаютъ незаурядный закалъ душевный. Они ревнуютъ другъ друга, но это ревность самолюбивая, гордая и угрюмая,—у него она обходится безъ той массы мелкихъ мужскихъ чувствъ, съ которыми она неразлучна такъ часто,—у нея — безъ той слезливой и злой нервности, какая такъ характерна для многихъ женщинъ.

Въ основѣ превосходнаго образа Марьянки были положены тѣ наблюденія надъ гребенскими женщинами, которыя кратко

намѣчены въ гл. IV-ой. «Казакъ (читаемъ тамъ), который при постороннихъ считаетъ неприличнымъ ласково или праздно говорить съ своей бабой, невольно чувствуетъ ея превосходство, оставаясь съ ней съ глазу на глазъ. Весь домъ, все хозяйство пріобрѣтено ею и держится только ея трудами и заботами... Постоянный мужской, тяжелый трудъ и заботы, переданныя ей на руки, дали особенно самостоятельный, мужественный характеръ гребенской женщинѣ и поразительно развили въ ней физическую силу, здравый смыслъ, рѣшительность и стойкость характера. Женщины большею частью и сильнѣе, и умнѣе, и развитѣе, и красивѣе казаковъ. Красота гребенской женщины особенно поразительна соединеніемъ самаго чистаго типа черкесскаго лица съ широкимъ и могучимъ сложеніемъ сѣверной женщины».

Эти наблюденія повторены въ художественномъ образѣ Марьянки, написанномъ совершенно такъ, какъ написанъ Лукашка,— съ тою-же экономіей художественныхъ пріемовъ и тою-же авторскою сдержанностью.

Прослѣдите всѣ важнѣйшія сцены, гдѣ она является,—и вы увидите и поймете ее какъ разъ такъ, какъ вы видите и понимаете Лукашку. Вы любуетесь ея величавой, породистой красотою, какъ любуетесь молодецкою фигурой ея возлюбленнаго. Вы чувствуете, что подъ этой внѣшностью скрывается душевный закалъ, пожалуй, посильнѣе того, который вы видѣли въ молодомъ казакѣ. Вскорѣ вамъ становится ясно, что, при всей своей непосредственности, Марьяна—натура посвоему глубокая, сильная, безусловно-цѣломудренная. И въ галлереѣ женскихъ типовъ Толстого вы отведете ей одно изъ первыхъ мѣстъ—не только по мастерству исполненія, какъ художественному образу, но и по существу, какъ женскому характеру, какъ личности.

Созерцая эти типичныя фигуры и черезъ нихъ ту среду, лучшія и характерныя стороны которой онѣ воспроизводятъ, вы новольно скажите себѣ: да, это крѣпкая, славная раса, это— народъ, здоровый тѣломъ и духомъ, — и онъ не выродится, не пропадетъ. Пусть эти люди невѣжественны и не пріобщены къ высшей цивилизаціи, пусть мысль ихъ дремлетъ, и высшимъ гуманнымъ чувствамъ нѣтъ у нихъ развитія, если не считать отдѣльныхъ и, конечно, рѣдкихъ явленій въ родѣ дяди Ерошки,— пусть это такъ, но у нихъ есть то, безъ чего сама цивилизація не имѣетъ ни цѣны, ни смысла, а мысль и гуманность не-

возможны: у нихъ есть своя гордость и сознаніе своего человѣческаго достоинства.

Смѣлая, глубокая мысль и широкое гуманное чувство всегда и вездѣ—удѣлъ избранныхъ. Сознаніе своего человѣческаго достоинства должно быть принадлежностью всѣхъ и каждаго. Народъ, у котораго оно есть, не выродится, не захирѣетъ,—все прочее, чего недостаетъ ему,—въ свое время приложится.

Народные типы въ «Казакахъ» не принадлежатъ къ числу очень широкихъ художественныхъ обобщеній: это типы мѣстные, этнографическіе. Въ этомъ отношеніи ихъ нужно поставить на одну доску съ типами великорусскихъ крестьянъ у Тургенева (въ «Запискахъ охотника»), у Писемскаго, у Глѣба Успенскаго: все это художественные образы, имѣющіе цѣнность почти ученаго этнографическаго и бытового изслѣдованія. Но Толстой, въ своихъ стремленіяхъ проникнуть въ самую глубь народнаго духа, пошелъ дальше и—создалъ геніальный образъ мужичка и солдатика Платона Каратаева, воплотивъ въ немъ уже не мѣстно-этнографическія, а общенародныя, великорусскія національныя черты,—въ общемъ или, лучше, въ своей сущности, тѣ самыя, которыя въ иномъ обличьѣ воспроизведены имъ въ исторической фигурѣ Кутузова.

ГЛАВА IV.

Типы національные Каратаевъ.

Въ ряду типовъ, созданныхъ Толстымъ, Платону Каратаеву и Кутузову принадлежитъ совсѣмъ особое мѣсто. Можно сказать даже, что вообще въ русской художественной литературѣ это образы исключительные, единственные въ своемъ родѣ. Не только по необычайному мастерству исполненія, но, что гораздо важнѣе, по оригинальности замысла и своеобразной значительности воплощенной въ нихъ идеи, эти двѣ фигуры рѣзко выдѣляются изъ массы образовъ, ихъ окружающихъ, и, невзирая на то, что въ самой фабулѣ эпопеи ихъ роль не велика, выступаютъ въ сознаніи читателя на первый планъ. Безъ Каратаева и Кутузова великая эпопея «Войны и Мира» не была бы тѣмъ, чѣмъ она по праву является,—великимъ законченнымъ національнымъ памятникомъ,—она-бы не была нашей Иліадой и Одиссеей.

Предстоящая намъ задача сводится къ тому чтобы разсмотрѣть эти два образа со стороны вложеннаго въ нихъ психологическаго содержанія и раскрыть ту идею, представленіемъ которой служитъ это содержаніе.

Начнемъ съ Каратаева.

Перечитаемъ тѣ мѣста, гдѣ онъ выведенъ (томъ IV, часть I, главы XII и XIII; ч. II, гл. XI; ч. III, гл. XIII и XIV), и постараемся отдать себѣ отчетъ въ нашихъ впечатлѣніяхъ.

Изъ ряда этихъ впечатлѣній совершенно отчетливо выдѣляется то, что принято называть «эстетической эмоціей»: мы ясно ощущаемъ своеобразное возбужденіе мысли и чувства, вызванное самимъ художественнымъ образомъ, какъ онъ есть, независимо отъ сюжета, отъ исторіи и судьбы выведеннаго лица. Каратаевъ дѣйствуетъ на насъ такъ «эмоціонально» потому только, что онъ—Каратаевъ, а не оттого, что онъ въ плѣну, страдаетъ, что его убиваютъ. Въ ряду художественныхъ образовъ есть не мало такихъ, при воспріятіи которыхъ не легко сразу раздѣлить эти два источника эмоціи. Каратаевъ принадлежитъ къ числу тѣхъ, по отношенію къ которымъ, напротивъ, очень легко это сдѣлать. Читая напр., описаніе смерти Каратаева (томъ IV, часть III, гл. XIV), мы не испытываемъ большого чувства жалости: оно подавлено, какъ-бы нейтрализовано сильной эстетической эмоціей, производимой самой фигурой Каратаева.

Это эстетическое чувство незамѣтно подкралось къ намъ въ тотъ моментъ, когда мы читали въ главѣ XII-ой I-ой части IV-го тома сцену знакомства Пьера Безухова съ Каратаевымъ. Фигура маленькаго солдатика, который пожалѣлъ и утѣшилъ Пьера, тронула насъ какимъ-то особеннымъ, необычнымъ образомъ. Сперва намъ почудилось, что это было то-же самое чувство, которое испыталъ Пьеръ: «такое выраженіе ласки и простоты было въ пѣвучемъ голосѣ человѣка, что Пьеръ хотѣлъ отвѣчать, но у него задрожала челюсть, и онъ почувствовалъ слезы». Но уже слѣдующая страница заставила насъ отвлечься отъ этой мысли, забыть эту трогательность состраданія и участія, проявленнаго Каратаевымъ, и сосредоточить вниманіе на другихъ чертахъ образа. Во-первыхъ, мы сейчасъ-же узнали, что Каратаевъ жалѣетъ Пьера такъ-же, какъ жалѣетъ онъ собаку: «Ишь шельма, пришла!—услыхалъ Пьеръ въ концѣ балагана тотъ-же ласковый голосъ...»—Во-вторыхъ, тутъ-же, на

той-же и слѣдующихъ страницахъ, мы убѣдились въ томъ, что передъ нами натура совершенно непосредственная, въ которой доброта, состраданіе и т. д.—не добродѣтели, не сознательныя проявленія души, а какъ-бы родъ врожденнаго психическаго темперамента,—черты, аналогичныя такимъ физіологическимъ признакамъ личности, какъ, напр., ростъ, цвѣтъ глазъ, тембръ голоса и т. д. Это—не заслуги, не преимущества, а свойства. Доброта Каратаева, если можно такъ выразиться, не въ «сердцѣ» его, а въ его пѣвучемъ голосѣ, «круглыхъ» и «спорыхъ» движеніяхъ, во всей повадкѣ его. Это открытіе устранило то трогательное чувство, которое минутой раньше мы испытали вмѣстѣ съ Пьеромъ, но ничуть не ослабило силы художественной эмоціи, вызванной въ насъ фигурой Каратаева. Напротивъ, эта эмоція еще увеличивается, нашъ художественный интересъ къ образу еще возростаетъ, когда ниже, въ главѣ XIII-ой, мы узнаемъ, что «привязанностей, дружбы, любви, какъ понималъ ихъ Пьеръ, Каратаевъ не имѣлъ никакихъ, но онъ любилъ и любовью жилъ со всѣмъ, съ чѣмъ его сводила жизнь, и въ особенности съ человѣкомъ,—не съ извѣстнымъ какимъ-нибудь человѣкомъ, а съ тѣми людьми, которые были передъ его глазами». Это какъ-бы природная экспансивность и общительность человѣка, нетронутаго индивидуализмомъ и рефлексіей, человѣка, взятаго не какъ личность, характеризующаяся своеобразнымъ содержаніемъ души, а только какъ «существо общественное». «Онъ любилъ (читаемъ мы тутъ-же) свою шавку, любилъ товарищей, французовъ, любилъ Пьера, который былъ его сосѣдомъ; но Пьеръ чувствовалъ, что Каратаевъ, несмотря на всю свою ласковую нѣжность къ нему (которою онъ невольно отдавалъ должное духовной жизни Пьера), ни на минуту не огорчился-бы разлукой съ нимъ. И Пьеръ то же чувство начиналъ испытывать къ Каратаеву».

Каратаевъ инстинктивно отдаетъ дань духовной жизни Пьера, потому что у него самого духовной жизни нѣтъ въ смыслѣ положительнаго содержанія его «я» и вся она безъ остатка сливается у него съ формою личности.

Здѣсь нелишними будутъ нѣсколько словъ—въ поясненіе этихъ понятій психологической формы и психологическаго содержанія.

Анализируя нашъ внутренній міръ, мы легко отмѣтимъ тѣ психическія явленія, которыя въ теченіе всей нашей жизни пред-

ставляются, въ своихъ основныхъ чертахъ, стойкими, относительно неизмѣнными, между тѣмъ какъ другія постоянно измѣняются, чередуются, появляются, исчезаютъ. Первыя могутъ быть названы постоянной психической величиной, а вторыя—перемѣнной. Эти термины не должны быть понимаемы буквально, и нельзя признавать ихъ вполнѣ точными, потому что, строго говоря, въ душѣ человѣческой нѣтъ ничего неизмѣннаго, въ ней все—въ вѣчномъ движеніи. Но извѣстныя психическія явленія измѣняются чрезвычайно медленно, по каплямъ, и эти измѣненія едва доступны сознанію самого субъекта или наблюденію извнѣ. Есть и такія измѣненія, которыя совсѣмъ не сознаются и не подлежатъ никакому наблюденію въ то время, когда они происходятъ, и только ученое изслѣдованіе результатовъ, ими произведенныхъ, удостовѣряетъ ихъ наличность. Къ числу чертъ, измѣненіе которыхъ замѣчается только по прошествіи многихъ лѣтъ, принадлежатъ напр., черты индивидуальнаго характера человѣка. Рѣзкая, быстрая перемѣна характера возможна только при извѣстныхъ душевныхъ заболѣваніяхъ (при такъ назыв. раздвоеніи личности). При душевномъ здоровьѣ характеръ остается, въ своихъ основныхъ чертахъ, относительно-неизмѣннымъ, т. е. тѣ перемѣны, которымъ онъ подвергается съ теченіемъ времени, или незамѣтны, или такъ не существенны, что мы считаемъ ихъ равными нулю. Признаки національные, а также сословные, входящіе въ составъ личности, измѣняются въ индивидуумахъ совершенно незамѣтно и нечувствительно, какъ для сознанія самого субъекта, такъ и для наблюденія со стороны, и только черезъ нѣсколько поколѣній могутъ проявиться такія перемѣны въ этихъ областяхъ психики, которыя убѣждаютъ насъ въ томъ, что движеніе въ данномъ направленіи непрерывно шло въ скрытомъ видѣ.—Вотъ именно всѣ такія психическія черты, условно и неточно называемыя величинами постоянными или представляющіяся намъ таковыми, и образуютъ психологическую форму личности. Въ эту форму жизнь личности вкладываетъ постоянно, какъ-бы калейдоскопически измѣняющееся содержаніе мыслей, чувствъ, страстей, волевыхъ актовъ.

Съ возрастомъ, образованіемъ, развитіемъ ума, опытомъ жизни, подъ воздѣйствіемъ среды, профессіи и т. д., это содержаніе измѣняется количественно и качественно, и вся совокупность процессовъ, изъ которыхъ оно слагается, образуетъ духовную жизнь личности, ея индивидуальную психическую

исторію. Эта жизнь можетъ быть болѣе или менѣе интенсивна, эта исторія можетъ быть болѣе или менѣе богата внутренними, психическими событіями. Сущность процесса сводится здѣсь къ видимой или ощущаемой, сознаваемой перемѣнѣ содержанія при неощущаемомъ, невидимомъ, несознаваемомъ измѣненіи формы. Такъ Пьеръ Безуховъ въ эпоху кутежей и буйствъ, по своему душевному содержанію, былъ не тотъ, какимъ онъ сталъ напр. въ періодъ увлеченія масонствомъ, но, съ точки зрѣнія формы, это былъ и тогда, и потомъ все тотъже Пьеръ, потому что, если и произошли какія-нибудь измѣненія въ его характерѣ, то они были совершенно незамѣтны. Во всѣ эпохи своей жизни Пьеръ является все тѣмъ-же чудаковатымъ и благодушнымъ Пьеромъ, съ умомъ, склоннымъ къ рефлексіи, съ тѣмъ же характеромъ и темпераментомъ. Теперь представимъ себѣ такой случай: человѣкъ переживаетъ довольно разнообразную внѣшнюю исторію, а между тѣмъ его внутренній міръ представляется вамъ почти неизмѣннымъ; самое содержаніе его души въ 50 лѣтъ осталось тѣмъ-же, какимъ было оно въ 20 лѣтъ. Въ такомъ человѣкѣ вы не усмотрите величинъ перемѣнныхъ, вамъ будетъ казаться, что вся его психика состоитъ изъ однѣхъ постоянныхъ величинъ,—и вы скажете, что онъ—одна психологическая форма—безъ содержанія. Оставляя въ сторонѣ исключительные случаи этого рода и имѣя въ виду только средняго нормальнаго человѣка, мы скажемъ, что въ дѣйствительности такихъ людей безъ содержанія и съ одной формою—нѣтъ, но возможны различныя степени приближенія къ подобному укладу духа. И, конечно, мы въ правѣ, для тѣхъ или другихъ цѣлей, напр. научныхъ или художественныхъ, представить себѣ идеальный случай этого рода. Вообразимъ себѣ внутреннюю, душевную исторію человѣка какъ-бы пріостановленною; допустимъ, что если въ положительномъ содержаніи его мыслей, чувствъ, волевыхъ актовъ и совершаются нѣкоторыя перемѣны, то онѣ совершенно ничтожны; примемъ ихъ равными нулю; согласимся признать его душевное содержаніе величиной постоянной. Тогда мы уже не будемъ въ состояніи отличать его отъ формы,—въ нашихъ глазахъ оно сольется съ формою. Такой опытъ и сдѣлалъ Толстой, создавъ образъ Каратаева.

Вотъ и постараемся разсмотрѣть тѣ психическія черты, изъ которыхъ слагается формальная личность Каратаева. Для удобства анализа и большей ясности изложенія мы будемъ выдѣлять

эти черты одну за другою, чтобы, уяснивъ себѣ ихъ природу, впослѣдствіи перейти отъ ихъ анализа къ ихъ синтезу.

Сперва бросается въ глаза та черта, которую можно назвать формальною общежительностью (sociabilité), натуральнымъ альтруизмомъ, естественнымъ чувствомъ (пожалуй, инстинктомъ) общественности. Въ слѣдующемъ мѣстѣ главы XIII-ой (I-ой части IV-го тома) эта черта воспроизведена въ такихъ выраженіяхъ, что мы невольно вспоминаемъ общественныхъ животныхъ, напр. муравья, или пчелу: «...каждое дѣйствіе его было проявленіемъ неизвѣстной ему дѣятельности, которая была его жизнь. Но жизнь его, какъ онъ самъ смотрѣлъ на нее, не имѣла смысла, какъ отдѣльная жизнь: она имѣла смыслъ только какъ частица цѣлаго, которое онъ постоянно чувствовалъ». Эти слова можно было-бы отнести напр. къ муравью, еслибы ими исчерпывалось опредѣленіе общежительности Каратаева, еслибы мы не знали, какъ далеко простирается она, переходя за предѣлы сословія, національности, религіи, государства, — вообще всего, что дробитъ людей. Жизнь муравья имѣетъ смыслъ только какъ частица жизни того муравейника, къ которому принадлежитъ данная особь. Жизнь пчелы имѣетъ смыслъ только какъ часть общей жизни ея улья. Еслибы Каратаевъ чувствовалъ, что его жизнь имѣетъ смыслъ только какъ частица общей жизни его семьи или деревни,—въ такомъ случаѣ онъ уподобился-бы муравью, пчелѣ и т. д. Но этого-то ограниченія и нѣтъ,—и его отсутствіе и придаетъ такую значительность и такой интересъ фигурѣ Каратаева. Представимъ себѣ муравья, который вдругъ почувствовалъ-бы, что его жизнь есть частица жизни всей совокупности муравьевъ, живущихъ на всемъ земномъ щарѣ: такой муравей былъ-бы муравьинымъ Каратаевымъ.

Имѣя въ виду пока только эту сторону натуры Каратаева, мы опредѣлимъ его такъ: это прежде всего — такой русскій мужичекъ, въ которомъ вѣковѣчные «мірскіе», общежительные инстинкты расширены до послѣднихъ предѣловъ и объемлютъ все человѣчество, безъ различія сословія, національности, вѣры и т. д.

Существуютъ-ли такіе русскіе мужики въ дѣйствительности,—это ужъ другой вопросъ, на который не берусь дать отвѣта. Но для меня не подлежитъ ни малѣйшему сомнѣнію, что въ искусствѣ такой образъ не только возможенъ, но и глубоко-правдивъ. Каратаева въ дѣйствительности можетъ и не быть, но каратаевскія черты несомнѣнно существуютъ въ рус-

ской народно-національной психологіи. Обращаясь къ народно-національной сторонѣ Каратаева, мы, для удобства, разсмотримъ сперва то, что есть въ Каратаевѣ специфически народнаго, крестьянскаго, а потомъ обратимся къ опредѣленію національнаго элемента въ немъ.

Въ основѣ психики Каратаева лежатъ типичныя черты народной, крестьянской психологіи. Долгая служба въ солдатахъ не исказила этихъ чертъ, не нарушила ни на іоту того душевнаго строя, который слагается изъ ихъ совокупности. Солдатъ по службѣ, Каратаевъ психологически совсѣмъ не солдатъ. Онъ— русскій мужикъ, крестьянинъ. «Онъ неохотно говорилъ про свое солдатское время... Когда онъ разсказывалъ, то преимущественно изъ своихъ старыхъ и дорогихъ ему воспоминаній «христіанскаго», какъ онъ выговаривалъ, крестьянскаго быта. Поговорки, которыя наполняли его рѣчь, не были тѣ, большею частью неприличныя и бойкія поговорки, которыя говорятъ солдаты, но это были тѣ народныя изреченія, которыя кажутся столь незначительными, взятыя отдѣльно, и которыя получаютъ вдругъ значеніе глубокой мудрости, когда они сказаны кстати».—«Попавъ въ плѣнъ, обросши бородою, онъ видимо отбросилъ отъ себя все напущенное на него, солдатское, и невольно возвратился къ прежнему крестьянскому, народному складу». (Тотъ IV, ч. I, гл. XIII). Эта крестьянско-народная основа прекрасно иллюстрирована въ предыдущей главѣ, XII-ой, разсказомъ Каратаева о его прошломъ, о родителяхъ, братьяхъ, о томъ, какъ хорошо они жили, какъ потомъ его взяли въ солдаты и т. д. Выдѣляя эту сторону, мы прежде всего отмѣтимъ въ ней то, что Толстой называетъ «благообразіемъ» душевнаго склада Каратаева. Въ той-же главѣ XIII-ой читаемъ: «...главная прелесть его разсказовъ состояла въ томъ, что въ его рѣчи событія самыя простыя получали характеръ торжественнаго благообразія. Онъ любилъ слушать сказки... но больше всего любилъ слушать разсказы о настоящей жизни. Онъ радостно улыбался, слушая такіе разсказы, вставляя слова и дѣлая вопросы, клонившіеся къ тому, чтобы уяснить себѣ благообразіе того, что ему разсказывали».—Только-что упомянутый разсказъ самого Каратаева (въ гл. XII-ой) является обращикомъ этой душевной черты. Онъ между прочимъ вспоминаетъ, какъ за порубку въ чужой рощѣ его били, судили и отдали въ солдаты. Оказалось, что все это — къ лучшему («думали,—горе,—анъ радость!»): дѣло въ томъ, что иначе приш-

лось-бы идти въ солдаты его брату, Михайлѣ, у котораго «самъ-пятъ ребятъ», между тѣмъ какъ у Платона только «солдатка осталась». И когда потомъ Платонъ пришелъ домой, «на побывку», онъ увидѣлъ, что семья живетъ лучше прежняго («животовъ полонъ дворъ»). И сказалъ отецъ: «мнѣ, говоритъ, всѣ дѣтки равны; какой палецъ ни укуси—все больно. А кабы не Платона тогда забрили, Михайлѣ-бы итти». И позвалъ всю семью, бабу, дѣтей, внучатъ,—и всѣмъ велѣлъ поклониться Платону въ ноги.— Это—цѣлая притча, въ которой есть что-то евангельское. И благообразіе отношеній, въ ней обнаруженное, роднится съ тѣмъ духомъ любви, простоты и правды, идеалъ котораго впослѣдствіи Толстой будетъ искать на почвѣ синтеза начала народно-крестьянскаго съ евангельскимъ. Предвареніемъ этого синтеза или намекомъ на него является между прочимъ смѣшеніе Каратаевымъ понятій «крестьянскаго» и «христіанскаго». То, что Каратаевъ безсознательно смѣшиваетъ, Толстой соединяетъ сознательно, и впослѣдствіи это послужитъ ему исходной точкою въ его исканіяхъ идеала высшей нравственной правды.

Теперь спрашивается: составляетъ ли душевное благообразіе, основанное на указанномъ сочетаніи крестьянскаго съ евангельскимъ, личную (индивидуальную) особенность Каратаева?

На этотъ вопросъ мы должны отвѣтить рѣшительнымъ «нѣтъ». Прежде всего очевидно, что у Каратаева это черта фамильная. Таковъ же его отецъ, братъ Михайло,—въ большей или меньшей мѣрѣ такова вся семья Каратаевыхъ. Это ясно изъ «притчи». Но можно пойти и дальше. Можно утверждать, что семья Каратаевыхъ представлена Толстымъ какъ идеально-типичный обращикъ крестьянской психологіи вообще, въ которой Толстой усматриваетъ черты того душевнаго благообразія, о которомъ идетъ рѣчь. Въ одной семьѣ онѣ выступаютъ ярче, въ другой слабѣе, но онѣ коренятся—по невыраженной, но ясно-сквозящей мысли Толстого—въ самыхъ основахъ стараго, патріархальнаго быта, въ устояхъ народной жизни, въ «мірскомъ» и трудовомъ началѣ, въ наивномъ міросозерцаніи народа, интуитивно овладѣвшаго высшей правдой, раньше и лучше мудрыхъ и ученыхъ, какъ въ свое время овладѣли ею простые галилейскіе рыбаки.

Платонъ Каратаевъ — только представитель этой стороны народнаго духа. Въ немъ эти черты, не его личныя, а крестьянскіе, собраны, сконцентрированы, увеличены, показаны подъ

микроскопомъ,—и Толстой, можно сказать, прилагаетъ особыя старанія, чтобы въ Платонѣ Каратаевѣ не оказалось ничего лично ему принадлежащаго, ничего индивидуально-оригинальнаго, чтобы все, до послѣднихъ мелочей, было въ немъ народнымъ и крестьянскимъ. Сюда относится, напр., намекъ на то, что порубку чужой рощи Каратаевъ признаетъ грѣхомъ, очевидно, чисто-формальнымъ, и что вмѣстѣ съ народомъ онъ по стародавнему смотритъ на лѣсъ какъ на общую, народную собственность, и сама по себѣ порубка въ его глазахъ не составляетъ пятна на общемъ фонѣ благообразія.

Черты народной психологіи, на которыя мы до сихъ поръ указали, въ общемъ, за вычетомъ подробностей, не представляютъ собою явленія спеціально-русскаго и могутъ быть найдены—mutatis mutandis—и у другихъ націй. Художники разныхъ національностей нерѣдко открывали въ своемъ народѣ черты, родственныя духу Евангелія. Я припоминаю у одного изъ самыхъ большихъ художниковъ XIX вѣка, у Мопассана, чудный разсказъ (Le papa à Simon), производящій впечатлѣніе настоящей евангельской притчи,—разсказъ, гдѣ простые, грубые на видъ кузнецы являются носителями глубокаго, тонкаго, христіански-гуманнаго чувства любви и правды. Не одинъ Толстой открывалъ въ своемъ народѣ евангельское. Великое историческое и общечеловѣческое значеніе Евангелія на томъ и основано, что въ каждомъ народѣ есть нѣчто ему сродни. Если бы въ Платонѣ Каратаевѣ не было, кромѣ этой черты (сочетанія мужицкаго съ евангельскимъ), еще и другихъ важныхъ чертъ, на которые укажемъ ниже, то онъ былъ бы очень широкимъ общечеловѣческимъ типомъ, объемлющимъ соотвѣтстенныя стороны духа у разныхъ народовъ. Онъ былъ бы во всемірной литературѣ тѣмъ, чѣмъ, по словамъ Толстого, онъ былъ и навсегда остался для Пьера Безухова, — «вѣчнымъ олицетвореніемъ духа простоты и правды» (гл. XIII). На самомъ дѣлѣ, однако, этого нѣтъ. Толстой, повинуясь какому-то категорическому императиву своего генія, и на этотъ разъ съузилъ образъ, сдѣлавъ Каратаева типомъ спеціально-русскимъ, національнымъ.

Каратаевъ не просто представитель народной, крестьянской психологіи, которая у разныхъ націй имѣетъ много общаго, не только типъ нищихъ духомъ и чистыхъ сердцемъ, — онъ въ то же время вѣрный и яркій выразитель русской національной психологіи, въ силу чего тотъ «духъ простоты и правды»,

котораго олицетвореніемъ онъ служитъ, получаетъ своеобразное значеніе и особую психологическую постановку.

Обращаясь къ этой сторонѣ Каратаева, я сперва укажу на двѣ черты, которыя, взятыя отдѣльно и внѣ связи съ другими признаками русской національной психологіи, найдутся и у другихъ народовъ, хотя бы и въ иномъ видѣ; только ихъ совмѣщеніе и своеобразное сочетаніе составляютъ черту специфически-русскую. Я имѣю въ виду нашъ умѣренный (сравнительно съ восточнымъ, азіятскимъ) фатализмъ и нашъ неумѣренный (сравнительно съ западо-европейскимъ) оптимизмъ.

Едвали найдется въ русской литературѣ другой образъ, къ которому было бы такъ примѣнимо извѣстное понятіе о русскомъ смиреніи, какъ повидимому примѣнимо оно, во всемъ его объемѣ, къ Каратаеву. Любопытно, что самъ Толстой этого термина не употребляетъ. Онъ выражается иначе, называя Каратаева «олицетвореніемъ всего русскаго добраго и круглаго» и «непостижимымъ, круглымъ и вѣчнымъ олицетвореніемъ духа простоты и правды» (т. IV, ч. I, гл, XIII). Эти термины, конечно, не случайно подвернулись,—они явились точнымъ выраженіемъ мысли Толстого. Своими опредѣленіями и метафорами («непостижимый», «вѣчный», «круглый») Толстой даетъ намъ поэтическіе намеки на то, какъ самъ онъ понимаетъ Каратаева и какая идея воплощена имъ въ этомъ образѣ. Нельзя отрицать, конечно, что въ Каратаевѣ представленъ такой укладъ духа, который весьма возможно назвать «смиреніемъ», понимаемымъ, какъ русская національная и историческая черта. Но возникаетъ вопросъ: что же оно такое—это смиреніе? Какова его психологія, и нельзя-ли разложить его на другіе психическіе элементы? И почему, въ самомъ дѣлѣ, Толстой избѣгаетъ этого термина, повидимому, столь удобнаго, простого, напрашивающагося? [1]).

То, что въ Каратаевѣ можно было бы назвать смиреніемъ, легко разлагается на фатализмъ и своеобразный оптимизмъ. «Рокъ головы ищетъ», говоритъ Каратаевъ.—«А мы все судимъ: то

---

[1]) Покойный Н. Н. Страховъ, въ своихъ извѣстныхъ статьяхъ о «Войнѣ и Мирѣ», отправляясь отъ установленнаго Ап. Григорьевымъ понятія о простомъ и смирномъ типѣ въ противуположность блестящему и хищному, мимоходомъ разсматриваетъ и Каратаева съ этой точки зрѣнія, но не даетъ подробнаго анализа фигуры. То же самое нужно сказать о соотвѣтственныхъ замѣчаніяхъ о Каратаевѣ, покойнаго О. Ѳ. Миллера въ его лекціяхъ о Толстомъ.

не хорошо, то не ладно. Наше счастье, дружокъ, какъ вода въ бреднѣ: тянешь—надулась, а вытащишь—ничего нѣту» (гл. XII). Этою сентенціею онъ подводитъ итогъ уже извѣстному намъ разсказу о томъ, какъ его взяли въ солдаты и какъ все вышло къ лучшему. Та-же фаталистическая и вмѣстѣ оптимистическая точка зрѣнія сквозитъ въ другомъ разсказѣ Каратаева—о купцѣ, который по судебной ошибкѣ былъ сосланъ на каторгу (IV, ч. III, гл. XIII). Но яснѣе и художественнѣе всего эта сторона Каратаева представлена изображеніемъ всей его повадки, его натуры, непосредственно-сказывающейся въ каждомъ движеніи его,—неизмѣнно-благодушнаго, неунывающаго настроенія духа, его душевной (и физической: психика у него въ полной гармоніи съ физической организаціей) нестомчивости, исключительной способности примиряться со всѣми обстоятельствами, въ убѣжденіи, что такъ суждено («рокъ головы ищетъ») и что все, въ концѣ концовъ, обернется къ лучшему. Перечитайте въ гл. XIII-ой (т. IV, ч. I) описаніе его физической и душевной бодрости,—какъ онъ, «казалось, не понималъ, что такое усталось и болѣзнь», какъ, ложась спать, онъ говорилъ: «положи, Господи, камушкомъ подними калачикомъ», а просыпаясь повторялъ: «легъ—свернулся, всталъ—встряхнулся»,—перечитайте въ началѣ той же главы описаніе его внѣшности, его повадки, его «спорыхъ круглыхъ движеній», его голоса, глазъ, выраженія «невинности и юности» (несмотря на возрастъ за 50 лѣтъ) и т. д.,—и вы убѣдитесь, что передъ вами—олицетвореніе того особаго душевнаго уклада, который лучше всего охарактеризовать терминомъ фаталистическій оптимизмъ и для котораго терминъ «смиреніе» хотя и возможенъ, но во многихъ отношеніяхъ неудобенъ. И не трудно видѣть, почему именно онъ неудобенъ. Еслибы Каратаевъ былъ сознательная личность, съ извѣстнымъ положительнымъ содержаніемъ, съ лично-выработаннымъ міровоззрѣніемъ, съ рефлексіей,—тогда дѣло другое: тогда въ немъ несомнѣнно было бы смиреніе, потому что была бы и гордость. Это—коррелятивныя психическія черты, принадлежащія не къ формальнымъ элементамъ духа, а къ содержанію личности,—котораго-то, какъ мы знаемъ, у Каратаева, собственно говоря, и нѣтъ.

Здѣсь необходимо, прежде чѣмъ пойдемъ дальше, устранить одно возможное недоразумѣніе. Могутъ возразить мнѣ, что, вѣдь, есть-же національная, есть сословная гордость, и что, стало быть, возможна, по крайней мѣрѣ, гордость (если

не смиреніе) въ сферѣ формальныхъ элементовъ духа. Я отвѣчу, что не только гордость, но и смиреніе имѣетъ несомнѣнное отношеніе къ этой сферѣ, но при всемъ томъ я рѣшительно не могу признать эти національныя или сословныя чувства элементами самой національной или сословной психологіи. Я думаю, что черты формальныя (сословныя, національныя) являются только предметомъ или содержаніемъ этихъ чувствъ—смиренія, гордости, но само-то смиреніе и сама гордость принадлежитъ къ другой сферѣ духа. Англичанинъ гордъ тѣмъ, что онъ англичанинъ, не потому что онъ—англичанинъ, а потому, что онъ давнымъ давно—рѣзко выраженная индивидуальность, сознательная личность. И чтобы гордиться своею національностью, для этого не нужно быть непремѣнно англичаниномъ, для этого достаточно быть, напр., нѣмцемъ или французомъ. Но что для этого безусловно необходимо—это быть личностью, выдѣлять себя изъ массы, не тонуть въ массѣ, сознавать свое человѣческое достоинство, имѣть свою индивидуальную гордость, которая естественно и захватываетъ въ раіонъ своего проявленія, въ числѣ всего прочаго, и черты національныя. Такая личность будетъ гордиться и своимъ языкомъ, и складомъ національнаго духа, и національной литературой, и самымъ фактомъ своей принадлежности къ данной націи. Вотъ почему текущій фазисъ цивилизаціи, характеризующійся развитіемъ крайняго индивидуализма, въ то-же время отмѣченъ и крайнимъ развитіемъ чувствъ національной чести и гордости, переходящихъ даже въ шовинизмъ. Можно вѣрить (и пишущій эти строки принадлежитъ къ числу такихъ вѣрующихъ), что въ грядущемъ, съ прекращеніемъ индивидуалистическаго фазиса, національныя особенности изъ предмета гордости превратятся въ предметъ смиренія [1]). Но то, что представляется только возможнымъ въ сферѣ національной психологіи,—въ сферѣ психологіи сословной частью уже осуществилось, частью осуществляется на нашихъ глазахъ. Встрѣтить человѣка, для котораго его сословныя черты являются предметомъ не гордости, а смиренія,—теперь не рѣдкость,—и у насъ самъ Л. Н. Толстой—яркій образецъ этой эволюціи. Мы, русскіе, для которыхъ Каратаевъ такъ типиченъ, только вступаемъ въ

---

[1]) Въ будущемъ безъ—классовомъ обществѣ личность впервые получитъ возможность правильнаго, здороваго, истинно-человѣчнаго развитія и будетъ гордиться только тѣмъ, что она—человѣкъ и ничто человѣческое ей не чуждо.

періодъ развитія національной гордости и отъ грядущаго смиренія отстоимъ гораздо дальше англичанъ, которые такъ давно и такъ по праву горды и, вѣроятно, приближаются къ концу «гордаго» фазиса въ развитіи національнаго самочувствія и самосознанія. Эти замѣчанія могутъ быть кратко выражены въ такой формулѣ: чувства гордости и смиренія, предметомъ которыхъ могутъ быть черты или явленія національныя, какъ и многое другое, сами принадлежатъ не къ формальной психологіи національности, а къ психологіи личности, индивидуальнаго «я», вырабатывающагося и получающаго ту или другую постановку, тотъ или иной укладъ духа на почвѣ процессовъ соціальныхъ (въ обширномъ смыслѣ,— государственныхъ, общественныхъ, экономческихъ и др.).

И такъ, Каратаевъ не есть олицетвореніе національнаго смиренія, потому что онъ не личность съ положительнымъ содержаніемъ, съ рефлексіей, съ собственнымъ міровоззрѣніемъ, а только частица массы, еще недоразвившейся до національной гордости.

Вотъ почему, говоря о Каратаевѣ, я, по примѣру Толстого, отказываюсь отъ термина смиреніе и предпочитаю говорить о фатализмѣ и оптимизмѣ.

У Каратаева опять-таки эти черты—не личное его достояніе: онѣ принадлежатъ народу, изъ котораго онъ вышелъ. Мало того: онѣ—не исключительно сословныя черты крестьянства. Кутузовъ, принадлежащій къ высшему классу и лицо историческое, раздѣляетъ съ Каратаевымъ эту особенность душевнаго склада и у самаго Л. Н. Толстого она является характерною окраскою, даже основою тѣхъ его философско-историческихъ воззрѣній, подъ вдохновеніемъ которыхъ онъ и писалъ «Войну и Миръ». Всѣ мы, къ какому-бы сословію, къ какой-бы партіи не принадлежали, какихъ-бы взглядовъ на вещи ни придерживались,—мы всѣ, русскіе, въ большей или меньшей мѣрѣ фаталисты и оптимисты. Это у насъ черта національная. Различія усматриваются въ подробностяхъ, въ способѣ отраженія этой національной особенности въ сознаніи отдѣльныхъ лицъ. Одинъ говоритъ «рокъ» и «все къ лучшему», другой скажетъ, какъ Облонскій (въ «Аннѣ Карениной») «все образуется», третій—«авось, кривая вывезетъ!» И всѣ мы, сознательно или безсознательно, вѣруемъ въ «фатальный ходъ вещей», но это — не мрачный и абсолютный фатализмъ народовъ Востока, это — умѣренный и, въ основѣ, правильный фаталистическій взглядъ, соединенный съ оптимистическимъ упованіемъ на лучшее буду-

щее. По отношенію къ настоящему русскій человѣкъ можетъ быть, съ той или иной точки зрѣнія, большимъ пессимистомъ, все осуждать, быть недовольнымъ, но относительно будущаго онъ всегда оптимистъ: онъ всегда доволенъ этимъ будущимъ. Я называю этотъ оптимизмъ неумѣреннымъ, потому что взоръ, упорно и мечтательно устремленный въ невѣдомое грядущее, не достаточно воспріимчивъ къ настоящему и, скользя по его верхамъ, не оцѣниваетъ въ должной мѣрѣ всѣхъ его изъяновъ, даже вопіющихъ.

Постараемся ближе опредѣлить эту національную черту, попытаемся уловить подлинное психическое явленіе, скрывающееся за понятіями, съ которыми мы имѣемъ дѣло.

Прежде всего, что такое вообще фатализмъ, взятый отдѣльно отъ національнаго склада того или другого народа? Это — извѣстная форма мысли, способъ пониманія явленій, точка зрѣнія на вещи. На вопросъ—«какая это форма и съ чѣмъ классифицируется»—мы отвѣтимъ такъ: она, въ сферѣ мышленія до-научнаго, то-же самое, что, въ области научной мысли, идея законосообразности всего сущаго. Источники обѣихъ — въ «законѣ» причинности. Уже изъ этого опредѣленія ясно, что фатализмъ есть явленіе общечеловѣческое, и всѣ націи въ своемъ умственномъ развитіи проходятъ черезъ этотъ фазисъ мышленія. Отсюда—выводъ, что фатализмъ, понимаемый только какъ форма чистой мысли, не можетъ быть характерной и постоянной принадлежностью какой нибудь опредѣленной націи. И дѣйствительно, во всѣхъ миѳологіяхъ, религіяхъ и міровоззрѣніяхъ всѣхъ культурныхъ народовъ мы находимъ выработанную систему фатализма, и у некультурныхъ — его зачатки. Древніе римляне со своимъ Fatum, древніе греки съ ихъ Μοῖρα и Ἀνάγκη были умственно—фаталистичны не менѣе Каратаева съ его «Рокомъ».

И при всемъ томъ, полагаю, всякій согласится, что едва-ли греки и римляне, а еще болѣе новыя, германскія и романскія, націи могутъ быть названы фаталистичными въ томъ смыслѣ, въ какомъ по праву называются такъ народы Востока и русская національность.

Диллема разрѣшается просто: есть фатализмъ и фатализмъ, т. е. этотъ терминъ употребляется для обозначенія двухъ психическихъ явленій, можетъ быть, и состоящихъ въ нѣкоторомъ сродствѣ, но принадлежащихъ къ двумъ различнымъ сферамъ

духа. Есть фатализмъ, какъ форма мысли, какъ стадія въ умственномъ развитіи, и есть фатализмъ, какъ черта національнаго характера. Первый, принадлежа къ сферѣ чистой мысли, конечно, можетъ вліять (если не помѣшаютъ другія воздѣйствія) на сферу воли. Второй принадлежитъ именно къ сферѣ воли,— онъ характерный признакъ національнаго склада волевыхъ процессовъ, и уже оттуда онъ воздѣйствуетъ на мысль, ища въ ней родственныхъ себѣ формъ и находя таковую въ томъ чисто-умственномъ фатализмѣ, о которомъ мы говорили, какъ объ извѣстной стадіи въ умственномъ развитіи. Когда эта стадія будетъ пройдена и миѳологическая форма фатализма уступитъ свое мѣсто другой, высшей формѣ, напр. идеѣ законосообразности, тогда фатализмъ волевой не преминетъ вступить въ сочетаніе и съ этою послѣднею,—и не только не исчезнетъ, а даже можетъ еще укрѣпиться. Живой примѣръ — фатализмъ Л. Н. Толстого, соотвѣтственная теорія котораго, отнюдь не миѳологическая, а въ своемъ родѣ раціональная и не чуждая нѣкоторыхъ вполнѣ научныхъ точекъ зрѣнія, изложена имъ въ заключительномъ трактатѣ, составляющемъ вторую часть эпилога «Войны и Мира».

Чтобы выразиться точнѣе, мы скажемъ не «волевой фатализмъ», а такой укладъ воли, который въ сферѣ мысли проявляется въ созданіи фаталистическихъ воззрѣній, при чемъ все равно, отливаются-ли эти воззрѣнія въ форму миѳологическаго Рока, или же въ форму научно-философскихъ понятій о законосообразности вещей, о ничтожной роли личности въ ходѣ событій, объ историческихъ событіяхъ, какъ о результатѣ, произведенномъ совокупнымъ дѣйствіемъ милліоновъ волевыхъ актовъ и т. д.

Этотъ укладъ воли, представляющійся нашей національной чертой, въ свою очередь можетъ быть ближе опредѣленъ или «описанъ» такими понятіями, какъ слабость личной и общественной иниціативы, нѣсколько-угнетенное самочувствіе личности, преобладаніе въ ней пассивности надъ активностью,— однимъ словомъ, это—совокупность тѣхъ психическихъ чертъ, имѣющихъ ближайшее отношеніе къ волевой сферѣ, которыя, въ значительно утрированномъ и явно патологическомъ видѣ, даютъ «картину»—Обломовщины.

У Гончарова этотъ русскій національный укладъ воли представленъ не въ нормальномъ, здоровомъ состояніи, а какъ-бы въ формѣ переходной къ патологической парализаціи воли,—

формѣ, мотивированной картиною помѣщичьей жизни при крѣпостномъ правѣ. У Толстого въ лицѣ Каратаева тотъ-же укладъ взятъ въ его нормальной постановкѣ. Обломовъ—лѣнтяй, Каратаевъ человѣкъ труда и работаетъ не покладая рукъ; Обломовъ не способенъ ни къ какимъ проявленіямъ воли, кромѣ лежанія на диванѣ, Каратаевъ, напротивъ, дѣятельно проявляетъ свою волю,—но только не какъ личность, идущая къ сознательно-поставленнымъ цѣлямъ, а какъ атомъ участвующій въ общемъ стихійномъ движеніи массъ. Каратаевъ—участникъ въ жизни цѣлаго, Обломовъ—отщепенецъ ото всякой общей жизни.

Такую-же параллель можно провести между Кутузовымъ и Обломовымъ. Фельдмаршалъ, облеченный неограниченной властью, самъ не вѣритъ въ силу своихъ повелѣній, въ могущество своей личной иниціативы; онъ сознательно «воздерживается» отъ вмѣшательства въ естественный и фатальный ходъ вещей; его лозунгъ—«терпѣніе и время». Въ глазахъ иностранца, которому чуждъ и непонятенъ такой укладъ или типъ воли, это—тотъ-же лѣнтяй Обломовъ, и напр. Вогюэ (въ статьяхъ о Толстомъ) рѣшительно не можетъ понять, что хорошаго нашелъ Толстой въ этомъ генералѣ, который «ничего не дѣлаетъ» и «спитъ въ военномъ свѣтѣ». Но то, что непонятно иностранцу, для насъ ясно, какъ Божій день, и мы отлично видимъ различіе между этими двумя разновидностями одного и того-же волевого уклада,—Кутузовскимъ и Обломовскимъ. Волевой аппаратъ Кутузова есть нормальный русскій волевой аппаратъ, взятый въ его лучшемъ выраженіи и въ наиболѣе цѣлесообразномъ приложеніи къ дѣлу, въ данномъ случаѣ историческому и народно-національному. Въ Обломовѣ тотъ-же аппаратъ опустился ниже нормы: онъ парализованъ крѣпостнымъ правомъ. «Недѣланіе» Кутузова есть нашъ русскій способъ «дѣланія»: этого типа волевыми актами мы всю нашу исторію вѣками «дѣлали» или, лучше сказать, она сама такъ дѣлалась нашими волевыми актами. «Недѣланіе» Обломова есть оборотная сторона этой медали, показывающая, какъ легко портится такой укладъ воли, и въ какой безвыходный «тупикъ» можетъ завести насъ эта порча [1]).

---

[1]) Мнѣ пришлось недавно вернуться къ вопросу о психологіи нашего національнаго уклада и о его «болѣзни», именуемой «обломовщиной», въ X-ой и XI-ой главахъ «Итоговъ русск. худож. литературы», печатающихся въ «Вѣстникѣ воспитанія».

Разсмотрѣнными чертами еще не исчерпывается психика Каратаева. Намъ предстоитъ еще отдать себѣ отчетъ въ слѣдующемъ: куда отнесемъ мы тотъ «духъ простоты и правды», который присущъ Каратаеву; къ личному-ли содержанію его души, или къ его народно-крестьянской психологической формѣ, или, наконецъ, къ его національной личности?

Для правильной постановки вопроса, вспомнимъ, что ту-же черту, почти въ тѣхъ-же выраженіяхъ, Толстой приписываетъ и Кутузову. Не мѣшаетъ имѣть въ виду, что и Обломовъ изображенъ также, какъ воплощеніе своего рода «простоты и правды». Не случайны, конечно, эти совпаденія. У всѣхъ трехъ эта черта оказывается на-лицо потому, что всѣ три—русскіе національные типы. Ея присутствіе въ нашемъ національномъ складѣ отмѣчалось много разъ, въ особенности наглядно она проявляется въ тѣхъ случаяхъ, когда русскій національный пошибъ сталкивается съ національнымъ типомъ романскихъ народовъ, какъ это и было въ эпоху войны 1812 г. Присущая романскимъ націямъ аффектація, реторичность и позированіе еще рѣзче оттѣняетъ нашу простоту, которая въ такихъ случаяхъ еще настойчивѣе вызываетъ представленіе правды, при чемъ наблюдатель легко поддается иллюзіи, заставляющей его думать, что противуположныя черты, аффектація и пр., непремѣнно будто-бы сочетаются съ какой-то неправдою, съ нѣкоторой внутренней фальшью. На этомъ-то пунктѣ и начинается настоящая неправда въ нашихъ сужденіяхъ о національномъ характерѣ другихъ народовъ.

Чтобы въ этого рода вопросахъ не впасть въ заблужденіе и несправедливость, нужно разъ навсегда отрѣшиться отъ соблазна—квалифицировать національные признаки, какъ достоинства и недостатки, какъ добродѣтели и пороки. Національныя черты суть свойства, а не качества, и къ нимъ нужно относиться какъ напр. къ цвѣту волосъ, глазъ, темпераменту и т. д. Въ числѣ русскихъ національныхъ свойствъ есть специфическая простота и правда, но ни та, ни другая—не добродѣтель. Аффектація—одна изъ національныхъ чертъ романскихъ народовъ, но она не порокъ.

Если «простота», какъ черта національная, не добродѣтель и не должна быть смѣшиваема напр. съ искренностью, то что-же она такое? Какъ все національное, она форма, а не содержаніе, она именно та форма душевнаго склада, которая въ

сферѣ мысли можетъ быть опредѣлена, какъ минимумъ реторичности и искусственности въ самомъ процессѣ мышленія, въ сферѣ чувствъ, какъ минимумъ приподнятыхъ, аффектированныхъ настроеній, въ сферѣ воли, какъ минимумъ утрировки въ волевыхъ выраженіяхъ (напр. въ жестахъ, поступкахъ) сравнительно съ волевымъ импульсомъ. Не трудно видѣть, что эта формальная простота въ этическомъ смыслѣ безразлична, и въ нее, какъ въ форму, можетъ быть вложено что угодно, истина и ложь, справедливость и несправедливость, искренность и коварство и т. д. Можно совершенно просто, безъ тѣни реторики, безъ всякой аффектаціи настроенія и безъ утрировки волевыхъ проявленій подумать, сказать вопіющую ложь, неправду, сдѣлать какое угодно безобразіе. И наоборотъ: противоположная форма, реторика мысли и рѣчи, аффектированность чувства, утрировка волевыхъ выраженій, можетъ имѣть своимъ содержаніемъ святую истину, справедливое отношеніе къ вещамъ и людямъ, добродѣтельный поступокъ.

Таково понятіе формальной простоты. Но при чемъ тутъ еще правда? Есть два основанія, почему мы говоримъ «простота и правда», не ограничиваясь одной «простотой». Во-первыхъ, простота, понимаемая въ томъ смыслѣ, какъ я ее только-что опредѣлилъ, несмотря на свою формальность, невольно вызываетъ въ умѣ представленіе о какой-то не то правдивости, не то искренности, не то адэкватности между рѣчью и мыслью, чувствомъ и поступкомъ, жестомъ и настроеніемъ и т. д. Оттуда— невольное стремленіе идеализировать, — скажемъ, повысить чиномъ эту «простоту» и величать ее «правдой». Это повышеніе, какъ увидимъ ниже (спеціально въ отношеніи Каратаева и Кутузова), имѣетъ свои оправданія и можетъ привести къ хорошимъ результатамъ. Но, вообще говоря, нужно остерегаться переносить эти понятія изъ области формы въ сферу содержанія: И. А. Хлестаковъ, какъ истинно-русскій человѣкъ, лжетъ совершенно просто и даже правдиво, ибо стульевъ онъ не ломаетъ и «30,000 курьеровъ» и пр. являются адэкватнымъ, «правдивымъ» выраженіемъ его «мысли», его душевнаго подъема въ данную минуту, да и всего склада его души. «Правда», о которой мы говоримъ, столь-же въ сущности формальна, какъ и логическая истина, которая, какъ извѣстно, можетъ и не совпадать съ истиной объективной. Указанное мною основаніе, почему мы къ «простотѣ» присоединяемъ еще и «правду», мо-

жетъ быть названо психологическимъ въ тѣсномъ смыслѣ: это ассоціація двухъ понятій, изъ которыхъ второе есть лишь усиленное и идеализированное первое. Но есть еще и другое основаніе, чисто лингвистическое, которое въ данномъ случаѣ имѣетъ большое значеніе, потому что дѣло идетъ о явленіи національной психологіи, а послѣдняя какъ извѣстно, находится въ тѣснѣйшей связи съ языкомъ. Выраженіе «простота и правда» принадлежитъ къ числу весьма распространенныхъ въ разныхъ языкахъ оборотовъ, состоящихъ въ томъ, что одно понятіе выражается двумя терминами. Таковы наши народныя выраженія: «свѣтъ-заря», «путь-дорога» и т. д. Въ высокой степени характерно, что именно въ русскомъ языкѣ такая «пара» составлена изъ представленій «простоты» и «правды». При этомъ, какъ извѣстно, кругъ представленій или понятій, входящихъ въ составъ каждаго изъ этихъ терминовъ, довольно великъ. «Простота» отъ того чисто-формальнаго значенія, о которомъ идетъ у насъ рѣчь, переносится въ сферу содержанія и употребляется, какъ синонимъ терминовъ простодушіе, добродушіе, искренность, наивность, даже глупость. «Правда» является, съ одной стороны синонимомъ формальной «простоты» (въ разсматриваемомъ выраженіи «простота и правда»), съ другой-же—такихъ понятій, какъ объективная истина, какъ субъективная правдивость, какъ нравственная правда, напр. справедливость отношеній. Ясное дѣло, что всѣ эти понятія не могутъ такъ или иначе не ассоціироваться съ разсматриваемымъ парнымъ терминомъ (простота и правда) въ его формальномъ значеніи и должны въ большей или меньшей степени отвлекать его отъ чисто-формальнаго примѣненія—въ область психологическаго содержанія. Однимъ изъ крайнихъ выраженій этой тенденціи является въ народной поэзіи образъ Иванушки-дурачка, въ которомъ «простота» доведена до глупости, хотя только кажущейся, а «правда»—до высшей нравственной правды. Другимъ представителемъ того-же типа, только въ иной постановкѣ, служитъ нашъ эпическій богатырь Илья Муромецъ, въ которомъ «простота» развита до прямодушія, искренности, безхитростности, а «правда» до извѣстныхъ понятій о долгѣ, призваніи, чести и т. д. Какъ самъ терминъ «простота и правда» есть явленіе лингвистически-національное и непереводимъ на другіе языки (подобно греческому καλοκαγαθία), такъ и художественные образы, ему отвѣчающіе, суть образы

спеціально-русскіе, національные и часто, цѣликомъ или въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ, остаются непонятными для иностранца. И подобно тому, какъ самый терминъ «простота и правда» въ его живомъ употребленіи въ рѣчи невольно выбивается изъ формальной сферы и переносится въ область психологическаго содержанія, повинуясь не произволу говорящаго, а законосообразному воздѣйствію ассоціаціи, составляющей національное достояніе, такъ и соотвѣтственные образы искусства, по праву художника, могутъ быть построены въ томъ-же духѣ— претворенія формальной простоты и формальной правды въ различнаго рода положительныя качества психики. Такое претвореніе есть законная идеализація національной формы. Художникъ въ этомъ случаѣ продолжаетъ традицію народнаго творчества и вноситъ свою лепту въ дѣло національнаго самосознанія и, пожалуй, также содѣйствуетъ облагороженію національной психики- Это его право и обязанность. Объяснить-же происхожденіе этихъ образовъ, раскрыть ихъ генезисъ изъ національной формы и разложить эту форму на ея составные психическіе элементы, это уже дѣло, право и обязанность критика.

Представленный здѣсь анализъ Каратаева будетъ дополненъ еще нѣкоторыми указаніями въ слѣдующей главѣ, гдѣ мы займемся Кутузовымъ: дополнительныя черты обнаружатся изъ сопоставленія Каратаева съ Кутузовымъ, а также изъ разъясненія того значенія, которое принадлежитъ Каратаеву въ дѣлѣ духовнаго возрожденія Пьера. Эту главу я закончу только указаніемъ на необходимость перейти отъ анализа къ синтезу.

Анализъ безспорно разрушаетъ непосредственное цѣльное и живое впечатлѣніе, производимое художественнымъ созданіемъ. Но не одно лишь непосредственное впечатлѣніе, которое можно назвать также наивнымъ, способно быть цѣльнымъ и живымъ. Путемъ синтеза можетъ быть возсоздано новое, столь-же сильное, и еще болѣе глубокое живое воспріятіе образа, но оно уже не будетъ наивнымъ и непосредственнымъ. Я хочу именно указать здѣсь на то, какъ анализъ расчищаетъ дорогу синтезу, какъ изъ отдѣльныхъ чертъ, полученныхъ въ результатѣ нашего анализа, можетъ возсоздаться живая личность Каратаева. Для этого одно механическое соединеніе извѣстныхъ намъ чертъ еще недостаточно. Нужно уловить то особенное соотношеніе и взаимодѣйствіе этихъ чертъ, ту ихъ организацію, въ силу которыхъ Каратаевъ и является во-

площеніемъ живой, цѣльной и своеобразной психики, а не просто суммою извѣстныхъ психологическихъ слагаемыхъ. Еще Шубинъ (въ «Наканунѣ») сказалъ: «душа—не яблоко: ее не разрѣжешь». Эта истина можетъ быть оставляема втунѣ—пока производится анализъ. Мы разлагаемъ мысленно душу на рядъ процессовъ, рядъ чертъ и свойствъ и стараемся вникнуть въ ихъ природу и происхожденіе. Но разъ отъ анализа мы переходимъ къ синтезу,—истина, изреченная Шубинымъ, вступаетъ въ свои права.

Въ результатѣ нашего анализа мы получили: 1) черты народной, крестьянской психологіи патріархальнаго склада, въ основѣ которой положены «мірская» общежительность, наивный альтрюизмъ, специфическое «благообразіе»; 2) національныя черты фатализма и оптимизма, въ корнѣ которыхъ мы указали своеобразный укладъ воли и особый родъ самочувствія личности; 3) національныя черты формальной простоты и правды—въ той ихъ постановкѣ и идеализаціи, о которыхъ была рѣчь выше. Всѣ эти черты соединены въ Каратаевѣ не механически, а какъ бы органически и образуютъ цѣльную и живую психику, которую можно анализировать, но отъ которой нельзя отнять ни одной черты—безъ нарушенія цѣлаго.

Въ нашей аналитической работѣ мы представляли себѣ всѣ эти черты какъ-бы на одной плоскости. Мы ихъ разложили по порядку и присматривались къ каждой изъ нихъ. Не такъ «лежатъ» онѣ въ душѣ Каратаева. Если ужъ прибѣгать къ пространственнымъ понятіямъ и метафорически переносить ихъ на психику, то мы скажемъ, что въ «разрѣзѣ» послѣдней эти черты представились-бы намъ на подобіе концентрическихъ круговъ или пластовъ, такъ что одинъ служитъ оболочкой для другого, другой—для третьяго и т. д., пока не дойдемъ до центральной точки, которая и есть индивидуальное положительное содержаніе личности, его подлинное «я»; для него всѣ эти оболочки служатъ формами (сословной, національной и т. д.). У Каратаева, какъ мы видѣли, центральный пунктъ такъ неявственъ, такъ глубоко погребенъ подъ толстыми наслоеніями формъ, что можетъ считаться равнымъ нулю, и вся душа Каратаева представляется составленной изъ однихъ формальныхъ элементовъ. Это упрощаетъ нашу задачу, которая была-бы гораздо труднѣе, если-бы дѣло шло о личности съ богатымъ и сложнымъ индивидуальнымъ содержаніемъ. Въ данномъ случаѣ, въ отношеніи Кара-

таева, мы оставляемъ индивидуальное содержаніе въ сторонѣ и сосредоточиваемся на формѣ. Задача упрощается—сводясь къ тому, чтобы найти то спеціальное и интимное соотношеніе, въ какомъ находятся другъ къ другу формальныя черты психики Каратаева, указать способъ ихъ сочетанія и взаимодѣйствія. Для этого прежде всего станемъ въ положеніе непосредственнаго наблюдателя и постараемся уловить то общее и цѣльное впечатлѣніе, которое производитъ Каратаевъ, какъ онъ есть, со всѣми его чертами, еще не разложенными предварительнымъ анализомъ, еще не отторгнутыми одна отъ другой. Такое впечатлѣніе (Anschauung) будетъ синтетическимъ,—оно еще не тотъ синтезъ, котораго мы ищемъ, но уже первый шагъ къ нему.

Предположимъ, что, наблюдая Каратаева, мы видимъ его психику во всей совокупности слагающихъ ее элементовъ,—наше впечатлѣніе, Auschauung,—полное. По необходимости, все, что мы видимъ, представляется намъ въ извѣстной перспективѣ, а не на одной плоскости, какъ при анализѣ. Однѣ черты выступаютъ на первый планъ, другія отодвигаются дальше, въ глубь. Однѣ кажутся намъ болѣе, если можно такъ выразиться, внѣшними, другія—болѣе внутренними. И вотъ наблюдатель, созерцая эту психологическую перспективу, по необходимости дѣлаетъ рядъ своихъ сужденій о томъ, что онъ видитъ,—эти сужденія входятъ, какъ неотъемлемая часть, въ составъ искомаго общаго впечатлѣнія. То, что представляется ему на первомъ планѣ, на периферіи психики, онъ невольно принимаетъ за форму того, что лежитъ глубже. Послѣднее, въ его глазахъ, есть содержаніе перваго. При встрѣчѣ съ Каратаевымъ, наблюдатель прежде всего видитъ, что это мужичекъ, крестьянинъ, сразу замѣчаетъ, что это не типичный солдатъ, и тутъ-же открываетъ въ немъ характерныя черты патріархальнаго крестьянскаго «благообразія». Для наблюдателя все это и составляетъ психологическую форму Каратаева. Все, что онъ откроетъ глубже, подъ этой оболочкой, представится ему содержаніемъ формы, но такимъ, которое не вложено туда случайно, извнѣ, а находится въ тѣснѣйшей, выражаясь фигурально, «кровной» связи съ формою. Въ такомъ освѣщеніи предстанутъ ему фаталистическія и оптимистическія—не взгляды, не мысли, а «проявленія» Каратаева. Иной мужичекъ того-же типа и склада, пожалуй, и не проявится съ этой стороны,—

подумаетъ наблюдатель,—но Каратаевъ проявляется, и это его проявленіе, это обнаруженіе своеобразнаго оптимистическаго фатализма не механически связано съ его мужицкою формою, съ его крестьянскимъ благообразіемъ, а есть то зерно, оболочкой котораго служитъ этотъ крестьянскій складъ; при другомъ складѣ, и зерно, думается наблюдателю, было-бы другое. Наблюдатель не вдается въ анализъ, не прибѣгаетъ къ своего рода «реактивамъ», не вспомнитъ, имѣя дѣло съ Каратаевымъ, о Кутузовѣ, объ Обломовѣ. Всякаго рода сопоставленія, сравненія (кромѣ развѣ съ самимъ собою) только нарушатъ цѣльность впечатлѣнія и неизбѣжно перетасуютъ элементы: то, что наблюдатель принялъ за «зерно», окажется «оболочкой». Еще глубже оптимистическаго фатализма наблюдатель открываетъ «простоту и правду». И здѣсь, не смущаемый сравненіями и анализомъ, преслѣдуя одно лишь живое и цѣльное впечатлѣніе, онъ квалифицируетъ эту черту—какъ нѣчто положительное, а не исключительно формальное, но такъ тѣсно связанное съ формою, что безъ нея оно, пожалуй, и не существовало-бы. Наблюдатель имѣетъ дѣло только съ Каратаевымъ и не знаетъ, что, напр., и въ Кутузовѣ есть аналогичная простота и правда, а если и знаетъ, то не пользуется этими свѣдѣніями для составленія своего синтетическаго сужденія о Каратаевѣ. Поэтому для наблюдателя Каратаевъ—не національный типъ, а народный. Все, что онъ видитъ въ Каратаевѣ, открывается ему сквозь призму крестьянской формы. Онъ подведетъ итогъ своимъ впечатлѣніямъ—опредѣливъ Каратаева, какъ идеалъ простоты и правды, воплощенный въ народно-крестьянской психологической формѣ.

Таковъ синтетическій взглядъ на Каратаева наблюдателя, который не имѣетъ въ своемъ распоряженіи предварительнаго анализа. Но мы его имѣемъ, и синтезъ, котораго мы ищемъ, долженъ основываться на результатахъ анализа, не будучи механическимъ ихъ суммированіемъ. Непосредственное, живое и цѣльное впечатлѣніе наблюдателя поможетъ намъ сдѣлать правильный синтезъ, не прибѣгая къ ариѳметикѣ.

Анализъ обнаружилъ, что «простота и правда»—это черта національной психологической формы. Наблюдатель говоритъ намъ, что онъ видитъ эту «простоту и правду» въ глубинѣ, а не на периферіи. Будемъ и мы видѣть ее тамъ, но только зная, что она—форма, а не содержаніе и не составляетъ исключи-

тельной особенности Каратаева или его сословія, но принадлежитъ всей русской націи. Въ силу этого сознанія, добытаго анализомъ, наше синтетическое впечатлѣніе окажется качественно-отличнымъ отъ того, которое составилось у предполагаемаго наблюдателя, не опиравшагося на предварительный анализъ. Наблюдателю казалось, что между идеаломъ «простоты и правды», воплощеннымъ въ Каратаевѣ, и его крестьянскимъ «благообразіемъ» установлены столь тѣсныя связи психологическаго сродства, что одно безъ другого немыслимо. Для насъ—это иллюзія; мы знаемъ, что тотъ-же идеалъ можетъ быть воплощенъ и въ другой, не крестьянской формѣ. И мы видимъ въ Каратаевѣ уже не исключительно народный идеалъ крестьянскаго благообразія, простоты и правды, а идеализированную русскую національную психику, взятую въ ея крестьянской разновидности, въ ея непосредственномъ, нетронутомъ цивилизаціей и рефлексіей проявленіи. Одно сознаніе, что возможны и другія ея проявленія, въ корнѣ измѣняетъ характеръ синтетическаго впечатлѣнія. Фатализмъ и оптимизмъ Каратаева для насъ только народное выраженіе національнаго уклада волии, созерцая Каратаева, мы сосредоточиваемъ наше вниманіе не столько на этомъ выраженіи, сколько на самомъ «укладѣ», и видимъ или вспоминаемъ многое, чего наблюдатель не видѣлъ и не вспоминалъ.

И по необходимости, наши сужденія, входящія въ составъ синтетическаго впечатлѣнія, будутъ иныя, чѣмъ у наблюдателя, при сохраненіи той-же перспективы. Мы видимъ наблюдаемыя явленія въ томъ-же порядкѣ, но понимаемъ ихъ иначе. Это пониманіе и есть искомый синтезъ. Если онъ выйдетъ неправильнымъ или неполнымъ,—это будетъ прямымъ слѣдствіемъ неправильности или неполноты анализа.

Каковъ-бы онъ ни былъ, но онъ необходимъ. Только такимъ путемъ—преобразованія непосредственнаго впечатлѣнія въ синтетическое пониманіе образа, опирающееся на анализъ, и возможно придти къ выясненію художественной идеи, воплощенной въ образѣ.

Дойти до указаннаго синтетическаго пониманія—дѣло не трудное, разъ сдѣланъ анализъ, эта труднѣйшая, «черновая» часть работы. Но для изложенія, для передачи процесса своей мысли другимъ, анализъ оказывается дѣломъ гораздо болѣе легкимъ, чѣмъ синтезъ. Какъ передать, какъ описать свое синтетическое, цѣльное, живое впечатлѣніе и пониманіе?

Быть можетъ, мнѣ удастся сдѣлать это въ слѣдующей главѣ, въ связи съ раскрытіемъ идеи, воплощенной въ Каратаевѣ и Кутузовѣ, и того значенія, которое принадлежитъ спеціально образу Каратаева въ эпопеѣ «Войны и Мира».

ГЛАВА V.

Типы національные. Кутузовъ

Обращаясь къ анализу фигуры Кутузова, прежде всего возстановимъ въ памяти тѣ мѣста, гдѣ онъ выведенъ.

Впервые Кутузовъ появляется во II-й части I-го тома. Это — превосходная сцена изъ кампаніи 1805-го г. въ Австріи. Кутузовъ на смотру. Минуя мастерски написанныя эпизодическія фигуры офицеровъ и солдатъ и детали полковой жизни, отмѣтимъ только то, что относится къ Кутузову. Здѣсь, какъ-бы вскользь, указаны двѣ черты, которыя читатель, конечно, не пропуститъ. Капитанъ Тимохинъ, когда Кутузовъ подошелъ къ нему, «вытянулся такъ, что, казалось, посмотри на него главнокомандующій еще нѣсколько времени, онъ (Тимохинъ) не выдержалъ-бы; и потому Кутузовъ, видимо понявъ его положеніе и желая, напротивъ, всякаго добра капитану, поспѣшно отвернулся. По пухлому, изуродованному раной лицу Кутузова пробѣжала чуть замѣтная улыбка».—Далѣе, когда Долоховъ, желая обратить на себя его вниманіе, сказалъ ему: «прошу дать мнѣ случай загладить мою вину и доказать мою преданность государю императору и Россіи».—«Кутузовъ отвернулся. На лицѣ его промелькнула та же улыбка глазъ, какъ и въ то время, когда онъ отвернулся отъ капитана Тимохина. Онъ отвернулся и поморщился, какъ будто хотѣлъ выразить этимъ, что все, что ему сказалъ Долоховъ, и все, что онъ могъ сказать ему, онъ давно, давно знаетъ, что все это уже прискучило ему, и что это совсѣмъ не то, что нужно».

Въ этихъ эпизодическихъ сценкахъ Кутузовъ обрисовывается во-первыхъ, какъ простой и добрый человѣкъ, а во-вторыхъ, какъ историческій дѣятель, умудренный давнимъ опытомъ, знающій людей и жизнь, преслѣдующій только тѣ историческія задачи, которыя стоятъ предъ нимъ, и остающійся равнодушнымъ къ личнымъ мотивамъ, движущимъ людьми, къ страстямъ человѣческимъ и т. д. Эти двѣ черты повторяются и въ дальнѣйшемъ. Толстой не упускаетъ случая указать на нихъ въ разныхъ сценахъ, гдѣ выведенъ Кутузовъ, и, наконецъ, прямо отъ

себя даетъ характеристику его въ этомъ смыслѣ. Одно изъ наиболѣе яркихъ мѣстъ этого рода — сцена изъ эпохи 1812 года, гдѣ Кутузовъ, уже назначенный главнокомандующимъ, выслушиваетъ очередные доклады и рѣшаетъ текущія дѣла. Между прочимъ, ему представляется здѣсь будущій знаменитый партизанъ Василій Денисовъ (Денисъ Давыдовъ), который, «назвавъ себя, объявилъ, что имѣетъ сообщить его свѣтлости дѣло большой важности для блага отечества. Кутузовъ усталымъ взглядомъ сталъ смотрѣть на Денисова... «Для блага отечества? Ну, что такое? Говори».—И разсѣянно и съ нѣкоторымъ нетерпѣніемъ слушая рѣчь Денисова, проэктамъ котораго онъ, очевидно, не придавалъ большого значенія, но считалъ неделикатнымъ—не выслушать, Кутузовъ «смотрѣлъ себѣ въ ноги и изрѣдка оглядывался на дверь сосѣдней избы, какъ будто онъ ждалъ чего-то непріятнаго оттуда». Непріятное явилось въ лицѣ дежурнаго генерала съ портфелемъ подъ мышкой. Генералъ пришелъ съ очередными дѣлами. Тѣмъ временемъ Денисовъ продолжаетъ излагать свой проектъ: «даю честное, благородное слово русскаго офицера», — горячится онъ — «что я разорву сообщенія Наполеона!» — «Тебѣ Кириллъ Андреевичъ Денисовъ, оберъ-интендантъ, какъ приходится?»—перебиваетъ его Кутузовъ. «Дядя родной, ваша свѣтлость».—О, пріятели были!—весело сказалъ Кутузовъ.—Хорошо, хорошо, голубчикъ, оставайся тутъ при штабѣ, завтра поговоримъ».—Тѣмъ и кончилось «обсужденіе» проэкта важнаго для блага отечества. И конечно, завтра «не поговорили». А между тѣмъ Денисовъ предлагалъ вовсе не какой-нибудь нелѣпый планъ. Вотъ какъ поясняетъ Толстой это благодушно-халатное отношеніе Кутузова къ текущимъ дѣламъ и разнымъ предлагавшимся ему планамъ и проэктамъ: «Все, что говорилъ Денисовъ, было дѣльно и умно. То, что говорилъ дежурный генералъ, было еще дѣльнѣе и умнѣе, но очевидно было, что Кутузовъ презиралъ и знаніе и умъ, и зналъ что-то другое, что должно было рѣшить дѣло, что-то другое, независимое отъ ума и знанія... Очевидно было, что Кутузовъ презиралъ умъ и знаніе, которое выказывалъ Денисовъ, но презиралъ не умомъ, не знаніемъ (потому что онъ и не старался выказывать ихъ), а онъ презиралъ ихъ чѣмъ-то другимъ. Онъ презиралъ ихъ своею старостью, своею опытностью жизни». (Томъ III, часть II, глава XV). — Въ слѣдующей главѣ XVI-й эта коренная черта Кутузова, на которой, можно сказать, и построенъ весь образъ его, еще ярче выступаетъ—въ бесѣдѣ

Кутузова съ княземъ Андреемъ. Кутузовъ излагаетъ свою систему веденія войны, извѣстную издревле подъ именемъ кунктаторской: выжидать, оттягивать, отступать, брать изморомъ. «Взять крѣпость»—говоритъ онъ—«не трудно, трудно кампанію выиграть. А для этого не нужно штурмовать и аттаковать, а нужно терпѣніе и время... Вѣрь, голубчикъ: нѣтъ сильнѣе тѣхъ двухъ воиновъ, терпѣніе и время; тѣ все сдѣлаютъ, да совѣтчики этимъ ухомъ не слышатъ, вотъ что плохо! Одни хотятъ, другіе не хотятъ. Что-жъ дѣлать? — спросилъ онъ, видимо ожидая отвѣта.—Да, что ты велишь дѣлать? — повторилъ онъ, и глаза его блестѣли глубокимъ, умнымъ выраженіемъ. Я тебѣ скажу, что дѣлать, и что я дѣлаю. Въ нерѣшительности, мой милый»,—онъ помолчалъ,—«воздерживайся», — выговорилъ онъ съ разстановкой эту французскую пословицу».—И вотъ какое впечатлѣніе вынесъ умный и серьезный князь Андрей изъ этой бесѣды,—вотъ какую оцѣнку Кутузова даетъ онъ: «у него но будетъ ничего своего. Онъ ничего не придумаетъ, ничего не предприметъ,—но онъ все выслушаетъ, все запомнитъ, все поставитъ на свое мѣсто, ничему полезному не помѣшаетъ и ничего вреднаго не позволитъ. Онъ понимаетъ, что есть что-то сильнѣе и значительнѣе его воли, — это неизбѣжный ходъ событій,—и онъ умѣетъ видѣть ихъ, умѣетъ понимать ихъ значеніе, и въ виду этого значенія умѣетъ отрекаться отъ участья въ этихъ событіяхъ, отъ своей личной воли, направленной на другое...»

Здѣсь передъ нами рисуется идеалъ историческаго дѣятеля подобнаго тому мудрому врачу, который безъ толку не пичкаетъ больного лѣкарствами и не дѣлаетъ ему ненужныхъ операцій, а только слѣдитъ за естественнымъ теченіемъ болѣзни, устраняя вредное и не мѣшая полезному,—вообще ограничивая свою дѣятельность врача посильнымъ содѣйствіемъ природной сопротивляемости организма, такъ называемой vis medicatrix naturae. Таково, какъ извѣстно, отношеніе Л. Н. Толстого къ медицинѣ,—таково-же его воззрѣніе на роль историческихъ дѣятелей. Его-же приписываетъ онъ и Кутузову. Вотъ именно въ этомъ-то воззрѣніи и нельзя не видѣть метаморфозу той національной черты, которую въ предыдущей главѣ мы отмѣтили въ Каратаевѣ, назвавъ ее «фаталистическимъ укладомъ воли», основаннымъ на преобладаніи пассивности надъ активностью, на слабомъ развитіи духа иниціативы.

Въ Кутузовѣ, какъ онъ изображенъ Толстымъ, мы видимъ наглядный примѣръ того, какъ извѣстныя національныя черты, сами по себѣ, при нормальной постановкѣ, при отсутствіи патологическаго развитія, ни хорошія, ни дурныя и образующія только форму, въ которую можетъ быть вложено что угодно,—превращаются въ личныя качества человѣка, подлежащія уже (съ той или другой точки зрѣнія, напр. съ точки зрѣнія интересовъ того дѣла, которому служитъ данный человѣкъ) извѣстной квалификаціи,—какъ полезныя или вредныя, какъ хорошія или дурныя. У Кутузова, въ силу долгаго опыта жизни и войны, можетъ быть также подъ вліяніемъ нѣкоторыхъ личныхъ особенностей характера или ума, національная волевая форма, которую онъ раздѣляетъ съ Каратаевымъ, превратилась въ положительное воззрѣніе на вещи, въ военную теорію, въ программу дѣятельности. И это воззрѣніе, эта теорія и программа уже подлежатъ критической оцѣнкѣ, а ихъ представитель — тому, что можно назвать «исторической отвѣтственностью». Толстой совершенно правъ, когда говоритъ о воззрѣніяхъ и руководящей идеѣ Кутузова, какъ о продуктѣ его «старости», его 60-лѣтней опытности, стало быть какъ о чемъ-то, ему лично принадлежащемъ. Но онъ правъ и въ томъ, что связываетъ эти воззрѣнія и эту руководящую идею съ русскимъ національнымъ духомъ и складомъ и не упускаетъ случая лишній разъ отмѣтить, что Кутузовъ—типичный русскій человѣкъ [1]), съ тою формальной «простотой и правдою», о которыхъ мы говорили выше, анализируя Каратаева. — Толстой правъ и въ томъ, и въ другомъ случаѣ потому именно, что въ самомъ дѣлѣ отличительная черта историческихъ лицъ, имѣющихъ національное значеніе, и состоитъ въ такомъ совмѣщеніи личнаго съ національнымъ,—въ превращеніи у нихъ формальныхъ элементовъ національной психики въ положительное содержаніе ихъ духа, — въ систему движущихъ ими идей и чувствъ, въ рядъ сознательныхъ волевыхъ актовъ.

Въ XXXV-ой главѣ II-й части III-го тома (Бородинское сраженіе) Кутузовъ представленъ «не дѣлающимъ никакихъ распоряженій, а только соглашающимся или несоглашающимся на то,

---

[1]) Напр. въ концѣ той-же XIV-й главы, изъ которой я привелъ послѣднія выдержки. «А главное—думалъ князь Андрей—почему вѣришь ему, это—то, что онъ русскій, несмотря на романъ Жанлисъ и французскія поговорки...»

что предлагали ему».—«Да, да, сдѣлайте это»,—«да, да, съѣзди, голубчикъ, посмотри!»—«Нѣтъ, не надо, лучше подождемъ»,—таковы его «распоряженія». Онъ опять въ роли врача у постели больного. И вотъ какъ поясняетъ здѣсь эту роль Толстой: «Долголѣтнимъ военнымъ опытомъ онъ зналъ и старческимъ умомъ понималъ, что руководить сотнями тысячъ человѣкъ, борющихся со смертью, нельзя одному человѣку, и зналъ, что рѣшаютъ участь сраженія не распоряженія главнокомандующаго, не мѣсто, на которымъ стоятъ войска, не количество пушекъ и убитыхъ людей, а та неуловимая сила, называемая духомъ войска, и онъ слѣдилъ за этою силою и руководилъ ею, насколько это было въ его власти». Описанныя въ той-же главѣ дѣйствія Кутузова наглядно иллюстрируютъ эту мысль.

Въ III-ей части того-же III-го тома, въ главѣ III-ей, важно изображеніе душевнаго состоянія Кутузова передъ рѣшеніемъ—отступить и оставить Москву непріятелю. Какъ ни былъ неизбѣженъ этотъ шагъ,—Кутузовъ не могъ не чувствовать сомнѣній и тяжелаго гнета отвѣтственности за послѣдствія. «Неужели это я допустилъ до Москвы Наполеона и когда-же это я сдѣлалъ?»—думалъ онъ. Тѣмъ не менѣе, силою вещей, пришлось отдать приказъ къ отступленію и оставить Москву Наполеону. «Отдать это страшное приказаніе казалось ему одно и то-же, что отказаться отъ командованія арміей. А мало того, что онъ любилъ власть, привыкъ къ ней..., онъ былъ убѣжденъ, что ему было предназначено спасеніе Россіи, и потому только, противъ воли государя и по волѣ народа, онъ былъ избранъ главнокомандующимъ. Онъ былъ убѣжденъ, что онъ одинъ въ этихъ трудныхъ условіяхъ могъ держаться во главѣ арміи, что онъ одинъ во всемъ мірѣ былъ въ состояніи безъ ужаса знать своимъ противникомъ непобѣдимаго Наполеона, и онъ ужасался мысли о томъ приказаніи, которое онъ долженъ былъ отдать». — Слѣдуетъ, въ гл. IV-ой, знаменитое описаніе военнаго совѣта въ Филяхъ. Это точно консиліумъ врачей у постели опасно-больного. Не всѣ врачи мудры. Есть между ними просто выскочки и интриганы. Есть тутъ уязвленныя самолюбія и разгоряченныя честолюбія. Есть и фальшивый патріотизмъ Бенигсена, и громкія фразы его-же о «священной и древней столицѣ Россіи», которую преступно было-бы отдать безъ боя. Но мудрый престарѣлый врачъ уже покончилъ со своими сомнѣніями и колебаніями. Онъ видитъ вещи въ ихъ настоящемъ свѣтѣ, и національное чувство, живое

въ немъ, подсказываетъ ему простое и вѣрное рѣшеніе вопроса. Онъ приказываетъ отступленіе.

Превосходно вырисовывается натура Кутузова, какъ она задумана Толстымъ, въ главѣ XVII-ой II-ой части IV-го тома. Здѣсь воспроизведенъ тотъ историческій моментъ, когда Кутузову впервые принесли вѣсть о бѣгствѣ Наполеона изъ Москвы. Эта вѣсть положила конецъ мучительнымъ сомнѣніямъ и тревожнымъ думамъ главнокомандующаго. Отступленіе французовъ, предвозвѣщавшее гибель великой арміи и освобожденіе Россіи, и было тѣмъ радостнымъ событіемъ, которое Кутузовъ предвидѣлъ, но скорому осуществленію котораго онъ не смѣлъ вѣрить. Въ ту ночь, когда ему доложили объ этомъ событіи, онъ не спалъ и все думалъ о положеніи вещей. «Терпѣніе и время—вотъ мои воины-богатыри!—думалъ онъ. Онъ зналъ, что не надо срывать яблоко, пока оно зелено... Онъ, какъ опытный охотникъ, зналъ, что звѣрь раненъ (Бородинское сраженіе)... но смертельно или нѣтъ,—это былъ еще неразъясненный вопросъ».—Вотъ именно объ этомъ-то неразъясненномъ вопросѣ и размышлялъ Кутузовъ, придумывая возможныя комбинаціи и крайности. «Вопросъ этотъ занималъ всѣ его душевныя силы. Все остальное было для него только привычнымъ исполненіемъ жизни. Такимъ привычнымъ исполненіемъ и подчиненіемъ жизни были его разговоры со штабными, письма къ m-me Stahl, которыя онъ писалъ изъ Тарутина, чтеніе романовъ, раздача наградъ, переписка съ Петербургомъ и т. д. Но погибель французовъ, предвидѣнная имъ однимъ, было его душевное, единственное желаніе». И вотъ, въ ночь 11-го октября, когда онъ былъ погруженъ въ эти думы, въ главный штабъ прискакалъ Болховитиновъ съ извѣстіемъ объ оставленіи Москвы французами. Когда Толь, приведшій къ нему вѣстника, сообщилъ вкратцѣ сущность извѣстія,—Кутузовъ спросилъ; «кто привезъ?»—и лицо старика «поразило Толя своею холодною суровостью». Ввели Болховитинова.—«Скажи, дружокъ,—сказалъ онъ Болховитинову своимъ тихимъ, старческимъ голосомъ...—Подойди, подойди поближе. Какія ты привезъ мнѣ вѣсточки, а? Наполеонъ изъ Москвы ушелъ? Воистину такъ, а? Говори, говори скорѣе, не томи душу».—торопилъ онъ его. «Болховитиновъ разсказалъ все и замолчалъ, ожидая приказанія. Толь началъ было говорить что-то, но Кутузовъ перебилъ его. Онъ хотѣлъ сказать что-то, но вдругъ лицо его сощурилось, сморщилось: онъ, мах-

нувъ рукой на Толя, повернулся въ противную сторону, къ красному углу избы, чернѣвшему отъ образовъ. — Господи, Создатель мой! Внялъ Ты молитвѣ нашей... дрожащимъ голосомъ сказалъ онъ, сложивъ руки.—Спасена Россія. Благодарю Тебя, Господи!—И онъ заплакалъ».

Толстой въ «Войнѣ и Мирѣ» не только рисуетъ, но и комментируетъ то, что рисуетъ. Эти комментаріи даны, во-первыхъ, въ формѣ несравненнаго психологическаго анализа, который съ такимъ мастерствомъ вплетенъ въ самый рисунокъ, и въ формѣ извѣстныхъ разсужденій о событіяхъ, объ историческихъ дѣятеляхъ,—разсужденій, прерывающихъ нить фабулы и вызывавшихъ нерѣдко со стороны критики неодобрительные, но, мнѣ кажется, не совсѣмъ или не всегда справедливые отзывы. Къ числу такихъ отступленій принадлежитъ глава V-ая IV-ой части IV-го тома, гдѣ дана оцѣнка Кутузова, какъ историческаго дѣятеля. Здѣсь Толстой противупоставляетъ Кутузова Наполеону, котораго онъ называетъ «ничтожнѣйшимъ орудіемъ исторіи» и человѣкомъ, который «никогда, даже въ изгнаніи, не выказывалъ человѣческаго достоинства». Онъ упрекаетъ русскихъ историковъ въ томъ, что они преклонялись передъ этимъ лживымъ героемъ, назвали его великимъ человѣкомъ, между тѣмъ какъ Кутузовъ въ ихъ глазахъ «представляется чѣмъ-то неопредѣленнымъ и жалкимъ, и, говоря о Кутузовѣ и 12-мъ годѣ, имъ всегда какъ-будто немножко стыдно».

Если-бы я былъ историкомъ, я бы имѣлъ возможность критически отнестись къ этой рѣзкой оцѣнкѣ Наполеона и либо отвергнуть ее, либо принять. Но я не историкъ и, воздерживаясь отъ критики, охотно пріемлю общій приговоръ, что Наполеонъ—въ своемъ родѣ великій человѣкъ. Не нужно, однакоже, быть историкомъ, чтобы знать, что прежде всего это былъ великій надуватель. Онъ умѣлъ обманывать цѣлые народы, цѣлыя поколѣнія и, что можетъ быть еще печальнѣе, — такіе умы, такихъ друзей человѣчества, какъ Пушкинъ, Лермонтовъ, Гейне. Честь и слава Толстому, что онъ не поддался этой иллюзіи. Съ другой стороны, также нѣтъ надобности быть историкомъ, чтобы имѣть право признать сужденія Толстого о Кутузовѣ въ общемъ согласными съ исторической истиной, хотя бы въ нихъ и была доля преувеличенія. Простое чутье правды и здравый смыслъ, незатуманенный блескомъ легенды, невольно заставляютъ раздѣлять оцѣнку Кутузова, данную въ слѣдующихъ

словахъ: «Кутузовъ никогда не говорилъ о 40 вѣкахъ, которые смотрятъ съ пирамидъ, о жертвахъ, которыя онъ приноситъ отечеству, о томъ, что онъ намѣренъ совершить или совершилъ: онъ вообще ничего не говорилъ о себѣ, не игралъ никакой роли, казался всегда самымъ простымъ и обыкновеннымъ человѣкомъ и говорилъ самыя простыя, обыкновенныя вещи...»—Но этотъ простой человѣкъ глубоко и вѣрно понималъ ходъ вещей,—въ самомъ разгарѣ событій давалъ имъ правильную оцѣнку, подтвержденную лишь впослѣдствіи, post factum. Изъ вышеприведенной сцены, гдѣ показано, какъ принялъ Кутузовъ извѣстіе о выступленіи Наполеона изъ Москвы, ясно видно, что Кутузовъ сразу же вѣрно оцѣнилъ значеніе этого событія. Онъ понялъ, что это уже было бѣгство непріятеля, что съ этого момента Россія можетъ считаться спасенной. Оттуда та радость и то умиленіе, съ которыми онъ принялъ это извѣстіе.—Столь-же правильно оцѣнилъ онъ значеніе Бородинскаго сраженія. «Онъ одинъ говорилъ, что Бородинское сраженіе есть побѣда... Онъ одинъ сказалъ, что потеря Москвы не есть потеря Россіи... Въ отвѣтъ Лористону на предложенія о мирѣ, онъ отвѣчалъ, что мира не можетъ быть, потому что такова воля народа...»—Подводя итогъ этой оцѣнкѣ Кутузова, Толстой ставитъ вопросъ: «Какимъ образомъ этотъ старый человѣкъ, одинъ въ противность мнѣнію всѣхъ могъ угадать такъ вѣрно значеніе народнаго смысла событія, что ни разу во всю свою дѣятельность не измѣнилъ ему?»—На этотъ вопросъ Толстой отвѣчаетъ такъ: «Источникъ этой необычайной силы прозрѣнія въ смыслъ совершающихся явленій лежалъ въ томъ народномъ чувствѣ, которое онъ носилъ въ себѣ во всей чистотѣ и силѣ его. Только признаніе въ немъ этого чувства заставило народъ такими странными путями, въ немилости находящагося старика выбрать, противъ воли царя, въ представители народной войны... Простая, скромная и потому истинно-величественная фигура эта не могла улечься въ ту лживую форму европейскаго героя, мнимо управляющаго людьми, которую придумала исторія».

Таковъ художественный образъ Кутузова, созданный Толстымъ. Онъ цѣликомъ построенъ: 1) на идеализаціи національной формы и 2) на перенесеніи ея чертъ въ область психологическаго содержанія, на превращеніи ихъ въ идею, въ программу дѣятельности, въ личныя положительныя качества человѣка.

Для надлежащей оцѣнки этихъ пріемовъ, для отвѣта на вопросъ: не было-ли тутъ доли художническаго произвола?—необходимо обратить вниманіе на соотвѣтствующія этимъ пріемамъ черты самой дѣйствительности. Въ исторической жизни народовъ нерѣдко наблюдается и идеализація національной формы, осуществляемая самой жизнью, и претвореніе ея элементовъ въ нѣкоторый положительный идеалъ.

Національная личность человѣка (какъ и всѣ формально-психологическіе элементы) ярко выступаетъ въ сознаніи большею частью только тогда, когда ей угрожаетъ какая-нибудь внѣшняя опасность, когда какая-нибудь внѣшняя сила стремится ее стѣснить или ограничить. Такъ, когда воздвигается гоненіе на языкъ, эту главную опору національности, послѣдняя сейчасъже настораживается, становится крайне щепетильной, обидчивой и естественно переходитъ въ крайность самовозвеличенія, культа себя самой. Она занимаетъ тогда слишкомъ много мѣста въ сознаніи людей. Изъ формы, чѣмъ ей и быть надлежитъ, она переходитъ въ содержаніе, становясь чѣмъ-то вродѣ положительнаго идеала. Это—ненормально, но извинительно. Это—процессъ патологическій, не подлежащій осужденію.

Къ счастью, далеко не въ столь утрированномъ видѣ наблюдается пробужденіе національной формы въ сознаніи при другого рода обстоятельствахъ, благопріятствующихъ тому, напр. во время войнъ, въ особенности народныхъ,—если только непріятельское нашествіе не направлено на самую національность. Наполеонъ не угрожалъ стѣсненіемъ русской національности и запрещеніемъ русскаго языка. Онъ затрогивалъ національность, хотя и чувствительно' но не прямо, а косвенно, угрожая тому, что составляло въ данное время часть содержанія, вложеннаго исторіей въ русскую національную форму: онъ напалъ на русское государство. Еще чувствительнѣе для національной формы было-бы нашествіе, если-бы завоеватель покусился и на остальное содержаніе, на религію, нравы, обычаи и т. д. Но и нападеніе на государство было достаточно, чтобы черезъ посредство части содержанія возбужденіе отразилось и на формѣ: національное чувство встрепенулось, и черты національной формы живо заговорили въ сознаніи, переходя въ сферу положительнаго содержанія духа.

Тогда наша формальная простота и правда приняла обличье настоящей, подлинной душевной простоты и внутренней

духовной правды, а нашъ «волевой фатализмъ» преобразился въ родъ національнаго лозунга, или какъ-бы въ программу національной дѣятельности.

Историческое лицо, въ которомъ эта русская форма была выражена наиболѣе ярко и у котораго ея переходъ въ сферу содержанія обосновывался также на индивидуальныхъ качествахъ и условіяхъ его личнаго опыта жизни,—силою вещей, стало «народнымъ избранникомъ» и вождемъ. Это и былъ Кутузовъ, національное историческое призваніе котораго было какъ-бы инстинктивно понято всѣми. У такихъ, какъ князь Андрей, это инстинктивное пониманіе превратилось въ сознательную оцѣнку.

Этотъ массовой психологическій процессъ, выдвигающій «народнаго избранника» (у насъ—Кутузова, во Франціи—Наполеона, въ Италіи—Гарибальди и т. д.), во многомъ напоминаетъ процессъ художественнаго творчества. Художникомъ является тутъ сама жизнь: она создаетъ и выдвигаетъ типичную индивидуальность, которую она въ большей или меньшей мѣрѣ идеализируетъ, да еще дѣлаетъ представительницею извѣстной идеи. Иначе говоря, историческое лицо этого рода есть художественный образъ въ натурѣ, чѣмъ, между прочимъ, въ значительной мѣрѣ объясняется обаяніе, имъ производимое [1]).

Толстой совершенно правильно понялъ Кутузова, какъ такое художественное созданіе самой жизни, и построилъ своего Кутузова по образу и подобію этого подлинника.

Подлинникъ могъ имѣть, конечно, разныя несовершенства, разныя черты, неподходящія къ цѣлямъ законченной художественности. Ему, какъ всему живому, были присущи внутреннія противорѣчія. Разобрать все это и дать точную оцѣнку и критику личности—это дѣло историка. Но художникъ имѣетъ свои права. Онъ проводитъ дальше и послѣдовательнѣе дѣло, начатое самой

---

[1]) Если вникнемъ въ составъ этого обаянія и устранимъ такіе его элементы, какъ напр. патріотическое чувство, преданность дѣлу, во главѣ котораго стоитъ данное историческое лицо, увлеченіе представляемою имъ идеею или его подвигами, изумленіе передъ его геніемъ или силою характера, передъ его нравственными качествами и т. д., то получится еще остатокъ, который и есть эстетическое чувство; оно можетъ быть даже тогда, когда дѣятель намъ въ общемъ не симпатиченъ, когда онъ—не нашъ «герой».

жизнью и всегда проводимое ею криво, съ уклоненіями въ сторону. Жизнь, по существу процессъ ирраціональный, въ огромномъ большинствѣ случаевъ, надѣляетъ свои типичныя индивидуальности доброй долею ирраціональныхъ признаковъ,—лишь рѣдко-рѣдко удается ей создать такую строго-послѣдовательную, aus einem Guss, истинно-художественную фигуру, какъ напр. Гарибальди. Дорисовывая, исправляя образъ, данный жизнью, художникъ доводитъ его до той законченности и идеализаціи, при которыхъ онъ становится раціональнымъ созданіемъ искусства.

Въ художественномъ образѣ Кутузова Толстой воспроизвелъ нашу національную форму, понятую не только какъ чистая форма, но и какъ часть содержанія духа,—въ томъ ея проявленіи, которое принято называть національнымъ геніемъ.

Если совокупность процессовъ, образующихъ національную личность, въ ихъ будничной, чисто-формальной постановкѣ, въ ихъ какъ-бы дремлющемъ состояніи, можетъ быть уподоблена связанной энергіи, то въ ихъ пробужденномъ и дѣйствующемъ проявленіи она уподобляется энергіи свободной; она становится силою, которая при благопріятныхъ условіяхъ можетъ стать творческою, если не въ сферѣ жизни, то, по крайней мѣрѣ, въ области мысли, при неблагопріятныхъ же, такъ сказать, разсѣивается въ пространствѣ. Изучая нашу національную «энергію», какъ «освобождалась» она въ эпоху отечественной войны, Толстой не могъ ограничиться воспроизведеніемъ нашего національнаго пошиба въ лицѣ Кутузова и указаніями на пробужденіе народнаго чувства въ обществѣ. Толстой—художникъ, идущій въ глубь вещей. И въ данномъ случаѣ онъ счелъ необходимымъ добраться до глубочайшихъ, искони отложившихся залежей той національной формаціи, пробужденіе которой онъ наблюдалъ теперь. Ему нужна была чистая, безпримѣсная стихія русскаго національнаго генія. Для нея онъ не имѣлъ въ своемъ распоряженіи никакого «подлинника», никакого образца. Въ его распоряженіи была только геніальная интуиція, и съ ея помощью онъ и нашелъ то, чего искалъ: онъ открылъ Каратаева.

Это смѣлое художественное предпріятіе было сопряжено съ большими трудностями и соблазнами: такъ легко было впасть въ искусственность, создать не живую личность, а мертвую схему, образъ сочиненный. Чутьемъ великаго художника Толстой понялъ,

что въ данномъ случаѣ нужно остерегаться опаснаго слова «смиреніе», что всякая попытка изобразить Каратаева, какъ сознательнаго, хотя бы и наивнаго, выразителя какого-то русскаго народнаго идеала, привела бы къ фіаско. Каратаевъ не проповѣдникъ, не сознательная личность, а только яркое воплощеніе формальныхъ признаковъ русской національности, въ извѣстной мѣрѣ идеализированныхъ и взятыхъ въ ихъ народно-крестьянскомъ и архаическомъ проявленіи.

Эти соображенія послужатъ намъ исходною точкою того синтетическаго взгляда на Каратаева, о которомъ я говорилъ въ концѣ предыдущей главы, какъ о необходимомъ завершеніи анализа. Отправляясь отсюда, мы прежде всего встрѣчаемъ Пьера Безухова, который укажетъ намъ дальнѣйшій путь.

Мятущаяся и растерянная душа Пьера, прошедшая черезъ всѣ разочарованія безплодныхъ исканій, столкнулась съ другой душою, которая никогда и ничего не искала и никакимъ смятеніямъ и разочарованіямъ, по самой природѣ своей, недоступна, потому что у нея нѣтъ личной жизни. Для психологической и художественной законченности обоихъ образовъ безусловно необходимъ этотъ полный контрастъ между богатой, сложной личной жизнью одного и безличностью (т. е. отсутствіемъ индивидуальнаго содержанія) другого. Чтобы «разрушенный внутренній міръ Пьера» могъ начать вновь созидаться «на какихъ-то незыблемыхъ устояхъ» отъ соприкосновенія съ другой душою (т. IV. ч. I, гл. XII),—эта другая душа должна была представлять собою внутренній міръ, который всегда прочно стоялъ на своихъ устояхъ, или, лучше сказать, она должна была представлять собою не самый этотъ «міръ», который и безъ того имѣется у Пьера, а только одни «незыблемые устои», которыхъ у Пьера нѣтъ. Ихъ нѣтъ у Пьера, потому что онъ — именно «Пьеръ», а не Петръ Кириллычъ, что онъ — продуктъ искусственнаго просвѣщенія XVIII-го вѣка, оторванъ отъ народа, воспитанъ заграницей, даже несовсѣмъ чисто говоритъ порусски. Онъ — продуктъ и жертва той денаціонализаціи, въ силу которой лучшіе плоды общечеловѣческаго просвѣщенія остаются безъ пріуроченія къ національнымъ формамъ мысли: въ результатѣ получается психологическая уродливость — личность безъ національности, содержаніе безъ формы. Чтобы найти потерянную форму и вмѣстѣ съ нею недостающіе ему «незыблемые устои», Пьеръ долженъ былъ пріобщиться къ чему-то такому, въ

чемъ былъ-бы воплощенъ «духъ» всего народа, какъ націи, а не отдѣльной ея части. Исторія встрѣчи Пьера съ Каратаевымъ есть исторія встрѣчи съ народомъ нашей оторванной отъ народно-національной формы интеллигенціи.

Совершенно очевидно, что для «обращенія» и возрожденія Пьера національный «духъ» долженъ былъ открыться ему въ своемъ народномъ выраженіи, а не въ томъ, напр., которое дано въ Кутузовѣ. «Кутузова» достаточно, чтобы успокоить князя Андрея, чтобы разсѣять его сомнѣнія и пробудить въ немъ нѣчто въ родѣ національнаго самосознанія,—для обращенія Пьера необходимъ цѣлый Каратаевъ, яркое воплощеніе національнаго духа въ его народномъ проявленіи и какъ-бы въ сконцентрированномъ видѣ.

Въ поискахъ этой сконцентрированной національной формы Толстой счастливо миновалъ Сциллу славянофильства и Харибду народничества и уберегся отъ своего рода чаръ Сирены,—отъ призывовъ субъективнаго творчества и личнаго опыта, которые побуждали построить Пьера по образцу Оленина, а Каратаева превратить въ разновидность дяди Ерошки. И по мѣрѣ того, какъ изъ группируемыхъ здѣсь чертъ у меня складывается синтетическое представленіе Каратаева,—я не нахожу въ этомъ представленіи ни «русской подоплеки», ни элемента сектантскихъ исканій или »дохожденія собственнымъ умомъ». Но за то отчетливо и властно выступаетъ въ образѣ, у меня слагающемся, одна черта, которую я намѣренно приберегъ къ концу этого очерка. Эта черта является тѣмъ цементомъ, который сплачиваетъ всѣ элементы психики Каратаева въ одно компактное цѣлое, въ одинъ живой и яркій образъ. Если ужъ нужно какъ-нибудь опредѣлить ее, то я бы ее назвалъ лингвистическою. Это именно—языкъ и мысль Каратаева.

Толстой недаромъ обращаетъ особое вниманіе на эту сторону. Онъ говоритъ, между прочимъ, что у Каратаева «слова какъ будто всегда были готовы во рту и нечаянно вылетали изъ него» (IV т., ч. I, гл. XII). Эта легкость рѣчи, эта, если можно такъ выразиться, юркость слова, всегда бодрствующаго и какъ-бы ждущаго сигнала мысли, чтобы вылетѣть изо рта, есть одна изъ самыхъ важныхъ, самыхъ характерныхъ чертъ, которыми отмѣчена представляемая Каратаевымъ ступень развитія языка и мысли. Это, можно сказать, почти та же ступень, на которой стоятъ гомеровскіе герои, представляющіе себѣ слова

«крылатыми» и вылетающими изъ-за «ограды (или преграды) зубовъ». Слово всегда тутъ, къ услугамъ мысли, потому что разстояніе между ними сравнительно не велико; мысль, еще не изощренная въ отвлеченіяхъ, не высоко еще поднялась надъ языкомъ, т. е. надъ тѣми процессами мысли, которые заключены въ самихъ категоріяхъ рѣчи, въ грамматическихъ формахъ. Эти формы еще составляютъ часть положительнаго содержанія мысли. Человѣкъ этой стадіи не можетъ мыслить, не держа въ сознаніи, хотя бы въ извѣстной мѣрѣ, формальныхъ значеній словъ; послѣднія необходимы ему, чтобы привести въ движеніе его мысль, низко парящую надъ міромъ конкретнаго и не способную витать въ сферѣ отвлеченій, гдѣ сознаваемыя грамматическія формы являются только лишнею обузою, балластомъ мысли. Для отвлеченнаго мышленія слово—только знакъ, символъ. Для мышленія гомеровскихъ героевъ и Каратаева оно—часть содержанія мысли. На этой ступени развитія еще нѣтъ отчетливаго сознанія раздѣльности между содержаніемъ, смысломъ рѣчи и самою рѣчью, какъ орудіемъ созданія этого смысла, и потому сама рѣчь не поддается выдѣленію и анализу. Человѣкъ этого фазиса не можетъ анализировать процессъ своей мысли и разложить его сперва на содержаніе и на форму, а потомъ эту форму на отдѣльные акты рѣчи, на категоріи языка, на слова. Онъ даже не всегда ясно различаетъ, гдѣ въ фразѣ, которую онъ сказалъ или подумалъ, кончается одно слово и начинается другое. «Онъ не понималъ—говоритъ Толстой о Каратаевѣ—и не могъ понять значенія словъ, отдѣльно взятыхъ изъ рѣчи...» Компактной, еще не расчлененной массой движется рѣчь, живьемъ сросшаяся со своимъ непосредственнымъ содержаніемъ и съ тѣми продуктами первоначальнаго творчества, которые называются пословицей, сказкой, пѣснью, примѣтой. Человѣкъ самъ не замѣчаетъ, какъ онъ отъ обыденной рѣчи переходитъ къ этому творчеству. Какъ тамъ, такъ и тутъ отличительная черта, которою отмѣченъ процессъ мысли, это—непосредственность, наивность, отсутствіе рефлексіи. Каратаевъ «пѣлъ пѣсни не такъ, какъ поютъ пѣсни пѣсельники, знающіе, что ихъ слушаютъ, но пѣлъ, какъ поютъ птицы, очевидно потому, что звуки эти ему было такъ-же необходимо издавать, какъ необходимо бываетъ потянуться или расходиться» (т. IV, ч. I, гл. XIII).

Такой укладъ языка, мысли и творчества сопряженъ съ особымъ самочувствіемъ человѣка: ему представляется, что

эти процессы какъ будто сами собою въ немъ совершаются, безъ его личной иниціативы, независимо отъ его воли. Это словно общая, національная умственная атмосфера, которою онъ дышитъ непроизвольно и вмѣстѣ съ другими. Онъ чувствуетъ себя частицею этой стихіи, которую понять и осмыслить онъ, конечно, не въ состояніи. Онъ только ощущаетъ въ себѣ проявленіе общаго, коллективнаго ума—въ рѣчи, въ мысли, въ пѣснѣ, поговоркѣ, наконецъ, въ сферѣ волевой, въ дѣйствіяхъ, стремленіяхъ, образѣ жизни. Общая рѣчь и мысль, общее творчество, общая жизнь, проявляясь въ немъ, становятся его личнымъ достояніемъ, но такимъ, на которое онъ самъ не можетъ смотрѣть, какъ на свое добро, въ родѣ того, какъ напр. воздухъ, которымъ дышитъ человѣкъ, есть его достояніе, но не его добро. Вотъ именно такой укладъ духа и связанный съ нимъ родъ самочувствія превосходно характеризуется слѣдующими словами Толстого о Каратаевѣ: «Каждое слово его и каждое дѣйствіе было проявленіемъ неизвѣстной ему дѣятельности, которая была его жизнь. Но жизнь его, какъ онъ самъ смотрѣлъ на нее [1]), не имѣла смысла, какъ отдѣльная жизнь. Она имѣла смыслъ только какъ частица цѣлаго, которое онъ постоянно чувствовалъ». (Т. I, ч. I. гл. XIII).

Вотъ именно эта сторона Каратаева, т. е Каратаевъ въ его языкѣ, мысли, умственномъ проявленіи и соотвѣтственномъ самочувствіи, и является для меня тою закваскою, силою которой всѣ прочія черты его, разсмотрѣнныя въ предыдущей главѣ и въ этой, слагаются въ одинъ цѣльный синтетическій образъ.

Есть три способа—видѣть художественный образъ. Во-первыхъ можно видѣть его непосредственно, какъ онъ данъ въ произведеніи художника, получить отъ него извѣстное впечатлѣніе. Это то, что можно назвать импрессіонизмомъ въ эстетическомъ воспріятіи. Во-вторыхъ, можно видѣть, какъ и на какіе элементы образъ разлагается. Это аналитическое воспріятіе, въ извѣстной мѣрѣ, но необходимости, нарушающее живость непосредственнаго воспріятія и парализующее силу того, что называется «эстетическимъ наслажденіемъ» или «художественной эмоціей». Наконецъ, въ-третьихъ, можно видѣть, какъ и изъ чего образъ слагается. Это—синтетическое воспріятіе, основанное на предварительномъ аналитическомъ. Оно

---

[1]) Я бы сказалъ: какъ онъ чувствовалъ ее.

вновь возстановляетъ цѣльность впечатлѣнія и оживляетъ эмоцію—въ новомъ видѣ, въ формѣ пониманія смысла и значенія образа и оцѣнки силы художественной мысли, его создавшей.

Съ необыкновеннымъ мастерствомъ Толстой группируетъ ряды чертъ, сливающихся въ цѣльный, живой образъ. Для критика или, лучше сказать, истолкователя образа каждый рядъ этихъ чертъ является конкретнымъ представленіемъ для соотвѣтствующаго ряда понятій, въ свою очередь группирующихся въ опредѣленный аггломератъ мыслей.

Этотъ аггломератъ мыслей оказывается въ своемъ родѣ органически-связнымъ цѣлымъ, — ряды понятій, входящихъ въ его составъ, такъ-же гармонически сочетаются, какъ и черты, данныя художникомъ.

Цементомъ, ихъ скрѣпляющимъ, служитъ только-что разобранная сторона Каратаева. Слѣдя мысленно за постановкой и развитіемъ ея чертъ, мы видимъ, какъ незамѣтно она, разростаясь, переходитъ въ другія его стороны. Каратаевъ, какъ воплощеніе наивной рѣчи и мысли, какъ представитель безсознательнаго коллективнаго творчества и носитель соотвѣтственнаго самочувствія, необходимо долженъ быть крестьянинъ и притомъ стараго, патріархальнаго склада съ ясно выраженными чертами идеализированнаго крестьянскаго благообразія. Излишне пояснять, что напр. его нельзя было-бы пріурочить къ другому сословію, хотя-бы столь-же нерушимо сохраняющему національный складъ. Каратаевъ-мѣщанинъ или купецъ немыслимъ. И самое крестьянство олицетворено въ немъ не только какъ сословіе, а еще болѣе какъ народъ, какъ масса, стихійно слагающаяся въ націю, стихійно движущаяся, безсознательно творящая свою исторію.

Такъ нечувствительно, какъ-бы сами собою, эти два порядка идей, отвѣчающіе двумъ указаннымъ сторонамъ Каратаева, приводятъ насъ къ третьему, связанному съ представленіемъ о Каратаевѣ, какъ о русскомъ національномъ типѣ съ тѣмъ фатализмомъ и оптимизмомъ, съ тѣмъ характернымъ укладомъ воли, о которыхъ мы говорили въ аналитической части нашего очерка. Уже въ основномъ самочувствіи Каратаева и самихъ формахъ его умственной и нравственной жизни скрывается зерно національнаго склада нашей психики. И слѣдя за прозябаніемъ этого зерна, протягивая мысленно нити, идущія отъ рѣчи, мысли, пѣсни и самочувствія Каратаева, все дальше и дальше, мы при-

ходимъ къ цѣлому ряду понятій, относящихся къ нашей національной психологіи и открывающихъ намъ умственныя перспективы въ глубь народнаго духа, въ историческую даль прошлаго, въ невѣдомую даль грядущаго.

Мы уже указывали на то, что въ Кутузовѣ и Каратаевѣ наша національная форма въ извѣстной мѣрѣ идеализирована, и что такая художественная идеализація должна быть признана вполнѣ законной. Она была внушена Толстому тѣмъ живымъ чувствомъ національности, во власти котораго онъ былъ, когда писалъ «Войну и Миръ». Надо отдать ему полную справедливость въ томъ, что онъ въ этомъ отношеніи сумѣлъ воздержаться отъ соблазна впасть въ національную исключительность, въ національное самомнѣніе и шаблонный патріотизмъ. Этихъ отрицательныхъ сторонъ возбужденнаго національнаго чувства и слагающагося національнаго самосознанія совсѣмъ нѣтъ въ «Войнѣ и Мирѣ», какъ и вообще онѣ чужды Толстому. Достаточно для подтвержденія указать на фигуру Растопчина и на его дѣятельность, какъ онѣ представлены въ «Войнѣ Мирѣ», на описаніе пожара Москвы, на далеко не шаблонно-патріотическое отношеніе ко многимъ дѣятелямъ эпохи. Единственнымъ исключеніемъ, да и то скорѣе кажущимся, чѣмъ дѣйствительнымъ, представляется отношеніе Толстого къ Наполеону, изображенному съ явнымъ пристрастіемъ и нескрываемымъ озлобленіемъ. Но если это изображеніе и вытекало изъ возбужденнаго національнаго чувства, то во всякомъ случаѣ—не прямо, а косвенно. Наполеонъ антипатиченъ Толстому не потому, что онъ—врагъ, иностранный завоеватель, а потому, что онъ, въ глазахъ Толстого,—живое олицетвореніе того «фальшиваго героя», котораго, по мнѣнію нашего художника-мыслителя, «выдумала» исторія. Настоящій, нелегендарный Наполеонъ казался Толстому жалкимъ, ничтожнымъ орудіемъ фатальнаго хода вещей, щепкою, вознесенною наверхъ исторической волной и воображающей, что она-то, щепка, эту волну и подняла. Весьма возможно (судить не берусь), что этотъ взглядъ невѣренъ, но онъ не былъ прямо внушенъ Толстому возбужденнымъ національнымъ чувствомъ, а вытекалъ вполнѣ логически изъ всей системы историко-философскихъ воззрѣній Толстого, изложенныхъ о второй части «Эпилога». Правда, сама эта система, какъ-бы мы о ней ни судили, прежде всего была прямымъ порожденіемъ тѣхъ сторонъ ума и натуры Толстого, которыя по праву могутъ быть разсма-

триваемы, какъ типично-русскія, національныя. Она не что иное, какъ переводъ «Кутузовщины» и «Каратаевщины» на философскій языкъ. Въ этомъ смыслѣ я вижу нѣкоторую связь, довольно отдаленную, впрочемъ, между отрицательнымъ отношеніемъ къ Наполеону и возбужденнымъ національнымъ чувствомъ. Волна этого чувства докатилась до Наполеона не прямикомъ, а окольнымъ путемъ, вызвавъ въ Толстомъ творческую работу національныхъ силъ его генія, завершившуюся философіей «Эпилога». Съ высоты этой философіи и былъ осужденъ Наполеонъ.

Историко-философская теорія Толстого неоднократно подвергалась суровой критикѣ. Въ ней дѣйствительно есть парадоксы и натяжки, есть «уязвимыя мѣста». Но при всемъ томъ я не могу считать ее, какъ это дѣлали многіе критики, ненужнымъ придаткомъ къ эпопеѣ, безплодными умствованіями, которыя будто бы только портятъ ее. Я думаю, напротивъ, что теорія не только ничего не портитъ, но является необходимымъ завершеніемъ «Войны и Мира». Великая національная эпопея, наша Иліада и Одиссея, была бы не полна, не закончена безъ этой добавочной волны идей, вызванныхъ въ умѣ художника дѣйствіемъ того процесса творчества, который далъ бытіе самой эпопеѣ. И я увѣренъ, что если Толстой въ разныхъ изданіяхъ «Войны и Мира» не опускаетъ этихъ «разсужденій», то имъ въ этомъ случаѣ руководитъ не только самолюбіе мыслителя, но и чутье художника. Вообще всякаго рода размышленія и теоріи, возникающія въ умѣ художника, если только онѣ искренни и органически связаны съ самымъ процессомъ творчества (а не насильственно къ нему притянуты) никогда не могутъ вредить дѣлу. Требовать отъ художника, чтобы онъ только «рисовалъ» и не смѣлъ разсуждать и комментировать свой рисунокъ было бы педантизмомъ. И такое требованіе менѣе всего было бы умѣстно въ примѣненіи къ Толстому, который, по самой природѣ своего генія, въ противуположность Тургеневу, есть художникъ философствующій. Иначе говоря, Толстой, созидая свои образы, не только созерцаетъ представляемую ими идею, но стремится привести ее въ органическую связь съ собственнымъ своимъ міросозерцаніемъ и проникнуть по возможности глубже, какъ въ эту идею, такъ и въ тѣ явленія жизни, которыя такъ или иначе съ нею связаны. Что касается спеціально «Войны и Мира», то тѣсная, органическая связь историко-философской теоріи

Толстого съ содержаніемъ и духомъ эпопеи представляется мнѣ несомнѣнною. Эту связь можно резюмировать такъ: 1) эпопея, въ своей Иліадѣ—«Войнѣ» и въ своей Одиссеѣ—«Мирѣ», равно изображаетъ фатальный ходъ вещей, ирраціональную природу процессовъ жизни человѣческой, независимость ихъ отъ воли ея участниковъ и дѣятелей; 2) въ Каратаевѣ и Кутузовѣ соотвѣтствующій этой идеѣ умственный и волевой укладъ представленъ какъ одна изъ чертъ русской національной психики; 3) въ разсужденіяхъ (въ текстѣ) и въ историко-философскомъ трактатѣ «Эпилога» та-же идея развита въ систематической формѣ, отъ лица автора и, являясь продуктомъ чисто-національнаго русскаго пошиба мысли (я готовъ былъ сказать: русскихъ умственныхъ вкусовъ), естественно увѣнчиваетъ все зданіе національной эпопеи. Отсюда слѣдуетъ и обратное: вторая часть «Эпилога», взятая отдѣльно отъ «Войны и Мира», разсматриваемая просто какъ историко-философскій трактатъ, большого значенія не имѣетъ. Несмотря на нѣкоторыя вѣрныя и глубокія мысли, она не заняла и не займетъ виднаго мѣста въ литературѣ по философіи исторіи, ибо она—не плодъ методическаго изслѣдованія сущности историческаго процесса, а только попытка дать философское выраженіе той точкѣ зрѣнія на историческій процессъ, на роль и призваніе историческихъ дѣятелей и «героевъ», на «причинную связь» въ исторіи и т. д., которая логически можетъ быть выведена изъ «Каратаевщины» и «Кутузовщины» и которая не переставала вдохновлять художника, когда онъ создавалъ величайшее изъ своихъ произведеній.

ГЛАВА VI.

Великосвѣтскіе типы. Князь Андрей Болконскій.

I.

Во многихъ отношеніяхъ (и между прочимъ въ количественномъ) типы и картины великосвѣтской жизни занимаютъ одно изъ самыхъ видныхъ мѣстъ въ художественной дѣятельности Толстого.

Чтобы дать посильную оцѣнку и выяснить значеніе этого—аристократическаго—элемента въ творчествѣ Толстого, необходимо сперва разсмотрѣть важнѣйшіе образы, сюда относящіеся. Прежде всего обратимся къ положительнымъ типамъ

«Войны и Мира» и начнемъ съ князя Андрея Болконскаго.

Здѣсь необходимо вспомнить, что передъ тѣмъ, какъ Толстой приступилъ къ созданію «Войны и Мира» (1864), онъ останавливался на другомъ художественномъ замыслѣ и даже набросалъ одинъ отрывокъ. Романъ былъ задуманъ на тему «Декабристы». О немъ находимъ слѣдующія свѣдѣнія въ примѣчаніи, предпосланномъ упомянутому отрывку [1]): «печатаемыя здѣсь три главы романа подъ заглавіемъ «Декабристы» были написаны еще прежде, чѣмъ авторъ принялся за «Войну и Миръ». Въ то время онъ задумывалъ романъ, котораго главными дѣйствующими лицами должны быть декабристы, но не написалъ его, потому что, стараясь возсоздать время декабристовъ, онъ невольно переходилъ мыслью къ предыдущему времени, къ прошлому своихъ героевъ. Постепенно передъ авторомъ раскрывались все глубже и глубже источники тѣхъ явленій, которыя онъ задумывалъ описать, — семья, воспитаніе, общественныя условія и проч. избранныхъ имъ лицъ; наконецъ онъ остановился на времени войнъ съ Наполеономъ, которое и изобразилъ въ «Войнѣ и Мирѣ». Въ концѣ этого романа видны уже признаки того возбужденія, которое отразилось въ событіяхъ 14-го декабря 1825 года».—(Сочиненія, ч. XII-я, стр. 229).

Не трудно догадаться, что, если-бы романъ «Декабристы» былъ написанъ, то въ немъ въ числѣ лицъ, причастныхъ движенію, закончившемуся событіемъ 14-го декабря, оказался-бы Пьеръ Безуховъ, а Наташа попала-бы въ число тѣхъ «русскихъ женщинъ», которыхъ воспѣлъ Некрасовъ. Такъ-же точно представляется очевиднымъ, что, если-бы рана, полученная кн. Андреемъ Болконскимъ въ Бородинскомъ сраженіи, не оказалась смертельною,—онъ явился-бы въ свое время однимъ изъ организаторовъ и вожаковъ движенія.

Я предполагаю, что сюжетъ «Декабристовъ» привлекалъ къ себѣ художническую пытливость Толстого не только своимъ историческимъ значеніемъ, своимъ драматизмомъ и выдающимися качествами дѣйствующихъ лицъ, какъ характеровъ, но

---

[1]) Онъ написанъ былъ въ 1863 г. Какъ извѣстно, существуетъ и другой отрывокъ, написанный въ 70-хъ годахъ. Насъ интересуетъ здѣсь только первый.

также (а, быть можетъ, и въ особенности) тѣмъ, что это столь яркое и единственное въ своемъ родѣ явленіе въ нашей исторіи было въ значительной мѣрѣ продуктомъ великосвѣтской психологической формы, что въ немъ аристократія происхожденія, воспитанія, карьеры, общественнаго положенія проявилась въ то же время какъ аристократія ума, характера и нравственныхъ качествъ. Первенствующая роль въ движеніи принадлежала молодежи высшаго круга; тутъ были и представители старинныхъ аристократическихъ фамилій, и представители той искусственно-созданной, чиновной, «разночинной» (если можно такъ выразиться) знати, которая такъ быстро сформировалась у насъ съ легкой руки Петра Великаго; всѣ они путемъ своеобразнаго воспитанія и образованія объединялись въ одну сословно-психологическую группу, гдѣ развѣ только очень опытный наблюдатель могъ уловить нѣкоторыя черты различія, которыми всетаки отличались другъ отъ друга съ одной стороны люди «крови и породы», а съ другой дѣти или внуки «случайныхъ» людей временъ Елисаветы и Екатерины,—тѣхъ, что «прыгали въ князья изъ хохловъ» или «пѣли на клиросѣ съ дьячками».—Андрей Болконскій—представитель первыхъ, Пьеръ Безуховъ—вторыхъ. Но эти различія не только не нарушали единства сословной психологіи,—они не вліяли также на составъ, характеръ и послѣдовательныя измѣненія того, что въ разное время составляло содержаніе этой психологической формы. И аристократы «крови», и аристократы разночиннаго происхожденія одинаково воспринимали вольтерьянство и другія освободительныя идеи «вѣка просвѣщенія», одинаково проникались патріотическими стремленіями и героическимъ духомъ эпохи 1812 года, одинаково жертвовали собою въ эпоху 1825 года,—воодушевленные идеями, ничего общаго не имѣющими съ сословными тенденціями и направленными въ сторону общегосударственныхъ и общенародныхъ интересовъ.

Есть два способа изучать и изображать движеніе умовъ въ обществѣ, возникновеніе, ходъ и итоги извѣстныхъ общественныхъ стремленій, дѣятельность партій и т. д. Во-первыхъ, можно интересоваться исключительно содержаніемъ руководящихъ идей, цѣлями, къ которымъ стремятся лица, принимающія участіе въ движеніи, событіями и результатами, къ которымъ оно привело; при этомъ вопросъ объ интимномъ внутреннемъ мірѣ дѣятелей и о ихъ психологической формѣ остается

въ сторонѣ; къ нему обращаются только въ томъ случаѣ, когда это представляется необходимымъ для объясненія самихъ идей, событій и т. д.—Другой способъ состоитъ въ томъ, что именно эта—психологическая—сторона и выдвигается на первый планъ. Изслѣдователь прежде всего хочетъ уяснить себѣ, что это за люди, которыхъ стремленія, подвиги, судьбу онъ будетъ изучать,—каковъ ихъ внутренній міръ, взятый въ его будничномъ обиходѣ, независимо отъ воодушевляющихъ ихъ идей,—наконецъ, къ какой психологической формѣ (сословной и иной) принадлежатъ они,—вѣдь эта форма и составляетъ ихъ характерную «физіономію», ихъ душевную «складку». Толстой, какъ извѣстно, такъ именно и ставитъ вопросъ, и для него идеи, волновавшія умы, общественныя движенія, стремленія передовыхъ партій получаютъ весь свой интересъ только тогда, когда онѣ берутся не отвлеченно, а воплощаются въ живыхъ людей, которыхъ онъ и анализируетъ со свойственнымъ ему даромъ психологическаго прозрѣнія. Такъ, «Война и Миръ», можно сказать, изображаетъ намъ не событія, не идеи или руководящія стремленія эпохи, а живьемъ взятыхъ людей того времени; событія-же, идеи и пр.,—это только часть ихъ жизни или часть обстановки, среди которой она протекала. Если-бы Толстой написалъ «Декабристовъ», то—я увѣренъ—при первомъ чтеніи мы были-бы шокированы этимъ художественнымъ пріемомъ, который можно-бы назвать своего рода размѣномъ большихъ душевныхъ цѣнностей на мелкую, ходячую монету, на пятаки и гривенники повседневнаго душевнаго прихода и расхода. Въ отрывкѣ 1863 года, изображающемъ возвращеніе амнистированнаго престарѣлаго декабриста въ 1856 году, мы видимъ уже первый опытъ такого «размѣна»: замѣчательный человѣкъ, герой, сильный характеръ — представленъ здѣсь со стороны разныхъ душевныхъ мелочей, пустяковъ, слабостей, иногда смѣшныхъ. Но вы чувствуете, что это не есть развѣнчаніе героя, что тутъ не было желанія его унизить, умалить, опошлить: это только — размѣнъ душевныхъ цѣнностей, при чемъ, въ конечномъ итогѣ, эти цѣнности все-таки остаются цѣнностями,—онѣ отнюдь не обезцѣниваются. Размѣнъ же нуженъ для того, чтобы шаблонная фигура героя, которую всегда можно, зная его дѣянія, построить апріорно, какъ-бы вывести дедуктивнымъ путемъ, преобразилась въ живую человѣческую личность съ ясно-выраженной психологической формой (напр. сословной), со всею массою мелкихъ

душевныхъ проявленій, со всѣми характерными чертами воспитанія, среды, эпохи. Въ данномъ случаѣ среди многихъ чертъ, сгруппированныхъ въ отрывкѣ, мы ясно различаемъ признаки великосвѣтской психологической формы, своеобразнаго барскаго воспитанія, той особой (нынѣ, кажется, ужъ не существующей) утонченности или, если можно такъ выразиться, душевной шлифовки, которая психологически была сродни гуманности и незамѣтно въ нее переходила [1]). Вотъ именно въ области этого рода художественныхъ изысканій Толстой даетъ намъ возможность уловить эти нити, которыми положительное содержаніе людей эпохи 1825 года (ихъ идеи, идеалы, стремленія) связывалось съ аристократическою формою ихъ психики. Въ «Войнѣ и Мирѣ» онъ и покажетъ намъ дѣйствіе этихъ связующихъ нитей, и мы убѣдимся въ томъ, что въ самомъ дѣлѣ аристократическая форма психики заключаетъ въ себѣ элементы, силою которыхъ она гармонируетъ съ общегуманнымъ пошибомъ содержанія, съ воспріимчивостью мысли къ прогрессивнымъ и освободительнымъ идеямъ, съ аристократизмомъ ума и характера, съ развитіемъ чести. Семья Болконскихъ (Волконскихъ) является лучшей представительницею этого высшаго аристократизма, разными своими сторонами, какъ-бы по частямъ, типично-выраженнаго въ старомъ князѣ, у котораго онъ смѣшанъ съ деспотизмомъ и крѣпостничествомъ вельможи XVIII-го вѣка, въ княжнѣ Марьѣ, гдѣ онъ претворенъ въ утонченную гуманность теплично воспитанной женской натуры, и—въ особенности—въ князѣ Андреѣ, психику котораго, очень сложную и очень любопытную, намъ предстоитъ теперь разобрать по возможности обстоятельно. Онъ этого заслуживаетъ, хотя-бы въ виду того, что, вмѣстѣ съ Пьеромъ Безуховымъ, онъ является центральною фигурою «Войны и Мира».

II.

Нѣкоторыя, очень ярко выраженныя, черты сословной аристократической психологіи князя Андрея служили иногда для читателей и критиковъ камнемъ преткновенія, мѣшавшимъ имъ отнестись къ нему съ должнымъ безпристрастіемъ и понять его

---

[1]) Сюда относится указаніе на то, что «Петръ Ивановичъ (декабристъ) имѣлъ привычку говорить вы всѣмъ безъ исключенія, кромѣ членовъ своего семейства». Раздавая на чай ямщикамъ, онъ говоритъ: «вотъ вамъ, а вотъ вамъ».

такъ, какъ этого хотѣлъ-бы авторъ. Въ нѣкоторыхъ сценахъ кн. Андрей производитъ невыгодное впечатлѣніе—самомнящаго фата, надменнаго и ломающагося великосвѣтскаго льва. Если судить о немъ по этому впечатлѣнію, не принимая въ соображеніе многихъ другихъ чертъ, его парализующихъ, то получится характеристика князя Андрея, столь-же невѣрная и пристрастная, какъ та, которую сдѣлалъ въ своемъ родѣ остроумный военный критикъ «Войны и Мира»—генералъ Драгомировъ. «Кн. Андрей»—говоритъ онъ,—«принадлежитъ къ числу тѣхъ, нерѣдко встрѣчаемыхъ характеровъ, которые, по странному капризу природы, представляютъ соединеніе громадныхъ претензій съ недостаткомъ силъ для ихъ удовлетворенія... Просимъ припомнить появленіе кн. Андрея на сцену: въ свѣтѣ онъ щурится, едва отвѣчаетъ, всѣхъ и вся третируетъ съ высоты своего величія; предъ вами человѣкъ, который изо всѣхъ силъ бьется, чтобы не быть, а казаться, который играетъ роль, который не есть сила, а только претензія на силу...» (Разборъ романа «Война и Миръ». Кіевъ, 1895, стр. 38). На этомъ отзывѣ стоитъ остановиться: онъ принадлежитъ писателю, который умѣетъ не только зло и остроумно критиковать, но и хорошо понимать то, что критикуетъ (способности, не всегда, къ сожалѣнію, совмѣщающіяся),—тѣмъ любопытнѣе, стало быть, выяснить происхожденіе столь явно несправедливаго приговора.

Если не ошибаюсь, немилость знаменитаго стратега къ князю Андрею была порождена двумя причинами: во-первыхъ, аристократическая форма психики кн. Андрея, должно быть, глубокоантипатична генералу Драгомирову, какъ носителю совсѣмъ другой психологической формы; во-вторыхъ, кн. Андрей—диллетантъ войны и слишкомъ самоувѣренно и развязно судитъ о военныхъ вопросахъ, не имѣя на это тѣхъ правъ «мастера», которыя пріобрѣтаются, по выраженію ген. Драгомирова, лишь «тяжелымъ и долгимъ пребываніемъ въ подмастерьяхъ»; не пройдя этой суровой школы, не видавъ «ни разу войны лицомъ къ лицу», онъ «является на нее съ готовыми и законченными военными взглядами» (стр. 39),—вотъ чего ген. Драгомировъ, мастеръ и авторитетъ въ практикѣ и теоріи войны, не можетъ простить князю Андрею. Въ довершеніе всего, послѣдній со свойственною ему, по мнѣнію ген. Драгомирова, опрометчивостью, совершилъ поступокъ, который долженъ былъ окончательно уронить его въ глазахъ генерала: онъ, «пользуясь привиллегіями той среды, кото-

рую повидимому такъ презираетъ» (стр. 38—39), поступилъ адъютантомъ къ Кутузову,—отнынѣ онъ штабный аристократикъ, и ген. Драгомировъ, кажется, въ самомъ дѣлѣ думаетъ, что кн. Андрей въ этой должности «усвоилъ себѣ нравы передней главнокомандующихъ, примѣняя къ дѣлу «неписанную» субординацію не хуже любого Жеркова» (стр. 39).—Нижеслѣдующій анализъ натуры молодого Болконскаго, надѣюсь, покажетъ, какъ далека отъ правды эта характеристика [1]).

На всемъ протяженіи романа кн. Андрей Болконскій неизмѣнно проявляется какъ человѣкъ очень умный, рѣдко-серьезный и съ большими запросами живой общественной и даже государственной дѣятельности, при чемъ эти запросы — не пустыя претензіи, а основываются на соотвѣтствующихъ имъ способностяхъ. Это одна изъ тѣхъ натуръ, которыя смотрятъ на жизнь какъ на серьезное и отвѣтственное дѣло, а не время-препровожденіе, и понимаютъ это дѣло въ смыслѣ служенія общему благу, руководясь правиломъ «noblesse oblige». Въ связи съ этимъ у кн. Андрея мы видимъ проявленіе большого честолюбія и стремленіе къ власти, къ авторитарности. Но рядомъ съ этими мотивами у него въ душѣ властно, «категорически» заправляетъ «императивъ» долга, самоотверженія, безкорыстнаго подвига.

Таковъ нашъ взглядъ на кн. Андрея, являющійся конечнымъ итогомъ, въ которомъ реализируется большая душевная цѣнность, представляемая этимъ человѣкомъ. Разсмотримъ же теперь слагаемыя, мелкія монеты—результаты произведеннаго Толстымъ психологическаго размѣна.

Впервые личность кн. Андрея начинаетъ выясняться въ главахъ V-й и VI-й I-й части I-го тома, гдѣ въ бесѣдѣ съ Пьеромъ Безуховымъ онъ рѣзко высказываетъ свою неудовлетворенность жизнью и обнаруживаетъ крайне пессимистическое настроеніе, очевидно, вызванное недовольствомъ семейной жизнью (или точ-

---

[1]) Укажу здѣсь лишь мелькомъ, что она фактически не вѣрна: кн. Андрей третируетъ не всѣхъ и вся, а только очень многихъ—кого не уважаетъ. Пьера Безухова, кап. Тушина, Тимохина—онъ не третируетъ, а относится къ нимъ сердечно и просто. Въ штабѣ онъ не остается служить и карьеры тамъ не дѣлаетъ, а всегда стремится участвовать въ «дѣлѣ», переходитъ въ полкъ, отъ опасностей не уклоняется, даже ищетъ ихъ. Усваивать нравы передней главнокомандующихъ не можетъ—по самой своей натурѣ и т. д. и т. д.

нѣе—женою, какъ существомъ пустымъ, не подъ пару ему, неспособнымъ его понять), а также—средою, свѣтскимъ обществомъ. Мы слышимъ изъ его устъ рѣзкую критику этого общества, въ особенности его «прекрасной» половины [1]). Въ минуту такихъ припадковъ пессимизма кн. Андрей не щадитъ и себя самого. «Я теперь отправлюсь на войну»—говоритъ онъ—«на величайшую войну, какая только бывала, а я ничего не знаю и никуда не гожусь». (Гл. VI).—Эти слова, хотя и сказанныя въ минуту раздраженія, и плодъ явнаго преувеличенія, все-таки могутъ служить отчасти свидѣтельствомъ противъ ген. Драгомирова, такъ настойчиво выставляющаго на видъ необычайное якобы самомнѣніе кн. Андрея и въ то же время замалчивающаго его несомнѣнныя положительныя качества.

А между тѣмъ эти качества намѣчаются уже тутъ, въ этихъ первыхъ сценахъ, гдѣ выведенъ кн. Андрей. Правда, они именно только намѣчаются, а не проявляются въ дѣйствіяхъ, въ поступкахъ героя, но и этого пока достаточно, — подтвержденіе фактами явится въ свой чередъ. Пока мы, такъ сказать, со стороны (отъ автора) узнаемъ, что молодой Болконскій обладаетъ недюжинной силой воли, большой способностью работать и учиться, начитанностью (т. е. широкимъ образованіемъ: «онъ все читалъ, все зналъ») и, наконецъ, въ противуположность Пьеру, характеризуется отсутствіемъ способности къ «мечтательному философствованію». Толстой именно хочетъ внушить намъ взглядъ на князя Андрея, какъ на человѣка съ призваніемъ къ практической живой дѣятельности, съ которою такъ гармонируютъ только-что перечисленныя качества. И ужъ, конечно, не зря приписываетъ Толстой своему герою эти качества: такимъ онъ его задумалъ, — такимъ и является князь Андрей на различныхъ поприщахъ. Если-же, какъ указываетъ на это генералъ Драгомировъ, онъ оказывается въ концѣ-концовъ неудачникомъ, то это происходитъ не отъ пустоты [2]), не отъ недостатка выдержки и не отъ отсутствія настоящей силы (одну лишь претезію на силу усматриваетъ

---

[1]) «Ежели бы ты только могъ знать, что это такое всѣ эти свѣтскія женщины! Отецъ мой правъ. Эгоизмъ, тщеславіе, тупоуміе, ничтожество во всемъ—вотъ женщины...» (Гл. VI-я).

[2]) Ген. Драгомировъ между прочимъ говоритъ о немъ: «жаль его, человѣкъ до извѣстной степени (?) пожалуй даже способный и съ характеромъ, но практически пустой» (!) (стр. 40).

въ немъ критикъ), а совсѣмъ отъ другихъ причинъ, которыя выяснятся ниже.

Имѣя въ виду впослѣдствіи провести параллель между натурою кн. Андрея и натурою Пьера, запомнимъ здѣсь-же то, что говоритъ въ этой главѣ (VI) Толстой о различіи между ними. «Пьеръ считалъ князя Андрея образцомъ всѣхъ совершенствъ именно оттого, что кн. Андрей въ высшей степени соединялъ всѣ тѣ качества, которыхъ не было у Пьера и которыя ближе всего можно выразить понятіемъ силы воли... Ежели часто Пьера поражало въ Андреѣ отсутствіе способности мечтательнаго философствованія (къ чему особенно былъ склоненъ Пьеръ), то и въ этомъ онъ видѣлъ не недостатокъ, а силу».

Такимъ образомъ, коренное различіе между этими двумя натурами и съ тѣмъ вмѣстѣ сильныя стороны натуры Болконскаго указаны здѣсь въ достаточной опредѣленностью, и вся дальнѣйшая внутренняя и также мастерски согласованная съ нею внѣшняя исторія обоихъ главныхъ героевъ «Войны и Мира» является строго послѣдовательнымъ развитіемъ и фактическимъ подтвержденіемъ этой характеристики.

Встрѣчая вновь кн. Андрея въ концѣ I-й части I-го тома (главы XXIII—XXV), мы имѣемъ возможность наблюдать его дома, въ семьѣ, въ общеніи съ близкими и самыми дорогими для него лицами (отцомъ и сестрою). Здѣсь прежде всего привлекаетъ наше вниманіе слѣдующая, не даромъ отмѣченная черта: кн. Андрей (пріѣхавшій къ отцу въ его имѣніе Лысыя горы) входитъ въ комнату старика «не съ тѣмъ брезгливымъ выраженіемъ лица и манерами, которыя онъ напускалъ на себя въ гостинныхъ (и которыми, добавимъ отъ себя, онъ и ввелъ въ заблужденіе ген. Драгомирова), а съ тѣмъ оживленнымъ лицомъ, которое у него было, когда онъ разговаривалъ съ Пьеромъ» (гл. XXIII). Это—мелкая, но мѣткая черта, важная для пониманія натуры князя Андрея. Въ «гостинныхъ», въ «салонахъ» онъ «щурится», онъ преувеличенно вялъ и апатиченъ, вообще держится манерно и съ брезгливостью, которая кажется фатовствомъ, и все это потому, что тамъ онъ чувствуетъ себя, хотя и въ своей средѣ, но скверно, что тамъ все или многое ему претитъ, даже возмущаетъ его. Онъ не Чацкій, чтобы тутъже разразиться филиппиками. Взамѣнъ этого, онъ имѣетъ въ своемъ распоряженіи ту способность или ту слабость утрированнаго, манернаго демонстрированія своего превосходства, которая

есть одно изъ слагаемыхъ психологической сословной формы аристократизма. Ею-то онъ и пользуется, пожалуй даже — злоупотребляетъ. Почти также, только, конечно, уже безъ примѣси манерничанья и напускного фатовства, держится онъ съ женою: онъ почти не переноситъ ея женской пустоты, въ то-же время цѣня ея качества, какъ вѣрной жены и хорошаго человѣка (все это ясно показано въ сценѣ съ женою въ главѣ VI-й). Но съ людьми, которыхъ онъ цѣнитъ и уважаетъ, онъ совсѣмъ другой: съ ними онъ простъ, искрененъ откровененъ. Таковъ онъ съ отцомъ, сестрой, Пьеромъ. Ниже увидимъ, что таковъ-же онъ, напримѣръ, съ капитаномъ Тушинымъ, Тимохинымъ и друг. Князь Андрей уважаетъ и цѣнитъ тѣхъ, въ комъ онъ видитъ серьезное душевное содержаніе. Это человѣкъ, который менѣе всего руководится въ своихъ отношеніяхъ къ людямъ мотивомъ, схваченнымъ въ поговоркѣ: «не похорошу милъ, а помилу хорошъ». Для него «милъ» тотъ, кто, по его понятію, «хорошъ», а хорошъ тотъ, кто уменъ, содержателенъ, незауряденъ, честенъ, правдивъ, или, при небольшихъ умственныхъ силахъ, обладаетъ извѣстнымъ запасомъ убѣжденій, хорошо направленныхъ мыслей и серьезныхъ чувствъ, хотя-бы нѣкоторыя черты ума или характера человѣка и вызывали въ немъ критическое или ироническое отношеніе. «Мечтательное философствованіе» Пьера и соотвѣтственныя мысли его (напримѣръ, о войнѣ съ Наполеономъ) кажутся Андрею вздоромъ,—деспотизмъ, родовая спесь и разныя причуды отца вызываютъ въ немъ иронію и даже болѣе серьезный протестъ, сентиментальная набожность княжны Марьи служитъ предметомъ его благодушныхъ, впрочемъ, насмѣшекъ, но все это не мѣшаетъ ему цѣнить этихъ лицъ, какъ они того заслуживаютъ, не потому, что они его родные, близкіе, а потому, что они имѣютъ положительное душевное содержаніе, чего нѣтъ у его жены, у князя Василія, у многихъ лицъ «изъ общества». Для иллюстраціи сказаннаго укажу, напримѣръ, на сцены съ отцомъ, сестрой, отзывъ кн. Андрея объ отцѣ по поводу «генеалогическаго древа» и на превосходную сцену прощанія съ отцомъ (тѣ-же главы); здѣсь въ мелочахъ, тонѣ, манерѣ, разговорахъ ясно очерчивается то простое, задушевное и умное отношеніе князя Андрея къ отцу и сестрѣ, которое психологически-послѣдовательно вытекаетъ изъ только-что указанной мною основной черты его натуры.

Переходимъ ко II-й части I-го тома. Здѣсь, въ главѣ III-й, мы встрѣчаемъ кн. Андрея въ штабѣ Кутузова (кампанія 1805 г.). Какимъ онъ является здѣсь, какъ себя ведетъ и держитъ, объ этомъ сперва узнаемъ изъ прямого свидѣтельства Толстого. «Въ штабѣ Кутузова (читаемъ здѣсь), между товарищами сослуживцами и вообще въ арміи кн. Андрей, также какъ и въ петербургскомъ обществѣ, имѣлъ двѣ совершенно противуположныя репутаціи. Одни, меньшая часть, признавали кн. Андрея чѣмъ-то особеннымъ отъ себя и отъ всѣхъ другихъ людей, ожидали отъ него большихъ успѣховъ, слушали его, восхищались имъ и подражали ему; и съ этими людьми князь Андрей былъ простъ и пріятенъ. Другіе, большинство, не любили князя Андрея, считали его надутымъ, холоднымъ и непріятнымъ человѣкомъ. Но съ этими людьми кн. Андрей умѣлъ поставить себя такъ, что его уважали и даже боялись». (Глава III).

Все это показано на дѣлѣ въ рядѣ штабныхъ, лагерныхъ, военныхъ сценъ (столкновеніе кн. Андрея съ Жарковымъ [1]), гл. III, съ Николаемъ Ростовымъ, часть III, гл. VII и др.). Изъ этихъ сценъ особенно важны для характеристики кн. Андрея тѣ, гдѣ онъ встрѣчается съ капитаномъ Тушинымъ, котораго онъ сразу понялъ и полюбилъ. Въ гл. XX-ой (II-ой части) онъ выступаетъ энергичнымъ защитникомъ храбраго на войнѣ и робкаго среди штабныхъ офицеровъ капитана передъ Багратіономъ, которому представили дѣйствія Тушина въ неблагопріятномъ видѣ. Здѣсь князь Андрей является въ очень симпатичномъ свѣтѣ,—какъ и вообще все время его пребыванія въ отрядѣ Багратіона. Своимъ серьезнымъ отношеніемъ къ дѣлу, стараніемъ во все вникнуть, исполнить свою обязанность какъ можно лучше, наконецъ, храбростью, онъ рѣзко выдѣляется изъ ряда другихъ штабныхъ офицеровъ, — и только въ силу явно предвзятаго и пристрастнаго къ нему отношенія ген. Драгомировъ могъ поставить его на одну доску съ этими послѣдними.

Къ этому же періоду въ жизни Болконскаго, когда онъ участвовалъ въ компаніи 1805 года, относится крайнее развитіе въ немъ одной изъ основныхъ чертъ его сложной натуры—

---

[1]) Толстой, гдѣ нужно, не щадитъ своего героя, и въ этой сценѣ съ Жарковымъ заставляетъ его ужъ очень «ломаться» и даже нарочно коверкать русскій языкъ, какъ это дѣлали зачастую въ ту эпоху наши аристократы, притворявшіеся плохо говорящими по-русски. Это была особая мода и особый «тонъ» и «шикъ».

честолюбія. Князь Андрей лелѣялъ честолюбивыя мечты— отличиться такъ, чтобы обрѣсти свой «Тулонъ», т.-е., иронически замѣчаетъ ген. Драгомировъ, «попасть въ Наполеоны». Когда онъ узналъ отъ дипломата Билибина (въ Брюннѣ, куда былъ посланъ съ рапортомъ къ австрійскому императору), «что русская армія находится въ безнадежномъ положеніи, ему пришло въ голову, что ему-то именно и предназначено вывести русскую армію изъ этого положенія, что вотъ онъ тотъ Тулонъ, который выведетъ его изъ рядовъ неизвѣстныхъ офицеровъ и откроетъ ему первый путь къ славѣ! Слушая Билибина, онъ соображалъ уже, какъ, пріѣхавъ къ арміи, онъ на военномъ совѣтѣ подастъ мнѣніе, которое одно спасетъ армію, и какъ ему одному будетъ поручено исполненіе этого плана» (Ч. II, гл. XII). Сурово осуждая кн. Андрея за эти честолюбивыя мечты не по заслугамъ, ген. Драгомировъ упускаетъ изъ виду, что эти пылкія мечты, однако, отнюдь не побуждаютъ кн. Андрея оберегать себя отъ опасностей, держаться при штабѣ на безопасныхъ пунктахъ, вращаться исключительно среди сильныхъ міра сего, гдѣ при его связяхъ и положеніи въ свѣтѣ онъ всегда имѣлъ возможность выдвинуться. Напротивъ, кн. Андрей хочетъ быть при дѣлѣ, для чего и отпрашивается у Кутузова въ отрядъ Багратіона, и, наконецъ, въ Аустерлицкомъ сраженіи, описанномъ въ гл. XVI-ой и XVII-ой, III-ей части, бросается впередъ со знаменемъ въ рукѣ, увлекая за собою разстроенный баталіонъ, и падаетъ раненый. Такъ не ведутъ себя пустые штабные карьеристы, какимъ выставляетъ князя Андрея ген. Драгомировъ.

Во второмъ томѣ мы впервые встрѣчаемъ кн. Андрея въ VIII-ой гл. I-ой части, гдѣ съ потрясающей простотою и удивительной пластикою изображенія разсказаны важныя событія изъ личной жизни героя. Это именно его внезапный пріѣздъ къ отцу, который считалъ его убитымъ, рожденіе ребенка и смерть жены. Здѣсь натура кн. Андрея ярко выступаетъ какъ бы сама собою изъ краткаго, почти лаконическаго изображенія того, какъ онъ себя держалъ въ это время. Все это воспроизведено безъ помощи психологическаго анализа, на который такъ щедръ Толстой и въ которомъ онъ такой мастеръ. Въ замѣнъ психологическаго анализа Толстой съ огромнымъ эффектомъ примѣняетъ здѣсь другой пріемъ,—такъ сказать, скульптурный, пластическій— тотъ самый, которымъ изображенъ (не только въ этихъ сценахъ, но и вообще) старый князь Болконскій. Фамильныя черты и

родство натуръ у отца и у сына выступаютъ здѣсь, благодаря этому единству манеры письма, тѣмъ ярче и нагляднѣе.

Подъ вліяніемъ всего, что испыталъ кн. Андрей на войнѣ и дома, онъ впалъ въ мрачное, угнетенное настроеніе, въ которомъ и засталъ его Пьеръ Безуховъ, пріѣхавшій навѣстить своего друга въ его богучаровскомъ уединеніи. Это свиданіе разсказано въ главѣ XI-ой II-ой части II-го тома. Здѣсь мы видимъ князя Андрея въ новомъ свѣтѣ и, между прочимъ, не можемъ не отмѣтить лишній разъ сходства его натуры съ натурою его отца, сходства, выступающаго въ данномъ мѣстѣ съ особливой наглядностью. Это обусловливалось отчасти тѣмъ, что теперь кн. Андрей, въ силу сложившихся обстоятельствъ, сталъ въ положеніе, отчасти аналогичное тому, въ какомъ находился по необходимости старикъ Болконскій,—положеніе не у дѣлъ, при полномъ разочарованіи какъ въ общемъ ходѣ событій и въ лицахъ, имъ заправлявшихъ, такъ и въ возможности осуществленія собственныхъ честолюбивыхъ плановъ. Князь Андрей переживалъ тяжелый душевный кризисъ, одно изъ тѣхъ состояній подавленности и раздраженія, которыя характеризуются рѣзкою перемѣною въ соотносительномъ расположеніи душевныхъ элементовъ и въ обостреніи нѣкоторыхъ чертъ натуры, въ обыкновенное время затушеванныхъ воздѣйствіемъ разныхъ внутреннихъ мотивовъ и внѣшнихъ вліяній, теперь отсутствующихъ. При такомъ кризисѣ человѣкъ ищетъ уединенія и замыкается въ себѣ. Онъ охладѣваетъ къ людямъ, даже близкимъ, устраняется отъ жизни, отъ общества и углубляется въ упорную внутреннюю работу надъ извѣстными мыслями, его осаждающими, и чувствами, большею частью горькими, во власти которыхъ онъ находится теперь. Тогда происходитъ нѣчто въ родѣ самоотравы ядомъ собственныхъ мыслей и чувствъ. И этотъ ядъ выдѣляется изъ разныхъ областей духа, какъ изъ положительнаго содержанія души, такъ и изъ ея формы. Извѣстные элементы перваго, являющіеся при нормальномъ состояніи качествами положительными (напр., сознаніе своего достоинства, гордость), становятся въ этомъ отравленномъ состояніи недостатками; мотивы (напр. честолюбіе), которые прежде направляли стремленія человѣка въ хорошую сторону и обѣщали сдѣлать изъ него величину съ большою общественною стоимостью, теперь даютъ или грозятъ дать результаты отрицательные. Съ тѣмъ вмѣстѣ черты, принадлежащія психологической формѣ (напр. сословной), прежде не

вторгавшіяся въ положительное содержаніе души, а потому и не квалифицировавшіяся съ точки зрѣнія нравственной, теперь оживаютъ въ сознаніи, проникаютъ въ сферу чувства и воли и, окрашивая собою внутренній міръ человѣка, проявляются такъ, что даютъ поводъ къ нравственной оцѣнкѣ, зачастую по необходимости приводящей къ болѣе или менѣе неблагопріятному вердикту. Въ такомъ именно состояніи душевнаго упадка и самоотравы и находился кн. Андрей въ разсматриваемый моментъ. Пьера «поразила происшедшая въ немъ перемѣна. Слова были ласковы, улыбка была на губахъ и лицѣ князя Андрея, но взглядъ былъ потухшій, мертвый... взглядъ этотъ и морщинка на лбу, выражавшіе долгое сосредоточеніе на чемъ-то одномъ, поражали и отчуждали Пьера...» (гл. XI).—Съ Пьеромъ, котораго онъ всегда такъ любилъ, съ которымъ всегда былъ такъ откровененъ, «онъ не чувствовалъ теперь ничего общаго» и они бесѣдуютъ—«какъ люди мало близкіе другъ къ другу» (ib).—Таковы внѣшніе симптомы перемѣны, происшедшей въ кн. Андреѣ,—сущность же ея ярко выражается въ слѣдующемъ.

Князь Андрей всегда былъ аристократъ, большой баринъ. Это прежде всего—сословная форма его психики. Раньше она, оставаясь формою, не приводила къ соотвѣтственнымъ чисто-сословнымъ идеямъ, къ аристократическимъ стремленіямъ. Согласно свойствамъ своей натуры, Болконскій стремился къ широкой дѣятельности и мечталъ о славѣ, но въ этихъ стремленіяхъ и мечтахъ онъ отнюдь не руководился чисто-сословными идеалами. Теперь же, въ моментъ постигшаго его душевнаго кризиса, въ состояніи замкнутости и отчужденности, классовая форма психики проявляется у него такъ, какъ будто она не только—форма, но и часть душевнаго содержанія. Презрѣніе къ обществу и къ мужику выступаетъ рѣзкими, рѣжущими ухо звуками и производитъ впечатлѣніе диссонанса.—«Я бы радъ ничего не дѣлать»—говоритъ онъ Пьеру,—«а вотъ съ одной стороны дворянство здѣшнее удостоило меня чести избранія въ предводители: я насилу отдѣлался. Они не могли понять, что во мнѣ нѣтъ того, что нужно, нѣтъ этой извѣстной добродушной и озабоченной пошлости, которая нужна для этого».—Для мужика, по его словамъ, единственное возможное счастье есть счастье животное. «... Ежели ихъ бьютъ, сѣкутъ, посылаютъ въ Сибирь, то я думаю (говоритъ онъ), что имъ отъ этого нисколько не хуже. Въ Сибири ведетъ онъ ту-же скотскую жизнь, а рубцы на тѣлѣ

заживаютъ, и онъ также счастливъ, какъ и былъ прежде» (гл. XI).—«Князь Андрей (говоритъ Толстой) высказывалъ свои мысли такъ ясно и отчетливо, что видно было:—онъ не разъ думалъ объ этомъ, и онъ говорилъ охотно и быстро, какъ человѣкъ, долго не говорившій. Взглядъ его оживлялся тѣмъ больше, чѣмъ безнадежнѣе были его сужденія».—Замѣчаніе это намекаетъ на то, что парадоксы и рѣзкія сужденія кн. Андрея не были случайными lapsus linguae, обмолвкою, желчной выходкой, что онъ много и упорно думалъ на эти темы въ своемъ одиночествѣ и какъ-бы нарочито и злорадно растравлялъ въ себѣ душевную рану, пока накопившійся ядъ и вся боль души не вылились въ формѣ этихъ безотрадныхъ и недобрыхъ мыслей. Онъ доказываетъ Пьеру, что мужикъ счастливъ въ своемъ убожествѣ, въ своей темнотѣ, умственной и нравственной, и другого счастья онъ не хочетъ и не достоинъ, что даже нелѣпо лѣчить крестьянъ, заводить больницу. «Гораздо покойнѣй и проще ему умереть. Другіе родятся, и такъ ихъ много»,—продолжаетъ растравлять свою рану кн. Андрей.—«Ежели бы ты жалѣлъ, что у тебя лишній работникъ пропалъ, какъ я смотрю на него», уже явно клевещетъ онъ на себя,—«а то ты изъ любви же къ нему его хочешь лѣчить...» Наконецъ, онъ договаривается до вывода, что освобожденіе крестьянъ нужно не для нихъ самихъ, а для успокоенія совѣсти рабовладѣльцовъ: «оно (говоритъ онъ) нужно для тѣхъ людей, которые гибнутъ нравственно, наживаютъ себѣ раскаяніе, подавляютъ это раскаяніе и грубѣютъ отъ того, что у нихъ есть возможность казнить право и неправо. Вотъ кого мнѣ жалко и для кого бы я желалъ освободить крестьянъ...»

Эти жестокія слова, представляющіяся плодомъ изощреннаго сословнаго эгоизма, который хуже наивнаго, производятъ въ устахъ кн. Андрея впечатлѣніе какого-то крика отъ боли, какой-то клеветы на себя или жестокаго самобичеванія. Такъ, повидимому, чувствовалъ Пьеръ,—и не вѣрилъ, чтобы это были настоящія, подлинныя мысли кн. Андрея. Такъ чувствуемъ и мы и думаемъ, что князь Андрей только въ припадкѣ душевнаго угнетенія могъ ихъ высказывать, что они были выраженіемъ не подлинныхъ его убѣжденій, а только того самоотравленнаго, пессимистическаго состоянія, въ которомъ онъ находился въ данное время. Что даетъ намъ право такъ думать? Во-первыхъ, то общее представленіе о князѣ Андреѣ, которое возникаетъ изъ

совокупности всего, что мы о немъ знаемъ, во-вторыхъ, его поступки во время самаго «кризиса»,—хронологически совпадающіе съ только-что приведенными взглядами, но явно имъ противорѣчащіе (о нихъ ниже); это противорѣчіе недобрыхъ мыслей и добрыхъ дѣлъ показываетъ, что «взгляды» не шли далеко вглубь, не имѣли значенія императива, заправляющаго волею, что они были не болѣе какъ внѣшнею и болѣзненною накипью. Наконецъ, во третьихъ, мы имѣемъ въ своемъ распоряженіи слѣдующаго рода діагнозъ: если спорное душевное состояніе (*а*) связано узами тѣсной психической ассоціаціи съ другимъ проявленіемъ (*б*), а это послѣднее очевидно и безспорно оказывается ненормальнымъ, не вытекающимъ изъ натуры человѣка, а лишь временнымъ и преходящимъ, то и первое—*а*—должно быть таковымъ же, хотя бы по нѣкоторымъ пунктамъ оно могло казаться согласнымъ съ натурою субъекта, напр. съ его сословной психикой или наслѣдственными чертами. У кн. Андрея роль второго проявленія, — *б* — играетъ слѣдующее: «я живу и въ этомъ не виноватъ, стало быть, надо какъ-нибудь получше, никому не мѣшая, дожить до смерти», говорить онъ Пьеру въ отвѣтъ на восклицаніе послѣдняго: «Ахъ это ужасно, ужасно. Я не понимаю, какъ можно жить съ такими мыслями!» — Нѣсколько выше онъ говоритъ: «я жилъ для славы (вѣдь что же слава? — та-же любовь къ другимъ, желаніе сдѣлать для нихъ что-нибудь, желаніе ихъ похвалы). Такъ я жилъ для другихъ, и не почти, а совсѣмъ погубилъ свою жизнь. И съ тѣхъ поръ сталъ спокойнѣе, какъ живу для одного себя». И еще (выше): «я знаю въ жизни только два дѣйствительныя несчастья: угрызеніе совѣсти и болѣзнь. И единственное благо есть отсутствіе этихъ двухъ золъ. Жить для себя, избѣгая только этихъ двухъ золъ,—вотъ вся моя мудрость теперь».

Вотъ этой-то «мудрости» ни Пьеръ, ни мы ужъ рѣшительно повѣрить не можемъ, т.-е. не можемъ смотрѣть на нее, какъ на органическое стремленіе, вытекающее изъ самой натуры кн. Андрея въ ея нормальномъ состояніи. Это стремленіе замкнуться въ эгоистическомъ существованіи для себя и своей семьи, имѣя цѣлью только спокойствіе совѣсти, этотъ родъ воздержанія отъ жизни, родъ недѣланія—стоитъ въ явномъ противорѣчіи съ натурою кн. Андрея, съ основными чертами его характера, темперамента, склада ума. Оно не вяжется прежде всего съ особенностями его волевого уклада. Человѣкъ съ сильной волею, съ

жаждой власти, съ даромъ авторитарности, человѣкъ, такъ импонирующій другимъ, такъ умѣющій подчинять себѣ людей, какъ Болконскій, могъ питать и высказывать этотъ эгостическій, лично-нравственный идеалъ «жизни для себя» только въ состояніи ненормальномъ. Ненормальность для него подобныхъ стремленій обнаруживается имъ самимъ путемъ своего рода reductio ad absurdum, путемъ предъявленія крайняго вывода изъ развиваемыхъ имъ взглядовъ,—вывода, который оказывается очевидно-невозможнымъ: это именно то, что говоритъ кн. Андрей о своемъ будто-бы безповоротномъ рѣшеніи не принимать участія въ войнѣ,—а это рѣшеніе, очевидно, невозможно для Болконскаго уже потому, что непремѣнно привело-бы къ «угрызеніямъ совѣсти», т.-е. тому «единственному» злу, о которомъ онъ только что говорилъ. На вопросъ Пьера «отчего вы не служите въ арміи?»—кн. Андрей отвѣчаетъ: «Послѣ Аустерлица? Нѣтъ, покорно благодарю, я далъ себѣ слово, что служить въ дѣйствующей русской арміи не буду. И не буду, ежели-бы Бонапарте стоялъ тутъ, у Смоленска, угрожая Лысымъ Горамъ,—и тогда бы я не сталъ служить въ русской арміи...»—Вотъ это и есть очевидное reductio ad absurdum второго душевнаго проявленія (*б*), которое, впрочемъ, и само по себѣ представляется наноснымъ и временнымъ. Если же это такъ, то и первое проявленіе (*а*—презрѣніе и жестокое—на словахъ—отношеніе къ народу, утрированное барство, уже не какъ форма, а какъ содержаніе) должно быть признано таковымъ-же, ибо оба тѣсно связаны психологически, обнаруживаются и дѣйствуютъ вмѣстѣ, помогая другъ другу.

И въ самомъ дѣлѣ, мы видимъ, что дѣйствительное (фактическое) отношеніе кн. Андрея къ народу совсѣмъ не таково, какъ можно было-бы ожидать по высказаннымъ имъ взглядамъ. Оказывается, что къ мужикамъ кн. Андрей относится такъ-же гуманно, просвѣщенно и филантропически, какъ и Пьеръ, только безъ его «мечтательности» и съ большимъ умѣніемъ провести на дѣлѣ задуманныя въ пользу народа новшества. Въ теченіе своего двухлѣтняго угрюмаго затворничества въ деревнѣ, кн. Андрей осуществилъ цѣлый рядъ важныхъ и смѣлыхъ по тому времени мѣропріятій. «Всѣ тѣ предпріятія по имѣніямъ, которыя затѣялъ у себя Пьеръ и не довелъ ни до какого результата, безпрестанно переходя отъ одного дѣла къ другому, всѣ эти предпріятія, безъ высказыванія ихъ кому бы то ни

было и безъ замѣтнаго труда, были исполнены княземъ Андреемъ. Онъ имѣлъ въ высшей степени ту недостававшую Пьеру практическую цѣпкость, которая, безъ размаховъ и усилій съ его стороны, давала движеніе дѣлу. Одно имѣніе его въ триста душъ крестьянъ было перечислено въ вольные хлѣбопашцы (это былъ одинъ изъ первыхъ примѣровъ въ Россіи), въ другихъ барщина замѣнена оброкомъ. Въ Богучарово была выписана на его счетъ ученая бабка для помощи родильницамъ, и священникъ за жалованіе обучалъ дѣтей крестьянскихъ и дворовыхъ грамотѣ». (Ч. III-я, гл. I).

III.

Въ первыхъ трехъ главахъ III-й части этого (II-го) тома Толстой изображаетъ намъ съ обычнымъ мастерствомъ и на этотъ разъ съ примѣненіемъ психологическаго анализа процессъ постепеннаго возстановленія душевныхъ силъ князя Андрея. Рѣшительный поворотъ произошелъ во время поѣздки князя въ рязанскія имѣнія и оттуда къ Ростовымъ. Скорѣйшему возстановленію душевнаго равновѣсія содѣйствовали впечатлѣнія весны, картина пробуждающейся къ новой жизни природы и обаяніе женской натуры Наташи, этой жизнерадостной и страстной дѣвушки, полной заразительной жажды любви и счастья. Толстой слѣдитъ шагъ за шагомъ за всѣми моментами душевнаго возрожденія своего героя,—и эти страницы стоятъ того, чтобы на нихъ остановиться. Дорогою, видъ стараго дуба, казалось, не возрождающагося къ новой жизни, словно ее отрицающаго, навѣялъ—по ассоціаціи представленій—на кн. Андрея рядъ все еще «безнадежныхъ», но уже не озлобленныхъ, не мрачныхъ, а «грустно-пріятныхъ» мыслей,—«Да, онъ правъ, тысячу разъ правъ этотъ дубъ—думалъ кн. Андрей:—пускай другіе, молодые, вновь поддаются на этотъ обманъ, а мы знаемъ жизнь, наша жизнь кончена!» (гл. I). Онъ повидимому укрѣпляется въ прежней душевной позиціи, но въ глубинѣ души ледъ ужъ растаялъ, и нуженъ былъ только какой-нибудь толчекъ извнѣ, чтобы процессъ возстановленія душевныхъ силъ быстро пошелъ впередъ.

Подъѣзжая къ Отрадненскому дому Ростовыхъ, Болконскій увидалъ бѣгущую наперерѣзъ его коляски толпу дѣвушекъ. «Впереди другихъ ближе подбѣгала къ коляскѣ черноволосая, очень тоненькая, странно-тоненькая, черноглазая дѣвушка...»—

Рѣзкій контрастъ между этой эмблемой самодовлѣющей радости жизни и тѣмъ грустно-тихимъ состояніемъ духа, въ которомъ находился кн. Андрей, и которое уже не было летаргіею души, а было симптомомъ ея пробужденія,—этотъ контрастъ сразу отозвался въ душѣ князя Андрея: «ему вдругъ стало отчего-то больно». Эта боль была не что иное, какъ—уже не тихая,—а живая скорбь о томъ, что онъ ушелъ отъ жизни, отрекся отъ ея радостей, отъ все-завлекающихъ ея интересовъ и миражей, какъ-бы заживо похоронилъ себя,—а между тѣмъ эта жизнь, съ ея интересами, ея миражами, всетаки существуетъ и вѣчно будетъ существовать, дразня и маня куда-то вдаль, въ погоню за тѣмъ, что еще такъ недавно обезцѣнилось въ глазахъ кн. Андрея, а теперь вотъ опять назойливо мелькаетъ передъ его умственнымъ взоромъ и шепчетъ неясныя рѣчи о счастьѣ, о любви, о стремленіяхъ, о трудѣ, о славѣ. Вотъ и сейчасъ оно яркимъ метеоромъ промелькнуло передъ нимъ въ образѣ этой черноволосой, «странно-тоненькой», точно молоденькое деревцо, дѣвушки, которая «такъ счастлива какою-то своею, отдѣльною, вѣрно глупою, но веселою и счастливою жизнью». «Чему она такъ рада, о чемъ она думаетъ?.. И чѣмъ она счастлива?—невольно съ любопытствомъ спрашивалъ себя князь Андрей».

Въ теченіе скучнаго дня, проведеннаго у Ростовыхъ, кн Андрей, «нѣсколько разъ взглядывая на Наташу, чему-то смѣявшуюся, веселившуюся между другою, молодою половиною общества, все спрашивалъ себя: О чемъ она думаетъ? Чему она такъ рада?»

Эти мысли и вся ихъ боль съ новою силою овладѣли душою кн. Андрея, когда ночью онъ открылъ ставни, и «лунный свѣтъ, какъ будто онъ насторожѣ, у окна давно ждалъ этого, ворвался въ комнату. Онъ отворилъ окно». Наверху, надъ его окномъ, слышны были женскіе голоса. Наташа и Соня изъ окна своей комнаты любовались ночью и луной. Эти дѣвичьи голоса, восторги Наташи, споръ съ Соней, которая тащила ее спать, возня и борьба, пропѣтая музыкальная фраза—все это взволновало и разбудило дремлющую душу кн. Андрея наплывомъ тѣхъ-же мыслей, тѣхъ-же вопросовъ,—неясной формулой неясныхъ чувствъ. «И дѣла нѣтъ до моего существованія! думалъ онъ, и въ душѣ его вновь поднялась неожиданная путаница молодыхъ мыслей и надеждъ, противорѣчащихъ всей его жизни...» (гл. II).

На обратномъ пути кн. Андрей опять увидѣлъ тотъ дубъ, который тогда своимъ угрюмымъ видомъ такъ гармонировалъ съ

его пессимистическимъ настроеніемъ. Теперь онъ, «весь преображенный, раскинувшись шатромъ сочной, темной зелени, млѣлъ, чуть колыхаясь въ лучахъ вечерняго солнца». При видѣ возрожденія стараго дуба, на кн. Андрея «нашло безпричинное, весеннее чувство радости и обновленія.—Нѣтъ, жизнь не кончена въ 31 годъ, — вдругъ окончательно, безперемѣнно рѣшилъ кн. Андрей».

И какъ человѣкъ мыслящій, съ большой склонностью къ рефлексіи, съ потребностью разобраться въ томъ, что происходитъ въ его душѣ, кн. Андрей вникаетъ и на этотъ разъ въ броженіе души своей и, анализируя его, подводитъ ему такой итогъ: «Мало того, что я знаю все то, что есть во мнѣ, надо, чтобъ и всѣ знали это: и Пьеръ, и эта дѣвочка... надо, чтобы всѣ знали меня, чтобы не для меня одного шла моя жизнь, чтобы не жили они такъ независимо отъ моей жизни, чтобы на всѣхъ она отражалась и чтобы всѣ они жили со мной вмѣстѣ!»

Такъ темное, стихійное, нелогическое броженіе возрождающейся души кн. Андрея отразилось въ его сознаніи—тамъ, гдѣ верхній слой психики, называемый мыслью, организуется въ логическую, раціональную дѣятельность ума. Здѣсь, въ этой «свѣтлой» точкѣ, темныя движенія души переработались въ ясную формулу, которая, какъ вообще многія операціи сознательной мысли, приняла обличье извѣстной постановки и рѣшенія вопроса и вмѣстѣ съ тѣмъ должна была стать основаніемъ и движущимъ мотивомъ дальнѣйшаго движенія душевныхъ силъ. Но пока броженіе въ глубинѣ души все еще такъ смутно, такъ неопредѣлимо, такъ расплывчато,—и формула, ему отвѣчающая въ сознаніи, по необходимости остается общей, неопредѣленной, непріуроченной и не приспособленной къ практическому рѣшенію задачи. Она гласитъ: хочу жить! Жить—вообще, вмѣстѣ съ другими, такъ чтобы другіе раздѣляли мою жизнь, а я—ихъ жизнь. Но какъ именно жить, что дѣлать, къ чему стремиться, въ какихъ отношеніяхъ другіе должны раздѣлять жизнь кн. Андрея и т. д.—всѣ эти вопросы остаются пока невыясненными и нерѣшенными. Но толчокъ данъ, мысль уже движется въ извѣстномъ направленіи и въ свое время придетъ къ постановкѣ и рѣшенію этихъ практическихъ задачъ.

Въ видахъ объясненія сложной натуры кн. Андрея, мы—въ связи съ разбираемымъ здѣсь его душевнымъ состояніемъ—по-

ставимъ вопросъ, который можно формулировать такъ: будутъ-ли тѣ рѣшенія, тѣ практическіе выводы, къ которымъ онъ придетъ, прямымъ продуктомъ начавшейся сознательной работы мысли—безъ видимаго или сколько-нибудь значительнаго участія нелогическихъ душевныхъ состояній, или-же этимъ-то послѣднимъ и впредь, когда уже уляжется броженіе его души, будетъ принадлежать львинная доля въ постановкѣ, въ направленіи, въ рѣшеніи его жизненныхъ задачъ? Если судить по симптомамъ, которые обнаруживались во время вышеописаннаго кризиса, то придется сказать, что у князя Андрея сфера сознательной, логической мысли находится въ тѣсной зависимости отъ той, которую я называю нелогической, ирраціональной—отъ сферы чувствъ, настроеній, темныхъ броженій души; онъ развивалъ и высказывалъ тогда мысли—какъ-бы не свои, не своего ума, а внушенныя переживавшимся имъ настроеніемъ. Правда, онъ находился тогда въ состояніи ненормальномъ. Посмотримъ-же, каково соотношеніе у него этихъ двухъ сферъ, раціональной и ирраціональной, во-первыхъ, въ періодъ возстановленія его душевнаго равновѣсія, и во-вторыхъ, въ нормальномъ состояніи. Что касается перваго, то Толстой въ гл. III-й даетъ намъ ясныя указанія, намѣчаетъ симптомы, по которымъ мы можемъ заключить, что въ этотъ періодъ, какъ и во время „кризиса“, умъ кн. Андрея, работая съ лихорадочной напряженностью, находился подъ давленіемъ и внушеніемъ того, что происходило въ нелогической сферѣ. Тамъ броженіе идетъ crescendo, и все сильнѣе разгорается пламя неясныхъ чувствъ, непонятныхъ смущеній, тайной тревоги; это броженіе, не поддающееся логическому учету, скорѣе моглобы (будь кн. Андрей натура художественная) найти себѣ исходъ въ поэтическихъ образахъ, примѣрно—на мотивъ Огарева:

Чего хочу, чего? О, такъ желаній много,
Такъ къ выходу ихъ силѣ нуженъ путь,
Что кажется порой, ихъ внутренней тревогой
Сожжется мозгъ, и разорвется грудь!..

Но князь Андрей—не поэтъ. Онъ человѣкъ анализа, логическихъ привычекъ и вкусовъ мысли. Онъ также человѣкъ практическаго дѣла. Оттого это броженіе разрѣшается у него напряженной работой самоанализа, попытками уяснить себѣ практическій вопросъ: „что дѣлать?“ и соотвѣтственными волевыми актами. Въ результатѣ получается практическое рѣшеніе ѣхать въ Петербургъ и искать тамъ дѣятельности, подходящей къ его

идеямъ и стремленіямъ. „Цѣлый рядъ разумныхъ, логическихъ доводовъ, почему ему необходимо ѣхать въ Петербургъ и даже служить, ежеминутно былъ готовъ къ его услугамъ... Ему казалось ясно, что всѣ его опыты жизни должны были пропасть даромъ и быть безсмыслицей, ежели-бы онъ не приложилъ ихъ къ дѣлу и не принялъ опять дѣятельнаго участія въ жизни“. Въ такой постановкѣ вопроса и сказалась основная черта натуры кн. Андрея—его какъ-бы органическое стремленіе осуществить свою общественную стоимость, выразиться въ общественной жизни, какъ опредѣленная величина, какъ сила. Но уже тутъ мы догадываемся, а въ дальнѣйшемъ окончательно убѣдимся, что эта основная черта не есть единственная и задающая всему тонъ въ натурѣ кн. Андрея, что рядомъ съ нею столь-же властно звучатъ и другія струны, мѣшающія кн. Андрею быть законченнымъ типомъ общественнаго дѣятеля по преимуществу и по призванію. Для Пьера Безухова въ его стремленіяхъ къ дѣлу, къ работѣ для общаго блага, помимо разныхъ другихъ свойствъ его натуры, напр. слабости воли, является въ извѣстномъ смыслѣ помѣхою его склонность къ „мечтательному философствованію“. Для Андрея Болконскаго, столь приспособленнаго, казалось, по основнымъ чертамъ натуры, къ общественной дѣятельности, помѣхою служитъ нѣчто другое, нѣкоторый „иксъ“, который намъ предстоитъ опредѣлить. Мы подойдемъ къ этому опредѣленію довольно близко нѣсколько ниже, разбирая отношенія кн. Андрея къ Сперанскому. Пока замѣтимъ тотъ фактъ, что, несмотря на принятое рѣшеніе, онъ все еще продолжалъ „переживать тѣ неразумныя, невыразимыя словомъ, тайныя какъ преступленіе мысли, связанныя съ Пьеромъ, съ славой, съ дѣвушкой на окнѣ, съ дубомъ, съ женской красотой и любовью, которыя измѣнили всю его жизнь“. Неопредѣленные, тайные соблазны жизни, для которыхъ во время поѣздки раскрылась его душа, становятся теперь не то что яснѣе, а настойчивѣе,—и эта смута души, эта накипь хотѣній грозитъ отразиться въ сознаніи какимъ-то новымъ вопросомъ. „Формула“ (Петербургъ, служба, дѣятельность), поддержанная разсудкомъ и основной чертою натуры кн. Андрея, въ свою очередь сопротивляется натиску осложняющихъ элементовъ. Логическія привычки мысли и раціоналистическій складъ ума кн. Андрея съ своей стороны не хотятъ примириться съ самымъ фактомъ возникновенія всѣхъ этихъ запросовъ нелогической, ирраціональной сферы.

Возникаетъ внутренній разладъ, возгорается борьба между двумя сферами души,—и вотъ „въ эти-то минуты“ борьбы, „когда кто-нибудь входилъ къ нему, онъ бывалъ особенно сухъ, строго-рѣшителенъ и въ особенности непріятно-логиченъ... Онъ говорилъ (напр. съ княжной Марьей) съ особенною логичностью, какъ-бы наказывая кого-то за всю эту тайную, нелогичную, происходившую въ немъ, внутреннюю работу“. „Княжна Марья думала въ этихъ случаяхъ о томъ, какъ сушитъ мужчинъ эта умственная работа“ (гл. III).

IV.

Осенью князь Андрей переѣзжаетъ въ Петербургъ, гдѣ онъ съ обновленными силами принимается за дѣло, ища удовлетворенія своей жаждѣ дѣятельности на общую пользу и мечтая о видной роли въ обновлявшейся тогда государственной жизни Россіи. Во главѣ передового движенія стоялъ знаменитый Сперанскій. Князь Андрей, конечно, становится въ ряды сторонниковъ этого государственнаго дѣятеля. Главы IV—VI (III-я часть II-го тома), разсказывающія о жизни и дѣятельности (или, лучше попыткахъ дѣятельности) молодого Болконскаго въ Петербургѣ и объ отношеніяхъ его къ Сперанскому, принадлежатъ къ любопытнѣйшимъ мѣстамъ „Войны и Мира“ и являются весьма характерными для Толстого, какъ мыслителя, который уже тогда стоялъ—по нѣкоторымъ вопросамъ—на тѣхъ же точкахъ зрѣнія, дальнѣйшее развитіе которыхъ дало крайнюю тенденцію произведеній послѣдняго періода. Толстой явно не жалуетъ Сперанскаго, хотя, конечно не можетъ отказать ему въ своеобразномъ и выдающемся умѣ, энергіи и благихъ намѣреніяхъ. Но самый родъ умовъ и натуръ, къ которому Толстой причисляетъ Сперанскаго, глубоко антипатиченъ автору „Войны и Мира“. Это именно тотъ холодный, разсудочный, силлогистическій умъ который въ своей дѣятельности опирается на несокрушимую, но какъ думаетъ Толстой, ни на чемъ не основанную вѣру въ непогрѣшимость разума. Это—натура схоластика или прямолинейнаго раціоналиста, въ душѣ котораго нѣтъ созвучныхъ струнъ для пониманія не поддающихся разсудочному учету ирраціональныхъ силъ духа и жизни человѣческой [1]). „Вообще (читаемъ въ

---

[1]) Само собой разумѣется, я здѣсь характеризую Сперанскаго съ точки зрѣнія Толстого, оставляя въ сторонѣ вопросъ о томъ, правъ-ли,

гл. VI-ой) главная черта ума Сперанскаго, поразившая кн. Андрея, была несомнѣнная, непоколебимая вѣра въ силу и законность ума. Видно было, что никогда Сперанскому не могла прійти въ голову та обыкновенная для князя Андрея мысль, что нельзя всетаки выразить всего того, что думаешь, и никогда не приходило сомнѣніе въ томъ, что не вздоръ ли все то, что я думаю, и все то, во что я вѣрю?"—Въ этихъ словахъ уже данъ намекъ на коренное различіе между натурою Сперанскаго и натурою кн. Андрея. Оба—люди сильной воли, практическаго склада, оба призваны къ общественной роли. Оба—люди мыслящіе, съ большимъ умомъ, развитымъ широкимъ образованіемъ и воспитаннымъ въ духѣ раціоналистической философіи XVII-го вѣка. Но на этомъ и прекращается сходство. Огромное различіе между ними сводится къ тому, что у Сперанскаго (опять-таки—въ изображеніи Толстого) ирраціональная сфера души какъ-бы отдѣлена китайской стѣной отъ его ума, дѣйствующаго независимо отъ этой сферы, между тѣмъ какъ у Болконскаго именно въ послѣдней и сосредоточены могущественные импульсы, всегда вліяющіе на его умъ и опредѣляющіе то или другое направленіе его мысли. При этомъ наблюдается слѣдующее любопытное психологическое явленіе. Казалось бы, при независимости ума отъ ирраціональной сферы, отъ чувствъ, страстей, разныхъ стихійныхъ влеченій и броженій духа, у Сперанскаго, какъ онъ понятъ и нарисованъ Толстымъ, мы должны были бы встрѣтить большую свободу мысли, широту воззрѣнія, глубину пониманія вещей (хоть бы только въ сферѣ его дѣятельности, въ вопросахъ государственныхъ, въ вопросахъ реформъ, внутренней политики). Но этого-то мы и не видимъ, т. е. Толстой нарочито представляетъ намъ Сперанскаго человѣкомъ узкимъ, доктринеромъ. Мало того, эту узкость и доктринерство Толстой видимо приводитъ въ связь съ указанной независимостью ума Сперанскаго отъ его ирраціональной сферы. А эта независимость въ свою очередь обусловлена—по мысли Толстого—тѣмъ, что натура Сперанскаго неглубока и несложна, что въ его ирраціональной

или неправъ Толстой въ оцѣнкѣ этого выдающагося государственнаго человѣка. Для нашей задачи важенъ не подлинный Сперанскій, а то, какъ понялъ его Толстой. Въ пониманіи Сперанскаго Толстой сходится съ Н. И. Тургеневымъ, взглядъ котораго однако признается одностороннимъ. Ср. „La Russie et les russes", т. I, и мнѣніе А. Н. Пыпина („Общ. движ. при Ал. I").

сферѣ нѣтъ тѣхъ живыхъ силъ, дѣйствіе которыхъ порою можетъ нарушать безоблачность мысли, но зато даетъ широкую основу для ея творческой дѣятельности, или—лучше сказать—доставляетъ уму своего рода питаніе въ формѣ живыхъ чувствъ, отзывчивости на разнообразные импульсы извнѣ, воспріимчивости къ тонкимъ оттѣнкамъ духовной жизни, чутья дѣйствительности. Такой человѣкъ, въ сферѣ науки или философіи становится отрѣшеннымъ отъ жизни схоластикомъ, въ сферѣ практической дѣятельности—доктринеромъ и „бюрократомъ". Весьма возможно, что въ дѣйствительности Сперанскій (если не ошибаюсь,—лицо, не вполнѣ еще выясненное историками) не принадлежалъ къ этому типу, и Толстой въ данномъ случаѣ прегрѣшилъ передъ фактической истиной. Какъ бы то ни было, но въ фигурѣ Сперанскаго Толстой изобразилъ намъ россійскую бюрократическую разновидность того общеевропейскаго типа государственнаго дѣятеля—раціоналиста и доктринера, который былъ весьма распространенъ въ XVIII-мъ вѣкѣ. Этотъ типъ глубоко антипатиченъ Толстому, твердо стоящему, какъ извѣстно, на той точкѣ зрѣнія, что жизнь людей, обществъ, государствъ и народовъ слагается и течетъ по своимъ таинственнымъ законамъ, столь-же ирраціональнымъ и столь-же независимымъ отъ воли человѣка, какъ и законы природы. Смѣшонъ и жалокъ былъ бы тотъ естествоиспытатель—схоластикъ, который возымѣлъ бы дерзновенную мысль предписывать природѣ законы, выводя ихъ изъ собственнаго разума, изъ апріорныхъ и произвольныхъ общихъ положеній. Въ такомъ именно свѣтѣ и являются дѣятели-доктринеры XVIII-го вѣка, полагавшіе возможнымъ искусственно урегулировать и исправить жизнь народовъ, подгоняя ее подъ общія нормы, выведенныя разсудочнымъ путемъ изъ общихъ теоретическихъ посылокъ, даже изъ „общихъ мѣстъ" [1].— Эта точка зрѣнія и соотвѣтственная ей концепція Сперанскаго наглядно проявляются во всемъ, что говоритъ Толстой объ умѣ, о натурѣ, даже внѣшности и манерахъ знаменитаго государ-

---

1) Я лично склоненъ думать, что этотъ взглядъ на дѣятелей вѣка просвѣщенія и революціи, развитый такъ блистательно Тэномъ, не чуждъ преувеличенія. Допуская даже, что въ теоріи они всегда оставались доктринерами, мы однако видимъ, что на практикѣ они зачастую противорѣчили своимъ теоріямъ и дѣйствовали руководясь чутьемъ дѣйствительности, повинуясь давленію этой самой дѣйствительности, наконецъ—подъ импульсомъ страстей.

ственнаго человѣка, о томъ впечатлѣніи, которое онъ произвелъ на кн. Андрея, и въ особенности—въ изображеніи того, какъ и почему послѣдній въ концѣ концовъ разочаровался въ Сперанскомъ и пересталъ вѣрить въ плодотворность его дѣятельности.— Изъ сопоставленія натуры кн. Андрея съ натурою Сперанскаго съ особливой очевидностью обнаруживается, что, въ противоположность Сперанскому, у кн. Андрея діапазонъ ирраціональной сферы весьма значителенъ, и съ тѣмъ вмѣстѣ всегда на лицо давленіе этой сферы на мысль, и что, сообразно этому, изъ князя Андрея никогда не могъ бы выйти дѣятель-доктринеръ, реформаторъ-бюрократъ.

Прослѣдимъ съ нѣкоторыми подробностями отношенія кн. Андрея къ Сперанскому.

На первыхъ порахъ онъ былъ прямо очарованъ Сперанскимъ. И вотъ здѣсь-то, между прочимъ, мы и находимъ одно изъ бьющихъ въ глаза доказательствъ того, что кн. Андрей вовсе не пустой «аристократикъ», только умѣющій щуриться въ салонахъ и диллетантски ко всему относящійся. Его несомнѣнный аристократизмъ и родовая гордость отнюдь не внушаютъ ему, какъ внушали многимъ, презрительнаго и недоброжелательнаго чувства къ «parvenu» Сперанскому, «кутейнику» и «поповичу». Напротивъ, кн. Андрей, нисколько не смущаясь происхожденіемъ Сперанскаго и безконечно далекій отъ мелкихъ чувствъ по отношенію къ нему, обнаруживаетъ то восторженное обожаніе и поклоненіе, которыя такъ свойственны натурамъ высшаго порядка, ищущимъ своего «идеала». «Кн. Андрей (читаемъ въ гл. VI-ой) такое огромное количество людей считалъ презрѣнными и ничтожными существами, такъ ему хотѣлось найти въ другомъ живой идеалъ того совершенства, къ которому онъ стремился, что онъ легко повѣрилъ, что въ Сперанскомъ онъ нашелъ этотъ идеалъ разумнаго и добродѣтельнаго человѣка». Здѣсь-же Толстой мимоходомъ указываетъ другую любопытную черту изъ психологіи отношеній кн. Андрея къ Сперанскому: «ежели-бы Сперанскій былъ изъ того-же общества, изъ котораго былъ князь Андрей, того-же воспитанія и нравственныхъ привычекъ, то Болконскій скоро-бы нашелъ его слабыя человѣческія, не геройскія стороны, но теперь этотъ странный для него логическій складъ ума тѣмъ болѣе внушалъ ему уваженія, что онъ не вполнѣ понималъ его». Отсюда, между прочимъ, мы видимъ, что

кн. Андрей далеко не рабъ своей сословной формы; что принадлежность къ аристократіи крови и великосвѣтское воспитаніе ничуть не мѣшаютъ ему быть человѣкомъ внутренно-свободнымъ.—Отношеніе въ этотъ періодъ молодого аристократа къ полновластному «поповичу» и «семинаристу» кратко опредѣляются словами:«онъ видѣлъ въ немъ разумнаго, строгомыслящаго, огромнаго ума человѣка, энергіей и упорствомъ достигшаго власти и употребляющаго ее только для блага Россіи» [1]) (гл. VI).

Князь Андрей вошелъ въ лабиринтъ дѣловой петербургской жизни,—онъ сталъ въ ряды передовой (либеральной) партіи, предводимой Сперанскимъ, и былъ, казалось, на пути къ своимъ завѣтнымъ цѣлямъ, къ осуществленію своихъ честолюбивыхъ мечтаній. Но уже заблаговременно Толстой даетъ намъ понять, что лихорадочная дѣятельность, которая захватила его героя, была въ сущности призрачной, и что вскорѣ онъ неминуемо долженъ былъ въ ней разочароваться. «Механизмъ жизни (читаемъ въ гл. VI), распоряженіе дня такое, чтобы вездѣ поспѣть вовремя, отнимали большую долю самой энергіи жизни. Онъ (князь Андрей) ничего не дѣлалъ, ни о чемъ даже не думалъ и не успѣвалъ думать, а только говорилъ, и съ успѣхомъ говорилъ то, что онъ успѣлъ прежде обдумать въ деревнѣ». И кн. Андрей все глубже входилъ въ этотъ «механизмъ» петербургской жизни, и не успѣлъ онъ, какъ говорится, оглянуться, какъ уже, благодаря Сперанскому, очутился во главѣ какой-то «коммиссіи» и уже составляетъ «Права людей» по кодексамъ Наполеона и Юстиніана, воображая, что отъ этой бумажной работы русскіе люди въ самомъ дѣлѣ станутъ обладателями «правъ». Но червь сомнѣнія вскорѣ зашевелился въ немъ. Въ гл. XVIII-ой (той-же II-ой части II-го тома) разсказано, какъ нѣкій Бицкій, «служившій въ различныхъ коммиссіяхъ», «одинъ изъ тѣхъ людей, которые выбираютъ направленіе, какъ платье—по модѣ, но которые поэтому-то кажутся самыми горячими партизанами направленій»,—захлебываясь отъ дѣланнаго восторга, сообщилъ князю Андрею важную

---

[1]) Любопытно отмѣтить, что кн. Андрей, этотъ гордый, независимый, чуждый всякой робости, самоувѣренный человѣкъ, смутился при первой встрѣчѣ со Сперанскимъ: «... въ душѣ его что-то дрогнуло, какъ это бываетъ въ важныя минуты жизни. Было-ли это уваженіе, зависть, ожиданіе—онъ не зналъ». (Гл. V).

политическую новость, составляющую, по его славамъ, «величайшую эру въ нашей исторіи». «Эра» проявилась въ томъ, что государь сказалъ, что «совѣтъ и сенатъ суть государственныя сословія» и что «правленіе должно имѣть основаніемъ не произволъ, а твердыя начала, а «финансы должны быть преобразованы и отчеты быть публичны». Князь Андрей слушалъ и только удивлялся тому, что все это «не только не трогало его, но представлялось болѣе чѣмъ ничтожнымъ». И «самая простая мысль приходила ему въ голову: какое дѣло мнѣ и Бицкому, какое дѣло намъ до того, что государю угодно было сказать въ совѣтѣ? Развѣ все это можетъ сдѣлать меня счастливѣе и лучше?»—Слѣдующее за симъ описаніе раута у Сперанскаго, гдѣ присутствовалъ и Болконскій, доводитъ до конца изображеніе этого переворота въ отношеніяхъ кн. Андрея къ знаменитому государственному человѣку и всей партіи прогресса. И самъ государственный человѣкъ, и его сподвижники (въ числѣ которыхъ, кромѣ разныхъ Бицкихъ, былъ напр. и столь печально-извѣстный впослѣдствіи обскурантъ и ретроградъ Магницкій) показались кн. Андрею смѣшными и мелкими. Въ Сперанскомъ, въ его рѣчахъ, жестахъ, манерахъ ему все представляется теперь почти фальшивымъ. Прощаясь съ нимъ, «кн. Андрей смотрѣлъ близко въ эти зеркальные, непропускающіе къ себѣ глаза, и ему стало смѣшно, какъ онъ могъ ждать чего-нибудь отъ Сперанскаго и отъ всей дѣятельности, связанной съ нимъ, и какъ могъ онъ приписывать важность тому, что дѣлалъ Сперанскій».

Здѣсь съ необыкновенной мѣткостью схвачено слѣдующее явленіе, по опыту извѣстное всякому, кому приходилось разочаровываться въ людяхъ. Вы знали человѣка въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ и имѣли основанія считать его величиною положительной. Вы его идеализировали, и у васъ годами создалось извѣстное, какъ вамъ казалось, вполнѣ обоснованное и согласное съ дѣйствительностью, представленіе о немъ и вдругъ въ нѣсколько минутъ это субъективное построеніе рушится,—пелена спадаетъ съ глазъ,—и вамъ остается только удивляться собственной слѣпотѣ.

Само собой разумѣется, крушеніе идеализированнаго образа подготовлялось постепенно; но вы не замѣчали этой подготовки или не придавали особеннаго значенія тѣмъ частичнымъ ущербамъ, которымъ онъ подвергался. Вамъ казалось, что представленіе всетаки останется нерушимымъ—quand même; недаромъ

созидалось оно годами. И вотъ оно все еще держится—опираясь на внутреннее довѣріе, на интимное убѣжденіе въ томъ, что оно—не иллюзія. Его крушеніе неминуемо воспослѣдуетъ въ ту минуту, когда вдругъ это убѣжденіе потухнетъ, когда, въ силу какого-нибудь, повидимому, мелкаго наблюденія, случайно подвернувшейся чертѣ, процессъ разрушенія довершится однимъ рѣшительнымъ душевнымъ движеніемъ, моментально создающимъ полную увѣренность въ иллюзорности идеализированнаго представленія. И чѣмъ дольше держалась иллюзія, тѣмъ рѣшительнѣе будетъ ея паденіе и тѣмъ невозможнѣе возвращеніе къ ней. Предшествующіе годы являются теперь отрицательной величиною, и чѣмъ ихъ было больше, тѣмъ хуже для развѣнчаннаго представленія о человѣкѣ. Если идеализація была недолговременной (напр. длилась не годы, а мѣсяцы), эту роль времени съ успѣхомъ можетъ съиграть сила (интензивность) идеализаціи: чѣмъ сильнѣе идеализировалъ кн. Андрей Сперанскаго, чѣмъ больше ожидалъ отъ него, чѣмъ больше вѣрилъ въ его значеніе и призваніе, тѣмъ рѣшительнѣе и безповоротнѣе будетъ разочарованіе.

Такъ въ душѣ князя Андрея разрушился идеализированный образъ Сперанскаго,—и съ тѣмъ вмѣстѣ разсѣялись его иллюзіи относительно возможности плодотворной прогрессивной дѣятельности въ сферѣ петербургскаго бюрократизма и придворныхъ партій. Вернувшись съ раута домой, онъ сталъ провѣрять всю свою жизнь въ Петербургѣ, свою дѣятельность въ коммиссіяхъ, въ засѣданіяхъ, гдѣ много говорилось о формѣ и мало о сущности дѣла и т. д.,—и полное разочарованіе овладѣло имъ. «Онъ вспомнилъ о своей законодательной работѣ, о томъ, какъ онъ озабочено переводилъ на русскій языкъ статьи римскаго и французскаго свода, и ему стало совѣстно за себя. Потомъ онъ живо представилъ себѣ Богучарово, свои занятія въ деревнѣ, свою поѣздку въ Рязань, вспомнилъ мужиковъ, Дрона-старосту, и, приложивъ къ нимъ права лицъ, которыя онъ распредѣлялъ по параграфамъ, ему стало удивительно, какъ онъ могъ такъ долго заниматься такою праздною работой». (Гл. XVIII).

Я не разъ уже указывалъ на призваніе къ практическому, живому дѣлу (въ смыслѣ общественномъ и государственномъ), какъ на одну изъ основныхъ чертъ натуры князя Андрея. И вотъ, однако, оказывается, что для дѣятельности въ рядахъ пе-

редовой партіи, въ сотрудничествѣ съ Сперанскимъ, въ блестящее время царствованія Александра I, столь богатое многообѣщавшими начинаніями, князь Андрей рѣшительно не пригоденъ. Онъ съ жаромъ принялся за работу въ этой сферѣ, но скоро охладѣлъ, разочаровался и бросилъ ее. Мы знаемъ, что кн. Андрей даровитъ, трудолюбивъ, упоренъ въ преслѣдованіи поставленныхъ цѣлей, обладаетъ большой силой воли. Неужели-же не могъ онъ найти—въ эту эпоху—приложенія своимъ силамъ и дарованіямъ? Онъ разочаровался въ Сперанскомъ, но вѣдь онъ могъ пойти своей дорогой, могъ даже создать свою партію.

Вся натура кн. Андрея, какъ задумана она Толстымъ, такова, что для такой дѣятельности онъ не годится. И въ особенности, двѣ черты, органически-тѣсно связанныя съ его натурою, являются рѣшительнымъ, непреодолимымъ препятствіемъ, дѣлающимъ невозможнымъ приспособленіе кн. Андрея къ той сферѣ, гдѣ онъ долженъ былъ дѣйствовать. Это, во-первыхъ, его органическая потребность вѣрить въ то дѣло, которому онъ служитъ, и въ плодотворность своей работы для него. Князь Андрей—изъ числа тѣхъ, которые безъ этой вѣры не могутъ работать. Мы видѣли, что эту вѣру онъ потерялъ.—Другая черта, это—его прямолинейность и неспособность къ компромиссамъ. Князь Андрей менѣе всего оппортюнистъ. Да и могъ-ли онъ, при его нескрываемомъ презрѣніи къ людямъ душевно-мелкимъ и пошлымъ, дѣйствовать объ руку съ Бицкими и Магницкими?

Само собой разумѣется, встрѣча въ Петербургѣ съ Наташей Ростовой, быстро-развившееся чувство къ ней, обаяніе перспективы возможнаго личнаго счастья и наконецъ жажда жизни, богатой новыми захватывающими впечатлѣніями—ускорили и безъ того неизбѣжный разрывъ Андрея съ бюрократической сферою и партіей реформъ.—«Изъ чего я бьюсь, изъ чего хлопочу въ этой узкой, замкнутой рамкѣ, когда жизнь, вся жизнь со всѣми ея радостями открыта мнѣ?»—говорилъ онъ себѣ, думая о Наташѣ,—и сталъ строить «счастливые планы на будущее».—«Мнѣ надо пользоваться своею свободой, пока такъ много въ себѣ чувствую силы и молодости...» (гл. XIX).

V.

Переходимъ къ III-му тому. Здѣсь кн. Андрей показанъ намъ въ иномъ освѣщеніи, въ новой роли. Послѣ постигшаго его удара

(измѣна невѣсты) онъ ожесточился и снова замкнулся въ себѣ, но этотъ второй душевный кризисъ далеко не походилъ на первый. Теперь онъ не ищетъ забвенія въ одиночествѣ,—онъ его ищетъ въ кипучей дѣятельности; не безотрадно-горькія думы наполняютъ его душу,—онъ теперь во власти иного настроенія, въ которомъ видную роль играетъ злое чувство мести. Ему страстно хотѣлось встрѣтить, наконецъ, Курагина и дать волю накопившемуся запасу злобы. Всюду и постоянно отравляло его «сознаніе, что оскорбленіе еще не вымещено, что злоба не излита, а лежитъ на сердцѣ» (т. III, ч. I, гл. VIII). Онъ легко и по малѣйшему поводу раздражался, и однимъ изъ послѣдствій такого желчнаго состоянія была ссора съ отцомъ, разсказанная въ гл. VIII-ой. Не трудно видѣть, что въ другое время онъ былъ-бы сдержаннѣе со старикомъ, котораго онъ любилъ и чтилъ (это и была первая ссора съ нимъ), и съумѣлъ-бы своимъ тактичнымъ вмѣшательствомъ уладить возникшія недоразумѣнія въ домѣ стараго князя.

Та дѣятельность, которой съ удвоенной энергіей онъ предается теперь, ища въ ней забвенія, съ психологической стороны рѣзко, можно сказать—принципіально отличается отъ его прежней дѣятельности, какъ на войнѣ, такъ и въ бюрократіи. Тогда онъ мечталъ о широкихъ планахъ, о подвигахъ, о славѣ,—теперь этой перспективы уже нѣтъ у него; его дѣло скромнѣе и проще,—онъ взялся за черную работу усерднаго и добросовѣстнаго исполнителя, да еще—за дѣло умнаго и проницательнаго наблюдателя людей и вещей.—«Его интересовали теперь только самые ближайшіе (читаемъ въ гл. VIII-ой), не связанные съ прежними практическіе интересы, за которые онъ ухватывался съ тѣмъ большею жадностью, чѣмъ закрытѣе были отъ него прежніе. Какъ будто тотъ безконечный, удаляющійся сводъ неба, стоявшій прежде надъ нимъ, вдругъ превратился въ низкій, опредѣленный, давившій, его сводъ, въ которомъ все было ясно, но ничего не было вѣчнаго и таинственнаго».—При такомъ направленіи лучшихъ силъ его ума и чувства, при такомъ дѣловомъ умонастроеніи, кн. Андрей и явился тѣмъ лицомъ въ эпопеѣ, которому Толстой могъ, съ увѣренностью въ точномъ и удачномъ исполненіи, ввѣрить роль наблюдателя и критика того, что происходитъ вокругъ,—событій, лицъ, характеровъ, партій. Въ этой именно роли и выступаетъ кн. Андрей въ главахъ

IX—XI первой части этого (III-го) тома [1]). Все, что мы читаемъ здѣсь, сказано въ одно и то же время и отъ лица автора, и отъ лица кн. Андрея. Оцѣнка лицъ и партій ведется здѣсь собственно отъ имени автора, но тутъ же указывается, что все это такъ наблюдалъ кн. Андрей. Наконецъ, излюбленныя мысли Л. Н. Толстого о войнѣ, о томъ, что не можетъ быть военной науки и военнаго генія, прямо приписаны кн. Андрею (за что послѣднему заодно съ Л. Н. Толстымъ такъ досталось отъ ген. Драгомирова).

И, конечно, Толстой могъ смѣло поручить это дѣло Болконскому: и по уму, и по образованію и по серьезности своего отношенія къ жизни, и по высотѣ своихъ требованій отъ людей и партій,—это былъ отличный наблюдатель-критикъ,—въ особенности въ этотъ періодъ, когда честолюбивыя стремленія перебродили въ немъ, и онъ былъ внѣ искушенія вмѣшаться въ борьбу партій, стать членомъ одной изъ нихъ и въ силу этого потерять вѣрность взгляда и независимость сужденія. Мѣткія характеристики людей и партій, данныя здѣсь Толстымъ, легко могли быть сдѣланы въ свое время кн. Андреемъ.

Глава XI-ая оканчивается указаніемъ, важнымъ для характеристики нашего героя. Когда государь, милостиво отнесшійся къ Болконскому, спросилъ его: «гдѣ онъ желаетъ служить»,—кн. Андрей «не попросилъ остаться при особѣ государя, а попросилъ позволенія служить въ арміи», чѣмъ «навѣки потерялъ себя въ придворномъ мірѣ».

Чѣмъ дальше, тѣмъ все больше кн. Андрей входитъ въ только-что указанную роль выразителя мыслей самого Толстого. Въ уже цитированномъ (въ предыдущей главѣ—о Кутузовѣ) мѣстѣ (т. III, ч. II гл. XVI) онъ, съ точки зрѣнія автора, даетъ оцѣнку Кутузова. Здѣсь-же на предложеніе Кутузова остаться при немъ въ штабѣ, Болконскій отвѣчаетъ такъ: «Благодарю вашу свѣтлость, но я боюсь, что не гожусь больше для штабовъ...»—говоритъ онъ и остается въ полку, въ строю, напутствуемый словами стараго фельдмаршала: «Иди съ Богомъ своею дорогою. Я знаю, твоя дорога—это дорога чести».

Этими словами отлично опредѣляется одна изъ самыхъ важныхъ сторонъ душевнаго склада кн. Андрея. Ей принадлежитъ

---

[1]) Дѣйствіе происходитъ въ главной квартирѣ на берегу Дриссы, гдѣ находится и государь. Болконскій, прикомандированный къ главнокомандующему Барклаю-Де-Толли, пріѣзжаетъ сюда послѣ ссоры съ отцомъ, руководимый между прочимъ стремленіемъ встрѣтить здѣсь Курагина.

исключительное значеніе въ томъ смыслѣ, что она замѣтно и постоянно вліяетъ на другія стороны и даже является тѣмъ душевнымъ цементомъ, которымъ онѣ связываются въ одно компактное и согласное цѣлое.

Въ самомъ дѣлѣ, разсматривая эти другія стороны, мы убѣждаемся, что, безъ «категорическаго императива» чести, онѣ, въ силу своихъ естественныхъ тенденцій, могли-бы привести психику кн. Андрея къ извѣстной дезорганизаціи и къ упадку. Дѣло въ томъ, что, Болконскій будучи по призванію человѣкомъ практическаго дѣла, въ то-же время въ высокой степени надѣленъ истинно-гамлетовскими чертами, способными парализовать его энергію. Онъ легко поддается рефлексіи. Человѣкъ съ выдающимся умомъ, съ обширнымъ образованіемъ, съ вѣчнаработающей головой кн. Андрей не принадлежитъ къ числу тѣхъ представителей наивной мысли, которые, не мудрствуя лукаво, берутъ вещи такъ, какъ онѣ есть, и кругозоръ которыхъ ограниченъ видимымъ горизонтомъ, обрамляющимъ ту жизнь, ту среду, тѣ условія, тѣ ближайшія цѣли борьбы и дѣятельности, въ предѣлахъ и въ виду которыхъ эти люди живутъ, трудятся, стремятся, борются, хлопочутъ. Для кн. Андрея всегда на-сторожѣ минуты, когда горизонтъ вдругъ широко раздвигается, уходитъ вдаль, когда взвивается завѣса, за которою таится возможность, а иногда и неминуемость иной точки зрѣнія на вещи, иной постановки вопросовъ. Его умъ осаждаютъ все чаще мысли, отрѣшенныя отъ текущихъ интересовъ, созерцанія, почти всегда принимающія у него форму ѣдкой критики явленій окружающей дѣйствительности и нескрываемаго презрѣнія къ ней. Это—не спокойныя созерцанія мыслителя, это то, характерное для Гамлета, вторженіе нѣкоторыхъ высшихъ точекъ зрѣнія въ самую практику жизни, вторженіе, которое неизбѣжно превращаетъ каждый болѣе значительный волевой актъ въ психологическій вопросъ, преимущественно нравственнаго порядка. Не трудно видѣть, что, если, несмотря на эти гамлетовскія черты, кн. Андрей не теряетъ душевной энергіи, не обнаруживаетъ колебаній и сомнѣній, остается на своемъ посту, идетъ своей дорогой,—то этимъ онъ обязанъ прежде всего столь сильно-выраженному у него категорическому императиву чести.

Своеобразное сочетаніе различныхъ, иногда взаимно-противорѣчивыхъ душевныхъ тенденцій въ психикѣ Болконскаго и фактъ ихъ скрѣпленія въ одно цѣлое силою императива чести ярко

обнаружены въ гл. XXIV-й и XXV-й той-же III-й части III-го тома.

Кн. Андрей размышляетъ о предстоящемъ рѣшительномъ сраженіи, о возможности смерти. Это предстоящее сраженіе было не какое нибудь иное, а Бородинское, и минута была историческая,—въ ней былъ завязанъ узелъ цѣлой эпохи европейской исторіи. Въ такую минуту для людей даже меньшаго душевнаго калибра, чѣмъ Болконскій, все личное отодвигается на второй планъ. Но мысль о смерти не такъ-то легко отогнать, а смерть—дѣло личное и человѣкъ, о ней думающій, невольно обращается мыслью—даже въ такую историческую минуту—къ самому себѣ. Князь Андрей въ первый разъ съ необыкновенной живостью представилъ себѣ свою смерть [1])—«И съ высоты этого представленія все, что прежде мучило и занимало его, вдругъ освѣтилось холоднымъ бѣлымъ свѣтомъ, безъ перспективы, безъ различія очертаній. И вся жизнь представилась ему волшебнымъ фонаремъ, въ который онъ долго смотрѣлъ сквозь стекло и при искусственномъ освѣщеніи. Теперь онъ увидѣлъ вдругъ безъ стекла, при яркомъ дневномъ свѣтѣ, эти дурно намалеванныя картины» (гл. XXIV).—Какое душевное состояніе воспроизведено здѣсь? Мы только-что видѣли, что мысль о смерти ужаснула князя Андрея, что у него «морозъ пробѣжалъ по спинѣ» (см. примѣчаніе), когда онъ представилъ себѣ свое «отсутствіе въ этой жизни». Отсюда ясно, что онъ, несмотря на мрачное и ожесточенное состояніе духа, переживавшееся имъ въ это время, далеко не потерялъ вкуса къ жизни, желанія жить, дѣйствовать, стремиться. Да иначе онъ и не могъ-бы сохранить ни той ясности мысли, какую онъ проявляетъ, ни способности руководиться велѣніями чести,—одного изъ наиболѣе яркихъ и характерныхъ проявленій жизни. И жизнь далеко еще не утратила своей власти надъ нимъ,—онъ еще очень доступенъ, если можно такъ выразиться, гипнозу ея внушеній. Если все это такъ, то превращеніе въ его сознаніи этой жизни въ «дурно намалеванныя картины» указываетъ намъ не на преждевременную душевную смерть, а на что-то другое. Оно указываетъ на слѣдующее.

[1]) «Онъ живо представилъ себѣ отсутствіе себя въ этой жизни. И эти березы съ ихъ свѣтомъ и тѣнью, и эти курчавые облака, и этотъ дымъ костровъ—все это вокругъ преобразилось для него и показалось чѣмъ-то страшнымъ и угрожающимъ. Морозъ пробѣжалъ по его спинѣ» (гл. XXIV).

Князь Андрей шелъ по пути критики и отрицанія. Для натуръ, живущихъ не однимъ умомъ, для людей жизни, а не отвлеченной, теоретической мысли, это путь трудный, сопряженный съ постепенной переработкой различныхъ сторонъ души сообразно требованіямъ и отрицаніямъ критической мысли. Этотъ путь ведетъ въ гору. Это подъемъ духа надъ дѣйствительностью, которая представляется критическому уму въ различномъ видѣ, смотря потому, какъ высоко этотъ умъ успѣлъ подняться. Есть и такая точка, съ высоты которой даже наиболѣе значительныя и внутренне-содержательныя проявленія дѣйствительности покажутся дурно-размалеванными картинами. Вотъ этой-то точки и достигъ кн. Андрей въ данную минуту, когда мысль о смерти какъ-бы окрылила его умъ и чувство. И результатомъ подъема были новые успѣхи отрицанія, выразившіеся въ слѣдующемъ размышленіи кн. Андрея: «слава, общественное благо, любовь къ женщинѣ, само отечество... какъ велики казались мнѣ всѣ эти картины, какого глубокаго смысла казались онѣ исполненными! И все это такъ просто, блѣдно и грубо при холодномъ, бѣломъ свѣтѣ того утра, которое, я чувствую, подымается для меня!»

Таково душевное состояніе кн. Андрея въ данный моментъ. Разсматриваемое, какъ симптомъ или выраженіе самой натуры его, оно свидѣтельствуетъ о томъ, что князь Андрей принадлежитъ къ числу тѣхъ, кому присуща способность отвлечься отъ привычнаго—житейскаго—воззрѣнія на жизнь и всѣ блага ея и подняться на ту высоту—не только мысли, но и чувства, съ которой все это—тлѣнъ и прахъ и кажется такимъ мелкимъ, жалкимъ, пошлымъ. Но здѣсь важно отмѣтить принципіальное отличіе этого уклада духа отъ повидимому столь сходнаго съ нимъ порядка мыслей и чувствъ, развитыхъ Тургеневымъ въ «Довольно» и «Призракахъ» [1]).

У Тургенева преобладающими мотивами являются: сознаніе человѣческаго ничтожества передъ стихіею природы, передъ всепожирающимъ Молохомъ смерти, унылое и безотрадное чувство, отвѣчающее этому сознанію, философскій пессимизмъ, способный подкосить всякую энергію жизни и дѣятельности. У кн. Андрея мы находимъ ясные признаки настроенія, ничего общаго не имѣющаго съ такимъ упадкомъ душевныхъ силъ. Напротивъ,

[1]) Объ этомъ см. мои «Этюды о творчествѣ Тургенева», глава II.

мы видимъ, что всѣ силы его души встрепенулись, и съ психологической стороны—онъ вооруженъ для дѣйствія, для подвига такъ, какъ будто-бы въ тѣхъ мысляхъ о смерти, въ томъ «холодномъ бѣломъ свѣтѣ подымающагося для него утра» нѣтъ ровно ничего, способнаго порализовать энергію и сдѣлать всѣ дѣйствія, всѣ подвиги—ненужными. Это ясно обнаруживается въ бесѣдѣ съ Пьеромъ, пришедшимъ навѣстить его. Здѣсь опять выдѣляется рѣзкій, озлобленный тонъ его рѣчей, иногда напоминающій тотъ, въ которомъ онъ говорилъ съ Пьеромъ въ Богучаровѣ. Онъ утверждаетъ, напр., что «война должна быть война, а не забава», и что плѣнныхъ нужно убивать. Эта выходка, явно противорѣчащая гуманнымъ убѣжденіямъ кн. Андрея, есть одна изъ тѣхъ утрировокъ, къ которымъ такъ склоненъ кн. Андрей въ минуты приподнятаго и напряженнаго состоянія духа. Въ такія минуты ярко обнаруживается его прирожденный радикализмъ, его склонность къ рѣзкой постановкѣ вопросовъ, къ послѣдовательному отрицанію. И Толстой могъ, не рискуя нарушить художественную правду, приписать здѣсь князю Андрею свой отрицательный взглядъ на войну. Радикальная постановка вопроса, гласящая, что война должна быть война, а не игрушка, что, если ужъ нужно воевать, то слѣдуетъ «принимать строго и серіозно эту страшную необходимость»,—такая постановка является лишь предисловіемъ къ рѣзкой, безпощадной филиппикѣ—въ духѣ идей Л. Н. Толстого—противъ войны и военнаго сословія («цѣль войны—убійство, орудія войны—шпіонство, измѣна и т. д...»).—Филиппика оканчивается невольно вырвавшимся признаніемъ, проливающимъ свѣтъ на то, что происходитъ въ душѣ кн. Андрея: «какъ Богъ только смотритъ и слушаетъ ихъ! Ахъ, душа моя, послѣднее время мнѣ стало тяжело жить. Я вижу, что сталъ понимать слишкомъ много. А негодится человѣку вкушать отъ древа познанія добра и зла...»

Человѣку, «вкусившему» отъ этого «древа», человѣку по-гамлетовски много понимающему и далеко видящему черезъ головы современниковъ,—смотря по его натурѣ, открыты три пути въ жизни: или уединеніе мыслителя, путь умственной активности и нравственной обломовщины, или проповѣдь чисто-нравственной реформы на почвѣ самосовершенствованія (какъ напр. извѣстное ученіе Толстого), или наконецъ путь дѣйствія quand-même, рѣшительно чуждаго всему, что пахнетъ компромиссомъ и оппортюнизмомъ. Князь Андрей, прежде всего, человѣкъ чести и

сильной дѣйствующей воли, натура столь склонная къ радикальной постановкѣ вопросовъ и къ душевному ожесточенію въ борьбѣ,—пойдетъ, конечно, по третьему пути и—погибнетъ на своемъ посту.

VI.

Мы видѣли кн. Анрея въ различномъ освѣщеніи, въ разные моменты его жизни—и такимъ образомъ имѣли возможность всесторонне изучить его сложную натуру. Въ одномъ только душевномъ состояніи мы еще не наблюдали его, въ состояніи душевнаго размягченія, умиленія, всепрощенія, и даже не знаемъ, способенъ-ли онъ питать эти чувства. Оказывается однако, что способенъ.

Тяжело раненаго въ Бородинскомъ сраженіи, князя Андрея перенесли на перевязочный пунктъ, и здѣсь, послѣ операціи, онъ узналъ въ молодомъ офицерѣ, которому только-что отняли ногу, ненавистнаго ему Анатоля Курагина. Еще наканунѣ, вспомнивъ о немъ и объ измѣнѣ Наташи, онъ испыталъ приливъ злобныхъ чувствъ и жажду мести. Но теперь, передъ лицомъ смерти, всѣ злобныя чувства угасли въ немъ, и, потрясенный физически и нравственно, онъ «заплакалъ нѣжными, любовными слезами надъ людьми, надъ собой и надъ ихъ и своими заблужденіями» (гл. XXXVII-ая III-го тома). И совсѣмъ новый порядокъ чувствъ и мыслей овладѣваетъ его душой. «Состраданіе, любовь къ людямъ, къ любящимъ, любовь къ ненавидящимъ насъ, любовь къ врагамъ,—да, та любовь, которую проповѣдывалъ Богъ на землѣ, которой меня учила княжна Марья и которой я не понималъ,—вотъ отчего мнѣ жалко было жизни, вотъ оно то, что еще оставалось мнѣ, ежели-бы я былъ живъ...» (тамъ-же).

Такъ думалъ кн. Андрей въ эту минуту, когда онъ уже уходилъ отъ жизни и когда въ немъ произошло какъ-бы перемѣщеніе душевныхъ элементовъ: въ его душѣ вскрылся родникъ христіанскихъ, альтруистическихъ чувствъ, существованія котораго раньше мы и не подозрѣвали у него. Оказывается, что натура князя Андрея еще сложнѣе и богаче, чѣмъ мы думали. Теперь его лозунгъ—состраданіе, христіанское всепрощеніе, и онъ думаетъ, что только это и оставалось-бы ему въ жизни. Это была, конечно, иллюзія. Останься онъ въ живыхъ, этотъ порядокъ чувствъ опять скрылся-бы гдѣ-то въ глубинѣ души, и заправляющимъ мотивомъ его жизни и дѣятельности явились-бы

совсѣмъ иныя чувства и мысли, тѣ земныя, страстныя состоянія, которыя управляли имъ раньше и въ которыхъ найдется все, что угодно, только не всепрощеніе. Къ этому послѣднему онъ могъ-бы обратиться развѣ только послѣ какого-нибудь потрясающаго событія въ его жизни, которое-бы такъ или иначе отняло у него всякую возможность живой дѣятельности. Едва-ли можно сомнѣваться въ томъ, что, останься кн. Андрей въ живыхъ,— онъ явился бы однимъ изъ вождей движенія, окончившагося событіемъ 1825 года. И вотъ развѣ только послѣ катастрофы, гдѣ нибудь въ казематѣ или «въ глубинѣ сибирскихъ рудъ», заживопохороненный, онъ могъ-бы, «храня гордое молчаніе», найти послѣднее прибѣжище въ христіанскомъ всепрощеніи, въ евангельской любви.

Изображеніе того, какъ умиралъ кн. Андрей (главы XXXII-ая III-ей части III-го тома и XVI-ая I-ой части IV-го тома), принадлежитъ къ значительнѣйшимъ созданіямъ художественнаго генія Толстого. Но для выясненія натуры кн. Андрея, послѣ всего, что мы уже знаемъ о немъ, существеннаго значенія оно не имѣетъ.

Въ эпилогѣ, дѣйствіе котораго относится къ 1820-му году, и гдѣ, какъ сказано въ примѣчаніи къ «Декабристамъ», видны уже признаки того возбужденія, которое отразилось въ событіяхъ 14-го декабря 1825-го года»,—тѣнь князя Андрея промелькнетъ передъ нами, когда мы прочтемъ о томъ, какъ «радостно- восторженно» слушалъ его сынъ Николенька горячія рѣчи Пьера, какъ «всякое слово Пьера жгло его сердце», и онъ наконецъ спросилъ: «Ежели-бы папа былъ живъ... онъ-бы согласенъ былъ съ вами»? (гл. XIV). И еще разъ эта тѣнь промелькнетъ передъ нами—на послѣдней страницѣ великой эпопеи, въ описаніи сна Николеньки и въ заключительныхъ словахъ восторженнаго мальчика: «А дядя Пьеръ? О, какой чудный человѣкъ! А отецъ? Отецъ, отецъ! Да, я сдѣлаю то, чѣмъ-бы даже онъ былъ доволенъ...»

Въ психологіи движенія 20-хъ годовъ весьма видное мѣсто, можетъ быть даже первенствующая роль принадлежала тому укладу натуръ и умовъ, который изображенъ въ Андреѣ Болконскомъ. Но рядомъ съ натурами и умами этого типа выдвигались и дѣйствовали другіе, между прочимъ— тѣ, которые находятъ свое обобщеніе въ образѣ Пьера Безухова. Въ

слѣдующей главѣ, анализируя этотъ типъ, мы вмѣстѣ съ тѣмъ будемъ вспоминать и князя Андрея, чтобы, путемъ сравненія обѣихъ натуръ, подвести имъ итогъ—съ точекъ зрѣнія психологической, исторической и художественной.

ГЛАВА VII.

Великосвѣтскіе типы. Пьеръ Безуховъ.

I.

Пьеръ Безуховъ, въ противуположность князю Андрею, не представляется намъ натурою, о которой возможны были бы діаметрально-противоположныя сужденія. Поэтому намъ не придется въ данномъ случаѣ прибѣгать къ подробному анализу душевнаго склада Безухова съ цѣлью установить правильное понятіе о немъ, какъ о человѣкѣ. Наша задача будетъ состоять только въ томъ, чтобы выяснить смыслъ и значеніе этого образа—какъ типа. Преслѣдуя эту задачу, мы пойдемъ по тому же пути, по которому шелъ Толстой: онъ создалъ типъ Безухова параллельно типу князя Андрея, онъ далъ намъ въ этихъ двухъ образахъ двѣ соотносительныя, одна другую дополняющія и объясняющія психологическія величины. Слѣдовательно, наше посильное истолкованіе типа Безухова должно быть основано на сравненіи съ типомъ князя Андрея.

Мы знаемъ, что, по складу ума, по основнымъ чертамъ натуры, въ особенности по характеру волевого уклада, кн. Андрей принадлежитъ къ числу людей «дѣла», къ призваннымъ дѣятелямъ практической жизни на почвѣ общественной или государственной. Пьеръ Безуховъ, напротивъ,—натура непригодная для практической дѣятельности. Основная черта его ума—склонность (и способность) къ «мечтательному философствованію», его натуры—слабость дѣйствующей воли, отсутствіе иниціативы, неспособность воздѣйствовать на окружающую среду и подчинять себѣ волю другихъ людей [1]).

Какъ ни важна эта характеристика занимающихъ насъ образовъ, но она сама по себѣ въ отдѣльности отъ другихъ чертъ, не можетъ служить основаніемъ для ихъ критическаго истолкова-

---

[1]) Мѣста. гдѣ натура Пьера въ этомъ смыслѣ противупоставляется натурѣ князя Андрея, уже были приведены нами («В. и М», томъ I ч. 1. гл. VI и т. II, ч. III, гл. I).

нія, какъ художественныхъ типовъ. Если-бы мы, отправляясь отъ этой характеристики, захотѣли взглянуть на образы кн. Андрея и Пьера Безухова, какъ на широкіе общечеловѣческіе типы, то сейчасъ-же увидѣли бы, какъ эти яркія, полныя жизни фигуры тускнѣютъ, блѣднѣютъ и теряютъ свою художественную силу. Но въ этомъ отношеніи есть нѣкоторая разница между ними; кн. Андрей всетаки въ извѣстной мѣрѣ доступенъ отвлеченію отъ условій и красокъ мѣста, времени, націи и перенесенію на другую почву, между тѣмъ какъ Пьеръ Безуховъ рѣшительно этому сопротивляется,—нѣтъ возможности перенести его куда-нибудь въ Германію, Францію, Англію,—онъ мыслимъ и художественно-интересенъ только въ Россіи и при томъ въ извѣстную эпоху,—ту, которую можно назвать переходною отъ XVIII-го вѣка къ XIX-му. Это различіе въ значительной мѣрѣ обусловлено тѣмъ, что кн. Андрей—аристократъ pur sang, человѣкъ породы и рѣзко-типично выраженной сословной психологической формы, между тѣмъ какъ Пьеръ, сынъ «случайнаго» человѣка, «плебей» по происхожденію, является представителемъ той условно-аристократической формы, которая была явленіемъ специфически-русскимъ [1]). Въ старой Европѣ типичныя черты кн. Андрея, какъ аристократа, какъ человѣка чести и долга и съ призваніемъ къ широкой государственной дѣятельности, наконецъ какъ дѣятеля оппозиціи, найдутся еще въ болѣе яркомъ и цѣльномъ выраженіи. Поэтому кн. Андрей, со стороны сословно-психологической, можетъ отчасти служить однимъ изъ представителей этого общеевропейскаго—уже почти исчезнувшаго—типа. Но не трудно видѣть, что при всемъ томъ онъ отнюдь не могъ бы претендовать на роль широкаго художественнаго обобщенія, ибо странно было бы ходить за такимъ обобщеніемъ въ страну, гдѣ аристократическая форма осталась чѣмъ-то недоразвитымъ, лишь слабымъ намекомъ на то, что въ этомъ отношеніи представляетъ Зап. Европа.

1) Въ этой психологической формѣ, которую удобнѣе было бы называть не аристократическою, а только великосвѣтскою, мы не усматриваемъ той стойкости и законченности, какія мы видимъ въ настоящемъ аристократизмѣ князя Андрея. Въ Пьерѣ даетъ себя чувствовать „плебей“, homo novus, въ своемъ родѣ „разночинецъ“. Онъ аристократъ только потому, что получилъ великосвѣтское и заграничное воспитаніе и образованіе, что, enfant naturel „графа“ Безухова, онъ былъ имъ усыновленъ и получилъ титулъ „графа“ вмѣстѣ съ огромнымъ состояніемъ.

Итакъ, кн. Андрей въ извѣстной только мѣрѣ доступенъ превращенію изъ типа русскаго въ общечеловѣческій. Зато Пьеръ Безуховъ этой операціи рѣшительно противится. Конечно, натуры, съ преобладающей склонностью къ «мечтательному философствованію» и съ слабымъ развитіемъ дѣйствующей воли найдутся вездѣ. Но дѣло въ томъ, что Пьеръ, понятый только какъ воплощеніе извѣстныхъ чертъ натуры безъ дальнѣйшихъ опредѣленій, безъ пріуроченія къ русской почвѣ, совсѣмъ исчезаетъ, какъ художественный образъ, превращаясь въ блѣдную схему, которая ничего не говоритъ, никакого психологическаго интереса не представляетъ. Когда мы говоримъ о широкой общечеловѣчности типа, то при этомъ предполагается, что типъ обособляясь, сохраняетъ свою художественность, остается живымъ конкретнымъ образомъ. Если же онъ не можетъ обобщаться иначе, какъ теряя свою художественную конкретность, то это значитъ, что это типъ—не общечеловѣческій, и навязывать ему такую роль нельзя. Таковъ именно нашъ Пьеръ Безуховъ.

Если мы вникнемъ въ психологическую сущность той черты, которую Толстой называетъ «мечтательнымъ философствованіемъ» Пьера, то убѣдимся, что она представляетъ собою явленіе специфически-русское. Прежде всего это «мечтательное философствованіе» не есть игра празднаго ума, въ которомъ пробудились нѣкоторые теоретическіе интересы и который сегодня философствуетъ о войнѣ, о грядущемъ вѣчномъ мирѣ, завтра о Богѣ и истинной вѣрѣ и т. д. и находитъ удовлетвореніе въ самомъ процессѣ этого теоретизированія. Для Пьера характерно то, что всѣ его умствованія вытекаютъ изъ глубокой потребности его натуры, что они не исключительно «головного» происхожденія. По самому складу своего ума, Пьеръ менѣе всего теоретикъ и кабинетный мыслитель. Вопросы, надъ которыми онъ бьется, при всей отвлеченности нѣкоторыхъ изъ нихъ, суть въ сущности вопросы жизни, и сама постановка ихъ вытекаетъ изъ стремленія выработать себѣ такое міросозерцаніе и устроить свою жизнь такъ, чтобы въ результатѣ получить возможно полный покой совѣсти, возможное нравственное удовлетвореніе, основанное на сознаніи, что мысля и живя такъ, онъ «дѣлаетъ благое дѣло среди царюющаго зла». Пьеръ—типичный представитель или, лучше, провозвѣстникъ, предтеча русскаго идеализма.

Если съ этой точки зрѣнія проведемъ параллель между нашими двумя героями, то князя Андрея придется назвать

реалистомъ, Пьера Безухова — идеалистомъ. Понятіе идеализма я беру здѣсь не въ томъ смыслѣ, въ какомъ оно противупоставляется эгоизму и житейской практичности; я противуполагаю его реализму, который отнюдь не означаетъ отсутствія идеальныхъ стремленій. Оба, Болконскій и Безуховъ, руководятся въ жизни нѣкоторыми высшими стремленіями, имѣютъ или ищутъ извѣстный идеалъ; они отнюдь не могутъ быть причислены къ людямъ, живущимъ въ свое удовольствіе, поглощеннымъ заботами о карьерѣ, каковы напр. кн. Василій, Курагинъ, Бергъ и др.; равнымъ образомъ они не принадлежатъ и къ числу тѣхъ наивно-хорошихъ людей, которые неспособны подняться выше уровня идей и нравственныхъ понятій времени. Типичнымъ представителемъ такихъ хорошихъ людей является Николай Ростовъ. Безуховъ и Болконскій рѣзко выдѣляются изъ массы заурядныхъ людей того и другого сорта сложностью и высотою своихъ душевныхъ запросовъ, серьезностью своихъ требованій отъ жизни и неспособностью наивно жить, «не мудрствуя». Въ этомъ смыслѣ оба они являются идеалистами. Но называя одного изъ нихъ реалистомъ, я уже беру терминъ идеализмъ въ другомъ смыслѣ, именно въ томъ, въ какомъ онъ противупоставляется реализму. Критеріемъ является здѣсь уже не присутствіе или отсутствіе идеальныхъ стремленій, а извѣстный способъ отношенія мыслящаго человѣка къ дѣйствительности. Я называю князя Андрея реалистомъ потому, что для него исходною точкою стремленій служитъ сама дѣйствительность, и онъ въ построеніи своихъ идей, въ исканіи идеала, въ программѣ жизни и дѣятельности всегда ищетъ точки опоры въ окружающей его жизни и въ ея исторически-данныхъ условіяхъ. Я называю Пьера идеалистомъ потому, что у него отправнымъ пунктомъ мысли и стремленій является всегда система тѣхъ идей или вѣрованій, которыми онъ въ данное время увлекается, а дѣйствительность, среди которой онъ живетъ и дѣйствуетъ, представляется какъ бы выводомъ изъ этихъ идей: она окрашивается и мѣняетъ свой обликъ сообразно измѣненіямъ въ характерѣ и составѣ идей, занимающихъ мысль Пьера.

Вспомнимъ, съ какою сознательностью и, можно сказать, добросовѣстностью наблюдателя относится князь Андрей къ окружающей дѣйствительности. Онъ прямо ее изучаетъ, стара-

ясь прежде всего составить себѣ ясное и точное представленіе о совершающихся событіяхъ, о группировкѣ партій, о ихъ вожакахъ, о достоинствахъ и недостаткахъ дѣйствующихъ лицъ и т. д. Послѣ назначенія Кутузова, князю Андрею необходимо было лично удостовѣриться въ томъ, въ самомъ-ли дѣлѣ этотъ выборъ удаченъ. И вотъ онъ, поступивъ въ штабъ Кутузова, присматривается къ этому человѣку, наблюдаетъ его и выноситъ извѣстную намъ оцѣнку главнокомандующаго. Такъ же точно наблюдаетъ онъ и старается понять Багратіона. Всѣ его отношенія къ Сперанскому въ основѣ своей сводятся къ старанію понять этого государственнаго человѣка, вникнуть въ смыслъ и значеніе его дѣятельности. Съ неменьшимъ вниманіемъ присматривается онъ и къ второстепеннымъ лицамъ, входя въ подробности ихъ дѣйствій (вспомнимъ его отношенія къ кап. Тушину). Во всемъ этомъ видна не только «жилка» человѣка съ практическимъ смысломъ, но также виденъ реалистъ по складу ума,—человѣкъ, который прежде всего стремится изслѣдовать и понять окружающую дѣйствительность, какъ она есть, чтобы потомъ уже, на основаніи этого изученія, установить свои отношенія къ ней.

Совсѣмъ иное видимъ мы у Пьера. Онъ живетъ своимъ собственнымъ міромъ и только присутствуетъ среди окружающей его дѣйствительности. Настоящее положеніе вещей, группировка и борьба партій, дѣятельность историческихъ лицъ,—все это не вызываетъ въ немъ того живого интереса, который заставилъ бы его хоть на время отвлечься отъ занимающихъ его идей. Углубленный въ свои размышленія, занятый поразившей его мыслью, онъ въ состояніи совсѣмъ забыть о томъ, что происходитъ вокругъ. Его извѣстная разсѣянность находится въ несомнѣнной связи съ этой способностью самоуглубленія.

Во время занятія Москвы французами Пьеръ поглощенъ массонствомъ и реагируетъ на событія мистикою чиселъ и фантастическимъ планомъ убіенія Наполеона. Въ плѣну, въ самой ужасной обстановкѣ, въ виду постоянной возможности или даже вѣроятности быть разстрѣлянымъ, Пьеръ по прежнему занятъ внутренней работой духа, которая, въ виду исключительности положенія, получаетъ только новое направленіе, да еще протекаетъ съ большею, чѣмъ прежде интенсивностью. Прежній порядокъ идей разрушается, и на его развалинахъ созидается новый. Въ этомъ созиданіи огромное значеніе имѣла встрѣча съ Кара-

таевымъ. Смыслъ этихъ внутреннихъ преобразованій—тотъ, что плѣнъ, лишенія, смерть—все это пустяки. Свобода—внутри человѣка, и отнять ее нельзя. Безсмертную душу нельзя держать въ плѣну или казнить и т. д. Главы XII—XIV второй части IV-го тома, описывающія эту «эволюцію» во внутреннемъ мірѣ Пьера, прекрасно воспроизводятъ идеалистическій складъ ума этого человѣка.

Очень характерно также то, что, въ то время какъ князю Андрею нужно было знать, что такое Кутузовъ, Пьеру необходимъ былъ Каратаевъ. Русскій національный складъ или «духъ» въ формѣ «Кутузовщины» выступилъ на историческую авансцену и явился однимъ изъ важныхъ факторовъ въ цѣпи событій, въ текущемъ обиходѣ дѣйствительности, въ данный моментъ исторической жизни Россіи,—и вотъ именно съ этой стороны онъ и представлялъ интересъ и важность для князя Андрея. Для Пьера, живущаго своимъ внутреннимъ міромъ и озабоченнаго исканіемъ вѣры или идеала, важно не это историческое проявленіе національнаго духа, а—его корни въ народной психологіи, его наивное выраженіе въ народномъ міросозерцаніи. Чтобы Пьеръ могъ пріобщитьси къ нему, онъ долженъ былъ открыться Пьеру въ идеализированномъ образѣ Каратаева.

II.

Идеалистическая (въ вышеуказанномъ смыслѣ) натура Пьера прекрасно поясняется тѣмъ, что говоритъ о немъ Толстой въ началѣ главы XII-ой II-ой части IV-го тома: «Онъ долго въ своей жизни искалъ съ разныхъ сторонъ... успокоенія—согласія съ самимъ собою... онъ искалъ этого въ филантропіи, массонствѣ, въ разсѣянности свѣтской жизни, въ винѣ, въ геройскомъ подвигѣ самопожертвованія, въ романтической любви къ Наташѣ; онъ искалъ этого путемъ мысли, и всѣ эти исканія и попытки—всѣ обманули его». Въ этихъ словахъ Толстой подвелъ итогъ всей предшествующей исторіи Пьера — вплоть до плѣна и встрѣчи съ Каратаевымъ. Главный внутренній мотивъ, двигавшій Пьеромъ, сводился къ исканію душевнаго успокоенія, согласія съ самимъ собою; иначе говоря, его задача была личная, субъективная въ тѣсномъ смыслѣ этого слова. Говорю «въ тѣсномъ смыслѣ», потому что въ обширномъ смыслѣ и у князя Андрея, да и у всякаго человѣка задача, вытекающая изъ

потребностей ума, сердца, изъ характернаго уклада воли, всегда остается личною, субъективною, да и не можетъ быть иною. Но огромное различіе между людьми въ этомъ отношеніи сводится къ самому способу постановки задачи и къ характеру вытекающихъ оттуда отношеній человѣка къ дѣйствительности. Одни ставятъ свою личную проблему такъ, что большая часть умственныхъ, нравственныхъ и другихъ интересовъ высшаго порядка, какіе есть у человѣка, влекутъ его мысль, чувство и волю къ окружающей жизни, къ дѣйствительности, къ тому, что совершается во внѣшнемъ мірѣ; въ силу этого, личная задача сводится къ установленію или урегулированію отношеній человѣка къ дѣйствительности; это приводитъ къ изученію дѣйствительности, къ исканію въ ней точекъ опоры, къ критикѣ явленій окружающей жизни,—критикѣ, которая можетъ дать важныя указанія для рѣшенія личной задачи. Таковъ князь Андрей. Вотъ именно людей этого типа я и называю реалистами, какъ бы ни были высоки и отдаленны ихъ идеалы. Другіе, напротивъ, ищутъ рѣшенія личной задачи путемъ самоуглубленія, стремясь преобразовать свой внутреній міръ силою той или иной идеи, того или другого чувства, вѣрованія, догмата—религіознаго или нравственнаго. Обращаясь къ дѣйствительности, они сейчасъ же превращаютъ любой изъ ея вопросовъ, которыхъ всегда много, въ личный вопросъ своей совѣсти, вѣры, убѣжденія. И на этомъ пути вопросы жизни незамѣтно превращаются у людей этого типа въ средство къ достиженію «согласія съ самимъ собою». Возникаетъ такимъ образомъ та постановка личной задачи, въ силу которой эта послѣдняя превращается въ личную или субъективную по преимуществу. Люди, какъ кн. Андрей, будутъ тяготѣть къ дѣйствительности, будутъ искать въ ней точекъ опоры, если нельзя для дѣятельности, то хотя для мысли, даже и въ томъ случаѣ, когда они убѣждаются въ невозможности окончательно рѣшить личную задачу. Задачу этихъ людей скорѣе можно бы опредѣлить, не какъ исканіе внутренняго успокоенія и согласія съ самимъ собою, а какъ стремленіе осуществить свою общественную стоимость. Для нихъ поэтому важнѣе всего—критика дѣйствительности и сознательный выборъ тѣхъ ея сторонъ, которыя, по свойству ума, по способностямъ, по общественному положенію человѣка, по «рессурсамъ», находящимся въ его распоряженіи, могли бы явиться для него искомыми точками опоры, точками приложенія душевныхъ силъ.

Напротивъ, для натуръ, какъ Пьеръ, дѣйствительность представляется только обстановкой или ареною, на которой они ищутъ «успокоенія»,—и безпорядочно, суетливо стучится жизнь въ ихъ внутренній міръ различными сторонами своими, важными и ничтожными,—и на эти призывы жизни такія натуры реагируютъ сегодня филантропіей, завтра самоотверженнымъ подвигомъ, потомъ романтической любовью и т. д. Идеалистическое отношеніе къ дѣйствительности въ такой натурѣ сводится къ тому, что представленіе о ней и пониманіе ея вопросовъ находится всецѣло въ зависимости отъ характера тѣхъ идей, вѣрованій, настроеній, въ которыхъ личность въ данное время думаетъ найти «успокоеніе».

Вотъ и посмотримъ, какъ Пьеръ искалъ этого успокоенія, и каковы были его отношенія къ дѣйствительности.

Сперва обратимся къ тому, очень важному въ жизни Пьера, моменту, когда онъ встрѣтился съ массономъ Баздѣевымъ (томъ II, часть II, гл. II). Это отправной пунктъ «исканій» Пьера, начало его душевной исторіи. Душевный мотивъ, который тутъ впервые намѣчался и вскорѣ долженъ былъ проявиться съ нѣкоторой отчетливостью, опредѣляется формулою: «личное нравственное совершенствованіе на почвѣ служенія ближнимъ (обществу, отечеству, человѣчеству)». Формула эта у Пьера и у всѣхъ, для кого онъ типиченъ, отличается способностью къ перестановкѣ своихъ терминовъ, къ превращенію въ формулу: «служеніе ближнимъ (обществу, отечеству, человѣчеству) на почвѣ личнаго нравственнаго совершенствованія». Эта перестановка далеко не сознается, совершаясь нерѣдко «въ глубинѣ души». Еслибы во время бесѣды съ Баздѣевымъ Пьеръ могъ подвергнуть самого себя психологическому діагнозу, то онъ очень затруднился бы отвѣтить на вопросъ: какая именно внутренняя потребность влекла его къ массонству,—была ли это жажда нравственнаго возрожденія по преимуществу, или же жажда общественной дѣятельности? Несомнѣнно одно: онъ уже тогда искалъ «примиренія съ самимъ собою» и хотѣлъ стать лучше, чище, добродѣтельнѣе, но вмѣстѣ съ тѣмъ онъ чувствовалъ, что личная добродѣтель не могла быть конечною цѣлью его стремленій. И вскорѣ разрывъ Пьера съ петербургскими массонами покажетъ намъ, что Пьеръ не могъ успокоиться на одной личной добродѣтели, что потребность благотворной общественной дѣятельности была въ немъ жива и сильна, но только онъ не могъ, ни тогда, ни послѣ, освободить эту потребность отъ вопросовъ лич-

ной нравственности и субъективной задачи. Не оттого-ли общественная дѣятельность никогда и не удавалась Пьеру? Вотъ именно этотъ вопросъ мы и постараемся выяснить.

Не только у Пьера, тогда еще неофита въ этихъ идеальныхъ стремленіяхъ, но и у наставника его, Баздѣева, вопросы личные и вопросы общественные переплетаются самымъ причудливымъ образомъ. Баздѣевъ прежде всего открываетъ Пьеру заманчивую перспективу постиженія «высшей мудрости», абсолютной истины, составляющей будто бы монополію масонства. Онъ говоритъ: «высшая мудрость основана не на одномъ разумѣ, не на тѣхъ свѣтскихъ наукахъ—физикѣ, исторіи, химіи и т. д., на которыя распадается знаніе умственное. Высшая мудрость одна. Высшая мудрость имѣетъ одну науку—науку всего, науку, объясняющую все мірозданіе и занимаемое въ немъ мѣсто человѣка. Для того чтобы вмѣстить въ себѣ эту науку, необходимо очистить и обновить своего внутренняго человѣка, и потому прежде, чѣмъ знать, нужно вѣрить и совершенствоваться. И для достиженія этихъ цѣлей въ душу нашу вложенъ свѣтъ Божій, называемый совѣстью». Уже тутъ личное совершенствованіе, чистота души, добродѣтель представлены какъ средство для достиженія чего-то другого, точно онѣ—не цѣль сами по себѣ. На это Пьеръ могъ бы возразить, что разъ дѣло идетъ не о ходячей, элементарной морали, а о выработкѣ высшихъ нормъ и идеала нравственности, необходимо уже имѣть въ своемъ распоряженіи хотя бы основанія этой «мудрости», этого познанія «всего» и мѣста, занимаемаго человѣкомъ, т. е. нужно имѣть понятіе о призваніи, назначеніи человѣка и т. д. Но такъ какъ въ душѣ Пьера, въ данное время, господствуетъ стихійное броженіе, весьма аналогичное той путаницѣ понятій, какая имѣетъ мѣсто въ головѣ Баздѣева, то онъ и не находитъ никакихъ возраженій, а только поддакиваетъ,—и ему кажется, что въ самомъ дѣлѣ истинный путь открывается ему. Еще рѣзче обнаруживается хаотичность душевнаго броженія Пьера и путаница понятій Баздѣева въ томъ, что чувствуетъ первый, и что говоритъ второй—въ слѣдующей краснорѣчивой тирадѣ, затрогивающей самыя больныя мѣста Пьера: «Посмотрите на свою жизнь, государь мой. Какъ вы проводили ее? Въ буйныхъ оргіяхъ и развратѣ, все получая отъ общества и ничего не давая ему. Вы получили богатство? Какъ вы употребили его? Что вы сдѣлали для ближняго своего? Подумали-ли вы о десяткахъ

тысячъ вашихъ рабовъ, помогли-ли вы имъ физически и нравственно? Нѣтъ. Вы пользовались ихъ трудами, чтобы вести распутную жизнь...»—Казалось бы, вотъ наконецъ, Баздѣевъ подошелъ къ самой сути дѣла, къ тому пункту, съ высоты котораго лично-нравственная задача съ одной стороны и соціальная проблема съ другой очертятся въ своей раздѣльности и въ то же время въ тѣхъ раціональныхъ психологическихъ соотношеніяхъ своихъ, при соблюденіи которыхъ онѣ не будутъ путаться и мѣшать одна другой. Казалось, Баздѣевъ поднималъ животрепещущій вопросъ времени, вопросъ жизни, разумная постановка котораго могла подсказать и рѣшеніе личной задачи, напр. хотя-бы—на первыхъ порахъ—въ такомъ элементарномъ видѣ: ты ищешь спокойствія совѣсти, примиренія съ собою, нравственнаго удовлетворенія; вотъ предъ тобою великая задача,—служи ей: у тебя десятки тысячъ рабовъ, у тебя огромное состояніе,—употреби же хоть часть его на улучшеніе жизни и просвѣщеніе твоихъ рабовъ, не говоря уже о томъ, что, какъ человѣкъ гуманный, просвѣщенный и независимый, ты могъ бы кое-что сдѣлать въ интересахъ подготовки освобожденія народа отъ крѣпостной зависимости въ будущемъ, о чемъ уже начинаютъ подумывать лучшіе люди въ обществѣ и даже въ самомъ правительствѣ. И если ты пойдешь по этому пути, то несомнѣнно твоя жизнь будетъ полна, разумна и ты eo ipso сдѣлаешь огромный шагъ впередъ въ преслѣдованіи своего лично-нравственнаго идеала.—При такой постановкѣ вопроса вниманіе Пьера было бы отвлечено отъ субъективной сферы, гдѣ центромъ, вокругъ котораго все вращается, служитъ личное «я», къ объективной,—къ окружающей дѣйствительности, гдѣ это «я», при благопріятныхъ условіяхъ, можетъ найти, въ подчиненіи цѣлому, какъ-разъ то самое, что нужно для гармоническаго развитія душевныхъ силъ личности и для удовлетворенія различнымъ ея запросамъ, въ томъ числѣ и нравственнымъ.

Но, какъ видимъ изъ дальнѣйшаго, Баздѣевъ и не думаетъ, да и не можетъ стать на эту точку зрѣнія. Дѣло представляется такъ, что онъ лищь случайно подошелъ къ ней, чтобы сейчасъ же удалиться въ другую сторону,—что онъ заговорилъ о «рабахъ» и о служеніи ближнимъ только потому, что его слушатель былъ богатъ и имѣлъ рабовъ. Ну, а еслибы онъ ихъ не имѣлъ? Тогда самъ собою падалъ бы и вопросъ о рабахъ, о крѣпостномъ правѣ, о служеніи народу.

Очевидно, у Баздѣева, весь вопросъ сводится къ личной нравственности Пьера. Оттуда и та черта, что на одной линіи съ вопросомъ о «рабахъ» и въ томъ-же, тонѣ, въ той-же перспективѣ трактуются Баздѣевымъ и отношенія Пьера къ его женѣ и къ Долохову.—«Вы женились, государь мой, взяли на себя отвѣтственность въ руководствѣ молодой женщины, и что-же вы сдѣлали? Вы не помогли ей, государь мой, найти путь истины, а ввергли ее въ пучину лжи и несчастья. Человѣкъ оскорбилъ васъ, и вы убили его...»—На это Пьеръ могъ-бы резонно возразить, что не онъ ввергъ жену свою въ пучину лжи и несчастья, а скорѣе она его ввергла туда, во-вторыхъ, что относительно такой женщины, какъ Hélène, дочь кн. Василія, нелѣпо и подымать вопросъ о какомъ-либо «руководствѣ» и «пути истины».—А вотъ насчетъ десятковъ тысячъ рабовъ Пьеру дѣйствительно слѣдовало признаться, что онъ виноватъ, очень и непростительно виноватъ,—въ особенности въ томъ, что, послѣ исторіи съ Долоховымъ, онъ «выдалъ женѣ довѣренность на управленіе всѣми великорусскими имѣніями, что составляло большую часть его состоянія» (т. II, ч. I гл. VI). Ни откуда не видно, чтобы Пьеръ не только тогда, въ то первое время своихъ нравственныхъ и общественныхъ стремленій, но и впослѣдствіи сознавалъ всю безнравственность этого преданія крестьянъ на произволъ такой душевладѣлицы, какъ Hélène, этой расплаты съ развратной женщиной за учиненный ей скандалъ душами и трудомъ рабовъ. И въ дальнѣйшемъ, надѣюсь, мы убѣдимся въ томъ, что это несознаваніе, этотъ родъ нравственной слѣпоты у Пьера въ значительной мѣрѣ объясняется именно тѣмъ, что у него отдѣленіе общественной задачи отъ лично-нравственной никогда не было доведено до конца.

III.

Черезъ Баздѣева Пьеръ вступилъ въ общество массоновъ. Въ главѣ III (II части II тома) описывается обрядъ посвященія въ массоны. Цѣль ордена такова: «очищая и исправляя нашихъ членовъ, мы стараемся (наставляетъ Пьера «риторъ» при обрядѣ пріема) исправлять и весь родъ человѣческій, предлагая ему въ членахъ нашихъ примѣръ благочестія и добродѣтели, и тѣмъ стараемся всѣми силами противоборствовать злу, царствующему въ мірѣ». Центръ тяжести здѣсь передвинутъ въ сторону личной морали, причемъ

нормы этой послѣдней носятъ рѣзкій отпечатокъ сектантскаго духа и также—аскетическихъ стремленій. То и другое должно было въ значительной мѣрѣ тормозить или искажать значеніе массонства, какъ движенія прогрессивнаго [1]). Пьеру, какъ мы знаемъ, вскорѣ пришлось разочароваться въ массонствѣ, поскольку оно сводилось къ пустой формалистикѣ, упускало изъ виду практическія задачи филантропіи, какъ дѣла общественнаго, и наконецъ, принимало въ ряды своихъ членовъ лицъ, преслѣдующихъ исключительно цѣли личныя, эгоистическія (томъ II, часть III, гл. VII). Тѣмъ не менѣе на первыхъ порахъ Пьеру казалось, что онъ, наконецъ, вступаетъ на правильный путь; передъ нимъ дѣйствительно открывалась перспектива какихъ-то положительныхъ цѣлей жизни,—его прежнее безцѣльное, безъидейное существованіе навсегда прекратилось. Послѣ неудачной попытки привести орденъ къ сознанію необходимости дѣятельнаго добра и энергической борьбы съ «порокомъ и глупостью», Пьеръ въ теченіе нѣкотораго времени занялся личнымъ упражненіемъ въ разныхъ, предписываемыхъ массонствомъ, добродѣтеляхъ (ib., гл. VIII и X, дневникъ Пьера). Эти упражненія и сопутствующія имъ размышленія могли имѣть нѣкоторое нравственное значеніе лично для Пьера,—они составляли извѣстный «моментъ» въ его духовномъ развитіи, не оставшійся совсѣмъ безплоднымъ. Но для насъ гораздо важнѣе познакомиться съ другой стороною дѣла, именно съ попытками Пьера выйти на путь «дѣятельнаго добра»,—путь, который долженъ былъ его привести къ постановкѣ, въ той или иной формѣ, хотя-бы въ чисто-филантропической, вопросовъ общественныхъ, и прежде всего—вопроса о крестьянахъ и крѣпостномъ правѣ. Любопытно, что увлеченіе Пьера этой стороною дѣла имѣло характеръ, такъ сказать, эпизодическій и хронологически предшествовало его упражненіямъ въ личныхъ добродѣтеляхъ и душеспасительныхъ размышленіяхъ на массонскія темы.

Интересующій насъ эпизодъ изложенъ въ гл. X, II части, II тома. Мы находимъ Пьера въ Кіевѣ и узнаемъ, во-первыхъ, что онъ пріѣхалъ сюда для введенія реформъ въ своихъ имѣніяхъ,

[1]) Я говорю здѣсь о массонствѣ въ томъ представленіи о немъ, какое вытекаетъ изъ его изображенія въ „Войнѣ и Мирѣ". Въ дѣйствительности наше массонство XVIII-го вѣка и начала XIX-го имѣло гораздо больше значенія и вліянія, чѣмъ сколько склоненъ, повидимому, приписывать ему Толстой.

согласно «написанному имъ для себя» (конечно, въ духѣ масонскихъ идей о любви къ человѣчеству и щедрости) «руководству», и, во-вторыхъ, что въ это время переслѣдованіе идеала личной «чистоты» и «благонравія» никакъ не давалось ему. Ведя разсѣянную свѣтскую жизнь, среди соблазновъ которой пальма первенства принадлежала попрежнему женской прелести, Пьеръ «сознавалъ, что изъ трехъ назначеній массонства онъ не исполнялъ того, которое предписывало каждому массону быть образцомъ нравственной жизни, а изъ семи добродѣтелей совершенно не имѣлъ двухъ: добронравія и любви къ смерти. Онъ утѣшалъ себя тѣмъ, что за то онъ исполнялъ другое назначеніе— исправленіе рода человѣческаго и имѣлъ другіе добродѣтели—любовь къ ближнему и въ особенности щедрость».

Стремясь приложить къ дѣлу эти свои добродѣтели и начать «исправленіе рода человѣческаго», Пьеръ не могъ, конечно, не вспомнить прежде всего о тѣхъ десяткахъ тысячъ рабовъ своихъ, на которыхъ указывалъ ему Баздѣевъ. И вотъ онъ останавливается мыслью на необходимости освобожденія своихъ крестьянъ отъ крѣпостной зависимости, а пока—въ ожиданіи исполненія этой мечты предпринимаетъ въ своихъ имѣніяхъ рядъ реформъ и нововведеній, клонящихся къ улучшенію быта и къ нравственному и умственному просвѣщенію мужиковъ. Онъ вызвалъ всѣхъ управляющихъ въ Кіевъ и «сказалъ имъ, что немедленно будутъ приняты мѣры для совершеннаго освобожденія крестьянъ отъ крѣпостной зависимости, что до тѣхъ поръ крестьяне не должны быть отягчаемы работой, что женщины съ дѣтьми не должны посылаться на работы, что крестьянамъ должна быть оказываема помощь, что наказанія должны быть употребляемы увѣщательныя, а не тѣлесныя, что въ каждомъ имѣніи должны быть учреждены больницы, пріюты и школы».—Таковы были прекрасныя начинанія Пьера. Но, какъ извѣстно, всѣ они такъ и остались начинаніями: крестьяне не были освобождены, больницы и школы остались только на бумагѣ или недостроенными, и фактически положеніе крѣпостныхъ графа Безухова отъ этихъ затѣй только ухудшилось. Толстой обстоятельно поясняетъ намъ, почему это такъ вышло—въ противоположность удачному выполненію тѣхъ-же плановъ князя Андрея.—Когда Пьеръ объѣзжалъ свои имѣнія, чтобы лично убѣдиться въ исполненіи своихъ предначертаній,—«народъ вездѣ представлялся ему благоденствующимъ

и трогательно-благодарнымъ за сдѣланныя ему благодѣнія». Въ дѣйствительности-же было совсѣмъ не то: «Пьеръ не зналъ того, что тамъ, гдѣ ему подносили хлѣбъ-соль..., $^{9}/_{10}$ мужиковъ были въ величайшемъ разореніи. Онъ не зналъ, что вслѣдствіе того, что перестали по его приказу посылать ребятницъ, женщинъ съ грудными дѣтьми, на барщину, эти самыя ребятницы тѣмъ труднѣйшую работу несли на своей половинѣ. Онъ не зналъ, что священникъ, встрѣтившій его съ крестомъ, отягощалъ мужиковъ своими поборами, и что собранные къ нему ученики со слезами были отдаваемы ему и за большія деньги были откупаемы родителями. Онъ не зналъ, что каменныя, по плану, зданія (больницъ и школъ) воздвигались своими рабочими и увеличили барщину крестьянъ, уменьшенную только на бумагѣ. Онъ не зналъ, что тамъ, гдѣ управляющій указывалъ ему по книгѣ на уменьшеніе по его волѣ оброка на одну треть, была на половину прибавлена барщинская повинность» (ibid.).

Онъ ничего не зналъ... А потому и «былъ восхищенъ своимъ путешествіемъ по имѣніямъ» и думалъ: «какъ легко, какъ мало усилія нужно, чтобы сдѣлать такъ много добра!»

Главную причину неудачъ Пьера Толстой видитъ въ отсутствіи у него практическаго смысла, «той практической цѣпкости, которая бы дала ему возможность непосредственно взяться за дѣло». Мы уже знаемъ, какъ Толстой оттѣняетъ этотъ недостатокъ Пьера противуположной чертою кн. Андрея.

Но—думается намъ—если бы все дѣло ограничивалось этимъ, то это было бы полъ-бѣды. Человѣкъ, лишенный дѣловитости и практической цѣпкости, можетъ однако для проведенія въ жизнь своихъ благихъ намѣреній найти исполнителей и помошниковъ, обладающихъ этими качествами. Пьеръ могъ бы, напр., обратиться за указаніями, какъ взяться за дѣло, къ князю Андрею, поучиться у него, найти черезъ его посредство надежныхъ и умѣлыхъ людей, вмѣсто того, чтобы съ поражающей для умнаго человѣка наивностью полагаться на плута управляющаго.

Итакъ, главная бѣда Пьера не въ этомъ. Она — въ томъ, что для него устройство быта крестьянъ и вопросъ ихъ освобожденія довлѣютъ не сами себѣ, а являются только частью общей задачи исправленія рода человѣческаго, и что, даже и помимо этой масонской точки зрѣнія, для Пьера это великое и столь трудное, столь отвѣтственное дѣло было только средствомъ личнаго нравственнаго

удовлетворенія, успокоенія своей совѣсти и путемъ къ самоусовершенствованію. Съ этой стороны освобожденіе и улучшеніе быта крѣпостныхъ являлось для Пьера не цѣлью, а средствомъ. Вотъ это-то подкапывало въ самой основѣ общественную дѣятельность Пьера и съ тѣмъ вмѣстѣ наносило ущербъ и нравственнымъ стремленіямъ его. Это станетъ намъ вполнѣ ясно, если мы для опредѣленія понятія о нравственномъ элементѣ въ отношеніяхъ между людьми примемъ кантовскую формулу, которую я считаю единственно-раціональной: смотри на ближняго своего, кто бы онъ ни былъ, какъ на цѣль, а не какъ на средство. Изъ этого не слѣдуетъ, конечно, чтобы всякое трактованіе ближняго, какъ средства, было непремѣнно безнравственнымъ. Нѣтъ, оно только — не нравственно, не относится къ категоріи нравственнаго. Въ попыткахъ Пьера—улучшить жизнь крестьянъ и освободить ихъ— чисто нравственный элементъ сводился къ стремленію (хотя бы безсознательному) стать къ мужику въ такія отношенія, при которыхъ онъ являлся бы для помѣщика цѣлью, а не средствомъ достиженія другихъ, постороннихъ цѣлей. Напротивъ, все, что — въ попыткахъ Пьера — вытекало не изъ этого источника, а изъ желанія успокоить свою совѣсть и самому стать лучше черезъ стремленіе (все равно, въ этомъ случаѣ, приведшее, или нѣтъ, къ положительнымъ результатамъ) облагодѣтельствовать мужика, — все это, говорю я, не было элементомъ чисто-нравственнымъ: это было только благородно-эгоистическое стремленіе къ личному моральному благополучію, при чемъ ближній (мужикъ) трактовался какъ средство для достиженія этой цѣли, и послѣдняя достигалась даже въ томъ случаѣ, если фактически положеніе мужика отъ этихъ стремленій только ухудшалось. Возьмемъ другой примѣръ: если помѣщикъ былъ добръ, нежаденъ, не злоупотреблялъ своей властью, и крестьянамъ жилось у него хорошо; если онъ ихъ не сѣкъ, не ссылалъ; если онъ не вторгался въ ихъ семейныя отношенія, не устраивалъ или разстраивалъ, по своему произволу, браки и т. д.; то, конечно, отношенія на практикѣ переставали быть безнравственными, но и не превращались въ нравственныя: не слѣдуетъ смѣшивать идиллію съ этикою. Истинно-нравственный элементъ появится въ этихъ отношеніяхъ съ того

момента, когда эта гуманность, эта идиллія, будетъ одухотворена сознаніемъ, что низведеніе цѣлаго сословія на степень средства для матеріальнаго (да и всякаго иного) благополучія другого сословія есть нѣчто въ принципѣ безнравственное, и что нужно стремиться къ упраздненію этого порядка вещей. Сама по себѣ доброта, доброжелательность или жалость къ людямъ, гуманность и филантропія — все это только благопріятныя для установленія нравственныхъ отношеній условія и далеко не всегда на дѣлѣ совпадаютъ съ этими отношеніями. Истинное основаніе для послѣднихъ—свобода. Свобода личная—первый шагъ къ ихъ установленію, свобода экономическая—ихъ завершеніе. Только на почвѣ свободы возможны нравственныя отношенія между людьми, т.-е. такія, при которыхъ человѣкъ человѣку — цѣль. Оттуда—извѣстное ощущеніе какой-то нравственной лжи, сопутствующее наилучшимъ филантропическимъ стремленіямъ при сохраненіи statu quo несвободы. Оттуда также — ингредіентъ нравственнаго элемента во всѣхъ стремленіяхъ къ свободѣ, усиливающійся вмѣстѣ съ углубленіемъ и расширеніемъ самого понятія свободы. Въ проектахъ освобожденія крестьянъ съ землею было больше нравственнаго элемента, чѣмъ въ проектахъ освобожденія безъ земли, и въ первыхъ онъ былъ прямо-пропорціоналенъ количеству и качеству предполагавшагося надѣла.

Изъ такой постановки вопроса вытекаетъ нашъ взглядъ на задачу, предстоявшую Пьеру и всѣмъ, ему подобнымъ, кто только сознавалъ въ ту эпоху ненормальность крѣпостного права и стремился успокоить свою совѣсть помѣщика. Заморить червяка совѣсти было нетрудно—идилліей и филантропіей. Установить (или начать устанавливать) истинно-нравственныя отношенія къ народу можно было только—работая въ видахъ его освобожденія и экономическаго обезпеченія. Теперь спрашивается: что прежде всего было нужно для успѣшности этой работы? Прежде всего— не путать сюда задачъ своего совершенствованія и съ самаго начала поставить вопросъ на единственно-раціональную, съ этической и съ соціальной точки зрѣнія, почву, а именно ту, которая выражается формулою: свобода и благосостояніе народа нужны для него самого, а не для успокоенія совѣсти помѣщиковъ. Вотъ если бы Пьеръ съумѣлъ стать на эту точку зрѣнія, то, вмѣсто того, чтобы подвергать анализу свои душевныя движенія, онъ приложилъ бы

свой умъ, свои силы къ изученію быта и нуждъ крестьянъ и самого вопроса о ихъ освобожденіи или о подготовкѣ ихъ будущаго освобожденія и, конечно, несмотря на всю свою непрактичность, что-нибудь все-таки сдѣлалъ бы полезнаго и цѣннаго въ этомъ направленіи. Итакъ, дѣло сводилось къ перенесенію центра тяжести вопроса на почву соціальную и къ послѣдовательному разграниченію двухъ заинтересованныхъ въ вопросѣ «сторонъ»: стороны лично-нравственной и стороны общественной. Отъ такого разграниченія обѣ стороны только выигрываютъ.

У Пьера онѣ не были разграничены и потому обѣ оказались въ проигрышѣ. Сторона соціальная, фактическія отношенія помѣщика къ крестьянамъ и дѣло улучшенія быта послѣднихъ и подготовки ихъ освобожденія, не подвинулась ни на шагъ впередъ. Съ тѣмъ вмѣстѣ и нравственный міръ Пьера, можно сказать, ничего не пріобрѣлъ, ибо успокоеніе совѣсти или удовлетвореніе нравственнаго чувства, достигаемое столь фиктивными добрыми дѣлами, основанное на иллюзіи, не можетъ считаться пріобрѣтеніемъ, плюсомъ въ нравственномъ обиходѣ личности, а равно и не говоритъ въ пользу большихъ запросовъ совѣсти, не свидѣтельствуетъ о тонкости, чуткости и серьезности моральнаго чувства. Съ этой стороны вышеприведенное указаніе Толстого на то, что Пьеръ былъ въ восхищеніи отъ своего путешествія по имѣніямъ, представляется намъ весьма характернымъ для Пьера, какъ нравственной величины въ данный моментъ его развитія. Еще характернѣе другое указаніе. «Главноуправляющій, весьма глупый и хитрый человѣкъ, совершенно понимая умнаго и наивнаго графа и играя имъ, какъ игрушкой, увидавъ дѣйствіе, произведенное на Пьера приготовленными пріемами, рѣшительнѣе обратился къ нему съ доводами о невозможности и, главное, ненужности освобожденія крестьянъ, которые и безъ того были совершенно счастливы». И Пьеръ поддался этимъ «доводамъ» глупаго и хитраго человѣка. Но почему-же, однако? И какъ это могло случиться? А вотъ— почему и какъ: «Пьеръ въ тайнѣ своей души соглашался съ управляющимъ въ томъ, что трудно было представить себѣ людей болѣе счастливыхъ, и что Богъ знаетъ, что ожидало ихъ на волѣ». Отсюда видно, что, во-первыхъ, Пьеру и въ голову не приходило простое соображеніе о томъ, что плохо то «счастье», которое зависитъ отъ доброй воли и прихоти рабовладѣльца, и, во-вторыхъ,

что задача-то должна была состоять вовсе не въ томъ, чтобы сдѣлать раба счастливымъ, а въ томъ, чтобы сдѣлать его не рабомъ, предоставляя ему, какъ человѣку свободному, самому устраивать свое благополучіе.—«Но Пьеръ»—читаемъ дальше—«хотя и не охотно, настаивалъ на томъ, что онъ считалъ справедливымъ», т. е. на освобожденіи. Это «хотя и неохотно» чрезвычайно характерно: оно показываетъ, что у Пьера въ то время еще не было живого чувства нравственнаго отвращенія къ крѣпостному праву, къ роли рабовладѣльца, а также—что онъ далеко не усвоилъ себѣ ни общественнаго, ни нравственнаго значенія реформы (отмѣны крѣпостного права), къ которой лучшіе люди того времени стремились съ большей или меньшей сознательностью. Пьеръ не умѣлъ взглянуть на дѣло съ подобающей серьезностью, какъ на великую общественную проблему, которая должна быть изучаема, разрабатываема и—пока—рѣшаема, въ видѣ опытовъ, усиліями частныхъ лицъ, въ маломъ масштабѣ,—независимо отъ лично-нравственной задачи, отъ того, успокоилась-ли уже, или еще нѣтъ, совѣсть того или другого помѣщика. Смѣшивая или не научившись еще раздѣлять эти двѣ задачи, Пьеръ принялъ успокоеніе своей совѣсти за рѣшеніе крестьянскаго вопроса.

Теперь опять вспомнимъ князя Андрея. Онъ, какъ мы знаемъ, также говоритъ, что крестьянъ слѣдуетъ освободить прежде всего для блага самихъ помѣщиковъ, чтобы они не портились нравственно. Но мы знаемъ также, что онъ высказываетъ это въ минуту душевнаго упадка, въ томъ состояніи ожесточенія, въ которомъ онъ находился, когда переживалъ душевный кризисъ. Пусть даже этотъ рѣзкій и крайній выводъ будетъ все-таки выраженіемъ барскаго отношенія къ народу и дворянскаго эгоизма кн. Андрея. Но это нисколько не мѣшаетъ ему на дѣлѣ заботиться о своихъ крестьянахъ—ради нихъ самихъ и работать для подготовки великой реформы: часть своихъ крестьянъ онъ освободилъ, другихъ перевелъ на оброкъ и (что для насъ весьма важно)—не былъ, какъ Пьеръ, въ восхищеніи отъ своего великодушія. Ни откуда не видно, чтобы онъ считалъ свою совѣсть успокоенною. Очевидно, онъ смотрѣлъ на свою дѣятельность въ этомъ направленіи, какъ на одну изъ первыхъ попытокъ, какъ на посильное стараніе начать дѣло въ маломъ размѣрѣ. Задача лично-нравственная у князя Андрея уже отдѣлена отъ общественной, и съ тѣмъ вмѣстѣ онъ уже

близокъ къ тому, чтобы стать въ отношеніи къ народу на ту точку зрѣнія, съ которой свобода и благо народа являются сами по себѣ цѣлью. Съ этой стороны мы отдадимъ рѣшительное преимущество Болконскому передъ Безуховомъ.

IV.

Но пойдемъ дальше и взглянемъ на другую сторону медали.

Реалистъ Болконскій былъ одаренъ всѣми качествами, необходимыми для плодотворной и въ свое время передовой дѣятельности въ сферѣ крестьянскаго вопроса. По существу дѣла, это была работа практическая. Но на ряду съ нею наступилъ чередъ поднятія общихъ вопросовъ о народѣ, какъ основѣ исторической жизни Россіи, о національномъ складѣ, о національномъ развитіи, объ отношеніяхъ образованнаго общества къ народной массѣ. Руководящимъ идеямъ и стремленіямъ передовой части общества предстояло постепенно демократизироваться. Мысль о народѣ должна была занять видное мѣсто въ ряду другихъ мыслей, какія только волновали умы мыслящихъ людей. Однимъ изъ піонеровъ этого движенія, этого поворота отъ зап. Европы къ русскому мужику является идеалистъ Пьеръ Безуховъ, въ высокой степени приспособленный къ этой роли по основнымъ качествамъ своего ума и сердца.

Прежде чѣмъ идейно подойти къ реальному народу, нужно было освоиться съ идеей народа, народнаго «духа»; необходимо было сперва заинтересоваться самой мыслью о томъ, что есть какая-то своеобразная народная психика, есть невѣдомая намъ жизнь народныхъ массъ, съ ея вѣковыми устоями, съ ея своеобразными проявленіями обычаевъ, нравовъ, нравственныхъ понятій, вѣрованій, можетъ быть—идеаловъ. На все это надо было съумѣть взглянуть не сверху внизъ, не пренебрежительно, не брезгливо, не съ празднымъ любопытствомъ, а такъ, чтобы сказывалась внутренняя потребность приблизиться къ народу, понять и полюбить его. Мало того: въ противовѣсъ прежнему презрѣнію къ нему, нужно было начать идеализировать его. Все это не дѣлается по щучьему велѣнію. У насъ оно постепенно какъ-бы надвигалось тѣми же путями, какими аналогичныя теченія народолюбія и демократизаціи мысли пробивались и въ зап. Европѣ: пути къ народу шли черезъ пробужденіе національнаго чувства, черезъ романтизмъ, черезъ ин-

тересы къ своей исторіи и старинѣ, наконецъ черезъ созданіе національной художественной литературы. Особливо важное значеніе въ этомъ движеніи принадлежало Пушкину, ученику Арины Родіоновны, Пушкину—съ его искренней симпатіей къ народу, съ его уваженіемъ къ народной рѣчи, съ его глубокимъ и тонкимъ пониманіемъ русской народности.

Обращаясь къ нашимъ героямъ, мы скажемъ, что, насколько князь Андрей превосходилъ Пьера на поприщѣ практическаго служенія народному дѣлу, настолько Пьеръ имѣетъ на своей сторонѣ всѣ преимущества въ роли провозвѣстника или піонера грядущаго народолюбія. Въ лицѣ Пьера представитель высшаго круга, высшей интеллигенціи времени и европейской образованности снялъ шапку передъ мужикомъ, передъ представителемъ народно-національнаго склада и вѣковыхъ устоевъ бытовой и нравственной жизни народа. Встрѣча Пьера съ Каратаевымъ и его возрожденіе подъ воздѣйствіемъ «духа каратаевщины» означаетъ первые всходы того тяготѣнія къ народу, которое позже скажется въ передовомъ славянофильствѣ съ одной стороны, въ передовомъ западничествѣ съ другой, еще позже—въ идеяхъ и дѣятельности людей радикально-прогрессивнаго лагеря.

Для князя Андрея мысль о народѣ исчерпывается вопросомъ объ устройствѣ быта крѣпостныхъ и о подготовкѣ реформы. Для Пьера, послѣ встрѣчи съ Каратаевымъ, эта мысль возвысилась до идеи народа и стала вопросомъ цѣлаго міросозерцанія, начавшаго слагаться. Постараемся-же уяснить себѣ, какъ выразилась у Пьера идея народа, какое мѣсто заняла она въ обиходѣ его высшихъ понятій и его стремленій, и—наконецъ—какое воздѣйствіе могла она оказать на характеръ и направленіе его практической дѣятельности.

Съ этой цѣлью обратимся сперва къ главамъ XII-й и XIII-й четвертой части IV-го тома, гдѣ описывается та перемѣна, которая произошла въ Пьерѣ послѣ его освобожденія изъ плѣна, подъ вліяніемъ всего, что онъ видѣлъ и испыталъ во время занятія Москвы французами и въ плѣну. Здѣсь мы знакомимся съ рядомъ душевныхъ состояній, испытанныхъ Пьеромъ. Перебирая ихъ, мы прежде всего приходимъ къ мысли о необходимости устранить тѣ изъ нихъ, которыя пережилъ-бы всякій другой на мѣстѣ Пьера. Этотъ вычетъ даетъ въ результатѣ то, что характеризуетъ спеціально Пьера и что, собственно, намъ и нужно. Такъ, тотъ фактъ, что послѣ освобожденія на Пьера нашло какое-то

безчувстіе и равнодушіе, и онъ съ полнымъ безучастьемъ отнесся къ извѣстіямъ о смерти кн. Андрея и своей жены, Эленъ,— легко объясняется физическимъ и душевнымъ переутомленіемъ,— и всякій другой на мѣстѣ Пьера такъ-же вяло, какъ и онъ реагировалъ-бы на новыя впечатлѣнія.—Далѣе, очнувшись послѣ болѣзни (онъ заболѣлъ въ Орлѣ по пути въ Кіевъ), первое, что ощутилъ онъ, было «радостное чувство свободы,—той полной, неотъемлемой, присущей человѣку свободы, сознаніе которой онъ въ первый разъ испыталъ на первомъ привалѣ, при выходѣ изъ Москвы...»—«Онъ удивлялся тому, что эта внутренняя свобода, независимая отъ внѣшнихъ обстоятельствъ, теперь какъ будто съ излишкомъ, съ роскошью обставлялась и внѣшнею свободою». Теперь онъ былъ счастливъ однимъ сознаніемъ этой внѣшней свободы и, какъ ребенокъ, наслаждался самымъ процессомъ существованія. Все это психологически элементарно и ничуть не характеризуетъ Пьера, какъ таковаго.

Зато въ высокой степени характернымъ для него является то, что вышло изъ этого настроенія. Человѣкъ другого душевнаго склада пережилъ-бы это состояніе наивной радости свободы и жизни безъ всякихъ послѣдствій. Привычка жить и пользоваться свободой скоро отняла-бы у него эту жизнерадостность. Иначе вышло у Пьера. Дѣло въ томъ, что раньше жизнь и свобода казались ему цѣнными не сами по себѣ, а въ виду тѣхъ цѣлей, которыя онъ преслѣдовалъ. Теперь, въ силу необыкновеннаго подъема психологической цѣнности самой жизни и свободы, тѣ цѣли обезцѣнивались. Всѣ прежнія высшія стремленія, массонство, любовь къ человѣчеству, филантропическія предпріятія и пр., теперь теряли въ его внутреннемъ мірѣ ту значительность, какую они имѣли прежде. Толстой прямо говоритъ намъ, что «то самое, чѣмъ онъ прежде мучился, чего искалъ постоянно, цѣли жизни, теперь для него не существовало» (гл. XII). Но этого мало: Толстой говоритъ намъ также, что это было не временное настроеніе, которое пройдетъ, когда Пьеръ оправится и войдетъ къ колею жизни,—нѣтъ: «эта искомая цѣль жизни теперь не случайно не существовала для него, только въ настоящую минуту, но онъ чувствовалъ, что ее нѣтъ и не можетъ быть» (гл. XII). Иными словами: для Пьера обезцѣненіе прежнихъ цѣлей и новое для него ощущеніе самоцѣнности жизни были только перемѣщеніемъ идеальнаго извнѣ внутрь, изъ макрокосма идей въ микрокосмъ личной повседневной жизни. Тол-

стой разъясняетъ намъ это перемѣщеніе такъ: прежде Пьеръ «искалъ Бога въ цѣляхъ, которыя онъ ставилъ себѣ»,—теперь-же, главнымъ образомъ благодаря Каратаеву, онъ убѣдился, что искомый Богъ не только въ тѣхъ цѣляхъ, въ тѣхъ идеальныхъ стремленіяхъ, что онъ вездѣ, во всемъ. Пьеръ увидѣлъ Его въ Каратаевѣ, и «Богъ въ Каратаевѣ, казалось ему, болѣе великъ, безконеченъ и непостижимъ, чѣмъ въ признаваемомъ массонами Архитектонѣ вселенной». И Пьеръ, говоритъ Толстой, «испытывалъ чувство человѣка, нашедшаго искомое у себя подъ ногами, тогда какъ онъ напрягалъ зрѣніе, глядя далеко отъ себя»... (гл. XII).—Ближайшимъ результатомъ этой перемѣны было состояніе внутренняго довольства, спокойствія духа, которое теперь испытывалъ Пьеръ: «И чѣмъ ближе онъ смотрѣлъ (на жизнь въ ея ежедневныхъ проявленіяхъ), тѣмъ больше онъ былъ спокоенъ и счастливъ» (ib.). Въ числѣ проявленій этой жизни были, конечно, и уродливыя, и (такъ надо думать) Пьеръ, «созерцая» ихъ, оставался «спокоенъ и счастливъ». Толстой не говоритъ, какъ, въ этотъ періодъ, Пьеръ относился напр. къ крѣпостному праву. Но, судя по всему, онъ теперь примирялся съ нимъ, не въ принципѣ, конечно, но все-таки—съ фактомъ его существованія, и ни откуда не видно, чтобы протестъ противъ этого учрежденія, который Пьеръ раздѣлялъ раньше со всѣми передовыми людьми эпохи, сколько-нибудь подвинулся впередъ, сталъ бы сознательнѣе, осмысленнѣе.—Очевидно, Пьеръ выступалъ на какой-то новый «путь развитія»,—и пока неизвѣстно, куда этотъ путь приведетъ его.

Онъ могъ-бы привести его, напр., къ тому безнадежному оптимизму и примиренію съ дѣйствительностью, на которые, повидимому, намекаетъ Толстой, рисуя въ гл. XIII блаженное настроеніе Пьера. Здѣсь между прочимъ указана слѣдующая «новая черта» въ немъ: «это—признаніе возможности каждаго человѣка думать, чувствовать и смотрѣть на вещи по своему, признаніе невозможности словами разубѣдить человѣка».—Если это только—терпимость и слѣдствіе уваженія къ человѣку, то эта «новая черта» несомнѣнно—пріобрѣтеніе, и Пьеръ—въ выигрышѣ. И мы склонны такъ смотрѣть на это, когда тутъ-же читаемъ: «эта законная особенность каждаго человѣка, которая прежде волновала и раздражала Пьера, теперь составляла основу участья и интереса, которые онъ принималъ въ людяхъ». Но непосредственно слѣдующее за этимъ указаніе уже возбуждаетъ въ насъ

сомнѣніе, не ошибаемся-ли мы, не должны-ли мы скорѣе считать Пьера въ проигрышѣ отъ «новой черты»: «различіе, иногда совершенное противорѣчіе взглядовъ людей съ жизнью и между собою радовало Пьера и вызывало въ немъ насмѣшливую и кроткую улыбку». Вотъ именно эта радость и кроткая улыбка, на которыя въ этой главѣ неоднократно указываетъ Толстой, и смущаютъ насъ. Что-бы ни видѣлъ и ни слышалъ Пьеръ, хорошее, дурное, умное, глупое, онъ одинаково все только радуется и кротко улыбается. Такъ, «замѣчанія Вилларскаго (съ которымъ Пьеръ встрѣтился въ Орлѣ и вмѣстѣ выѣхалъ оттуда), постоянно жаловавшагося на бѣдность, отсталось отъ Европы, невѣжество Россіи, только возвышали радость Пьера». Почему? А потому, что «тамъ, гдѣ Вилларскій видѣлъ мертвенность, Пьеръ видѣлъ необычайную могучую силу жизненности, ту силу, которая въ снѣгу, на этомъ пространствѣ, поддерживала жизнь этого цѣлаго, особеннаго и единаго народа...»—И опять радостно улыбался...

Не трудно видѣть, что отъ этихъ радостныхъ улыбокъ одинъ шагъ до квіетизма. Но, какъ мы знаемъ изъ дальнѣйшаго, въ особенности изъ эпилога, Пьеръ до квіетизма не дошелъ. Настроеніе радостныхъ улыбокъ было у него столь-же преходящимъ, временнымъ, какъ раньше увлеченіе массонствомъ и филантропіей. Это все еще былъ только «моментъ» въ его развитіи. Этотъ «моментъ» представляется намъ не лишеннымъ интереса съ двухъ точекъ зрѣнія. Во-первыхъ, со стороны его значенія въ личной душевной исторіи самого Пьера. Толстой указываетъ на то, что только съ этого момента Пьеръ и сталъ замѣчать окружающую дѣйствительность и интересоваться ею, между тѣмъ какъ прежде она была для него покрыта туманомъ. Прежде онъ весь былъ поглощенъ своими мыслями, своими исканіями, теперь онъ присматривается къ людямъ, прислушивается къ чужимъ мыслямъ,—онъ очнулся и отвлекся отъ исключительнаго самоуглубленія и сталъ видѣть людей и вещи, какъ они есть. Съ тѣмъ вмѣстѣ въ немъ проявилось и нѣчто въ родѣ практическаго смысла и такта, которыхъ ему недоставало раньше, нѣчто въ родѣ чутья дѣйствительности. Онъ теперь умѣетъ отличить плута отъ порядочнаго человѣка, не раздаетъ деньги зря и старается быть щедрымъ со смысломъ. Въ гл. XIII-ой это иллюстрируется примѣрами. И невольно мы сожалѣемъ, что та-

кая полоса не нашла на Пьера раньше, котда онъ устраивалъ благополучіе своихъ крестьянъ.

Во-вторыхъ «моментъ» въ развитіи Пьера, насъ теперь занимающій, представляется намъ имѣющимъ свое значеніе для Пьера Безухова—какъ художественнаго образа, совмѣщающаго въ себѣ зачатки будущихъ направленій и идеаловъ мыслящей части русскаго общества.

Если, отправляясь напр. отъ сороковыхъ годовъ назадъ, будемъ слѣдить за нитью направленій, которыя въ 40-е годы уже стояли другъ противъ друга, какъ враждующіе лагери, то увидимъ, что эти нити все сближаются и, наконецъ, соединяясь или переплетаясь, теряются въ настроеніяхъ однѣхъ и тѣхъ-же личностей. Въ 20-хъ годахъ мыслящіе и передовые люди бывали въ въ одно и то-же время или въ разные періоды своей жизни «западниками» и «славянофилами», при чемъ не было принципіальнаго, неустранимаго противорѣчія между этими — еще не «направленіями», а только настроеніями. Это были еще только зачатки будущихъ системъ и школъ, зачатки, которые психологически роднились и легко могли уживаться вмѣстѣ. Кто такой Чацкій? Славянофилъ или западникъ? И то и другое. Самъ Евгеній Онѣгинъ, не переставая быть все тѣмъже «скитальцемъ» и «отщепенцемъ», пережилъ настроеніе, напоминающее будущее славянофильство [1]). Вотъ именно перемѣна, происшедшая въ Пьерѣ, и можетъ быть разсматриваема, какъ одно изъ раннихъ всходовъ этого зачаточнаго славянофильства: Пьеръ уже лелѣетъ мысль о томъ, что русскій народъ есть какой-то особенный, «единственный» народъ, что подъ рубищемъ его бѣдности и отсталости скрывается великій національный духъ. Оттуда уже недалеко до націоналистическаго мессіанизма,

---

[1]) Россія!... Русь!.. мгновенно
Ему поправилась отмѣнно.
И рѣшено—ужъ онъ влюбленъ!
Россіей только бредитъ онъ!
Ужъ онъ Европу ненавидитъ
Съ ея логической душой.
Съ ея разумной суетой!..

Въ послѣднихъ двухъ строкахъ какъ-бы пророчески резюмированы цѣлые томы Аксаковыхъ, Хомякова и др.—Съ другой стороны. тонъ отрывка (и выраженіе: «проснулся разъ онъ патріотомъ въ Hôtel de Londres, что̀ на Морской») указываетъ на легкость и несерьезность этого настроенія.

который былъ характерной чертой стараго славянофильства.— Но, кромѣ этого эмбріона славянофильскихъ (а отчасти также и народническихъ идей), въ перемѣнѣ, постигшей Пьера, мы видимъ еще зерно того своеобразнаго религіозно-этическаго настроенія, которое при послѣдовательномъ развитіи можетъ выразиться въ отрицаніи разныхъ «направленій» и всякой «политики», въ равнодушіи къ реформамъ, въ антипатіи къ активному протесту, въ перенесеніи всѣхъ вопросовъ изъ сферы общественности въ сферу личности. Эта «нить» у насъ за все время нашего развитія отъ 20-хъ годовъ до 80-хъ не выдѣлялась въ особую «школу», но она проявлялась по временамъ какъ нота, болѣе или менѣе явственно звучавшая въ настроеніяхъ раличныхъ умовъ, даже выдающихся, среди сутолоки и полемики направленій, школъ, идей. Въ жизни общества, какъ и въ жизни отдѣльныхъ лицъ, бывали моменты, когда русскіе умы, словно утомившись въ безплодной или казавшейся таковою работѣ надъ разными «вопросами», находили неожиданный выходъ въ перенесеніи ихъ во внутренній міръ личности, въ проповѣди лично-нравственнаго совершенствованія, которая вольно или невольно сочеталась (не всегда, но весьма нерѣдко) съ примиреніемъ съ дѣйствительностью и идеализаціей, если не ея существующихъ формъ, то ея основъ. Это—явленіе органическое, психологическіе корни котораго глубоко лежатъ въ своеобразныхъ, исторически-сложившихся отношеніяхъ между русскимъ образованнымъ обществомъ и русскимъ народомъ. Глубокая пропасть между ними, неизбѣжное «отщепенство» образованнаго общества («интеллигенціи»), родъ чувства національной сиротливости въ сознаніи этого общества, оторваннаго отъ народа и къ «общественному дѣлу» не пристроеннаго, само огромное численное превосходство народа, навѣвающее мысль о его «мощи», его историческомъ призваніи, психологія тяготѣнія небольшой группы къ народной массѣ—таковы главныя пружины, вызывающія у насъ отъ времени до времени душевную потребность найти успокоеніе въ философіи «народнаго духа», историческаго призванія націи и въ относительномъ, а иногда и абсолютномъ примиреніи съ основами и формами жизни, созданіе которыхъ приписывается тому-же «духу» или «генію» многò-милліоннаго народа. Это еще хорошо, если за всѣмъ тѣмъ всетаки—при такомъ настроеніи—ставятся и преслѣдуются вопросы хотя-бы нравственнаго порядка,

если идея движенія и прогресса не совсѣмъ упраздняется, а только искажается перенесеніемъ во внутренній міръ личности.

Теперь мы можемъ вернуться къ вопросу, который мы поставили выше: какое значеніе имѣла идея народа въ душевномъ обиходѣ Пьера, въ общей экономіи его воззрѣній, въ характерѣ и направленіи его дѣятельности?

V.

Мы знаемъ, что впечатлѣніе, произведенное на Пьера Каратаевымъ, было не только очень сильно, но и прочно: оно осталось на всю жизнь. Для Пьера Каратаевъ «остался навсегда» «непостижимымъ, круглымъ и вѣчнымъ олицетвореніемъ духа простоты и правды» (томъ IV, часть I, гл. XIII). Въ только-что разсмотрѣнномъ нами «блаженномъ» настроеніи Пьера, въ періодѣ «кроткихъ улыбокъ», ясно чувствуется своеобразное отраженіе духа «каратаевщины»—съ его смиреніемъ, съ его фаталистическимъ оптимизмомъ, съ его благодушно-кроткимъ отношеніемъ ко всему, что происходитъ вокругъ,—отношеніемъ, въ которомъ нѣтъ ни тѣни протеста. Для каратаевщины въ ея подлинномъ, натуральномъ и безсознательномъ видѣ, въ какомъ является она въ самомъ Каратаевѣ, характерно именно это отсутствіе протеста. Но вѣдь отсутствіе протеста не есть еще его отрицаніе, и, очевидно, Каратаевъ, который ничего не отрицаетъ, а все пріемлетъ, не будетъ отрицать и протеста, разъ онъ такъ или иначе проявится въ окружающей дѣйствительности. И въ самомъ дѣлѣ: изъ отсутствія духа протеста, изъ каратаевскаго оптимистическаго фатализма, изъ отвѣчающаго ему уклада воли съ психологической необходимостью вытекаетъ тенденція — не протестовать противъ самого протеста, не отрицать его возможности, его законности, его наличности. Это заключеніе вполнѣ подтверждается тѣмъ, что мы наблюдаемъ у Пьера въ разсматриваемомъ періодѣ его душевной исторіи, т.-е. въ той же каратаевщинѣ, но только въ ея сознательномъ, осмысленномъ, теоретически обоснованномъ выраженіи, которое она получила у Пьера. Примирившійся съ дѣйствительностью Пьеръ примиряется и съ тѣми проявленіями протеста, какія онъ находитъ въ ней. Такъ напр., Вилларскій протестуетъ, отрицаетъ, осуждаетъ,—и Пьеръ, кротко улыбаясь и не раздѣляя этихъ протестовъ и отрицаній, мирится, однако, съ фактомъ ихъ существованія, онъ допускаетъ ихъ возможность и законность.

Это ясно изъ того, что говоритъ Толстой о вновь пріобрѣтенной чертѣ Пьера—признавать возможность и законность различныхъ мнѣній и точекъ зрѣнія.

Итакъ, мы заключаемъ, что въ каратаевщинѣ, какъ натуральной, народной, такъ и сознательной, «интеллигентной», нѣтъ принципіальнаго отрицанія духа протеста, какъ бы сама по себѣ она ни была чужда этому духу.

Имѣя въ своемъ распоряженіи этотъ выводъ, который представляется мнѣ существенно важнымъ, обратимъ теперь вниманіе на тотъ фактъ, что вѣдь Пьеръ, по складу своего ума, да и по всей своей натурѣ, несомнѣнно, принадлежитъ къ числу тѣхъ людей, для которыхъ невозможна разумная и нравственная жизнь безъ протеста въ той или иной формѣ противъ золъ, безобразій, недостатковъ и бѣдствій окружающей дѣйствительности. Массонство было въ свое время одною изъ формъ общественнаго протеста; многіе изъ лучшихъ людей эпохи присоединялись къ этому движенію, ища въ немъ не только пути къ абсолютной истинѣ и къ личному усовершенствованію, но и средствъ для просвѣтительной и филантропической дѣятельности, а, стало быть, и для тѣсно связаннаго съ этой дѣятельностью «протеста». Въ самомъ массонствѣ Пьеръ, какъ мы знаемъ, явился лицомъ протестующимъ: онъ возставалъ противъ формалистики и бездѣятельности и требовалъ дѣятельнаго, а не пассивнаго, добра; онъ мечталъ въ особенности о томъ, чтобы превратить масонство въ родъ союза «твердыхъ, добродѣтельныхъ и связанныхъ единствомъ убѣжденія» дѣятелей, которые вели бы энергическую пропаганду, вербовали бы достойныхъ лицъ и въ концѣ концовъ достигли бы того, что «орденъ» сталъ бы чѣмъ-то въ родѣ государства въ государствѣ, имѣя «власть нечувствительно вязать руки покровителямъ безпорядка» и т. д. (томъ II, ч. III, гл. VII). Однимъ словомъ, Пьеръ мечталъ тогда объ организованномъ и дѣятельномъ протестѣ.

Какъ извѣстно, Пьеру пришлось отказаться отъ этой затѣи. Вскорѣ онъ совсѣмъ отсталъ отъ массонства, разочаровавшись въ немъ. Событія 12-го года и въ особенности вліяніе Каратаева открыли его уму и чувству другіе горизонты. Его органическая склонность къ активному протесту, его потребность дѣятельнаго добра на время какъ-бы заглохли. Но онѣ не исчезли изъ обихода его души. Пьеръ не сдѣлался квіетистомъ, онъ не при-

мирился съ дѣйствительностью. Въ эпилогѣ мы видимъ его одушевленнымъ болѣе, чѣмъ когда-либо, живымъ, сознательнымъ стремленіемъ къ дѣятельному добру и къ организованному протесту.

Онъ является однимъ изъ видныхъ дѣятелей, даже однимъ изъ вожаковъ движенія 20-хъ годовъ.

Въ XIV-й главѣ I-й части эпилога Пьеръ въ спорѣ съ Николаемъ Ростовымъ, развиваетъ свои мысла и свою «программу». Онъ говоритъ: «... Всѣ видятъ, что дѣла идутъ такъ скверно, что этого нельзя такъ оставить, и что обязанность всѣхъ честныхъ людей противодѣйствовать по мѣрѣ силъ»... «Въ судахъ воровство, въ арміи одна палка: шагистика, поселеніе,—мучатъ народъ; просвѣщеніе душатъ. Что молодо, честно, то губятъ!..» «...Когда вы стоите и ждете, что вотъ-вотъ лопнетъ эта натянутая струна, когда всѣ ждутъ неминуемаго переворота, надо какъ можно тѣснѣе и больше народа взяться рука съ рукой, чтобы противостоять общей катастрофѣ. Все молодое, сильное притягивается туда и развращается. Одного соблазняютъ женщины, другого почести, третьяго тщеславіе, деньги, и они переходятъ въ тотъ лагерь. Независимыхъ, свободныхъ людей, какъ вы и я, совсѣмъ не остается. Я говорю: расширьте кругъ общества; mot d'ordre пусть будетъ не одна добродѣтель, но независимость и дѣятельность.»

Въ главѣ XVI-ой, въ интимной и задушевной бесѣдѣ съ женой, Наташей, Пьеръ (только что вернувшійся изъ Петербурга, куда онъ ѣздилъ по дѣламъ «общества», на сей разъ—не массонскаго) говоритъ, что безъ него все (въ этомъ «обществѣ») «распадалось, каждый тянулъ въ свою сторону». «Но мнѣ (продолжаетъ онъ) удалось всѣхъ соединить, и потомъ моя мысль такъ проста и ясна... Я говорю: возьмитесь рука съ рукой тѣ, которые любятъ добро, и пусть будетъ одно знамя—дѣятельная добродѣтель...»

Эти рѣчи Пьера даютъ намъ ясное указаніе на то, каковъ былъ бы его дальнѣйшій путь въ жизни и его судьба, если бы великая эпопея не заканчивалась на этомъ поворотномъ пунктѣ, на этомъ «наканунѣ» великихъ событій. Путь Пьера это—тотъ «путь чести», который привелъ бы его, какъ и князя Андрея, если бы послѣдній не погибъ раньше, «во глубину сибирскихъ рудъ».

Вотъ теперь-то какъ разъ въ-пору вспомнить Каратаева и каратаевщину,—вѣдь мы знаемъ, что въ Пьерѣ живъ культъ

перваго и въ извѣстномъ смыслѣ долженъ быть живучъ духъ второй.

Мы готовы спросить: при чемъ тутъ, въ виду этихъ стремленій и плановъ Пьера въ направленіи протеста и оппозиціи темнымъ силамъ времени, въ виду открывающейся перспективы новой дѣятельности Пьера—при чемъ тутъ культъ Каратаева и духъ каратаевщины?

Мы готовы уже поставить этотъ вопросъ, но насъ предупреждаетъ Наташа.

Слушая рѣчи Пьера, она говоритъ: «Ты знаешь, о чемъ я думаю? О Платонѣ Каратаевѣ... Какъ онъ: одобрилъ бы тебя теперь?»

То, что отвѣчаетъ на это Пьеръ, въ высокой степени знаменательно. Онъ даетъ не одинъ, а два отвѣта. Эти отвѣты—противуположны и, въ тоже время, сходны въ томъ смыслѣ, что оба гадательны и не ясны, и что оба одинаково не имѣютъ рѣшающаго вліянія на направленіе дѣятельности Пьера.

«Пьеръ нисколько не удивился этому вопросу. Онъ понялъ ходъ мыслей жены.—Платонъ Каратаевъ?—сказалъ онъ и задумался, видимо искренно стараясь представить себѣ сужденіе Каратаева объ этомъ предметѣ.—Онъ не понялъ бы, а впрочемъ, можетъ быть, что да».

Отвѣтъ—гипотетическій. Кромѣ того, онъ не прямо отвѣчаетъ на вопросъ: Наташа спрашивала объ «одобреніи», отвѣтъ Пьера говоритъ о «пониманіи».

Второй отвѣтъ: «Нѣтъ, не одобрилъ бы, сказалъ Пьеръ, подумавъ».

Этотъ отвѣтъ также въ извѣстной мѣрѣ гипотетиченъ, хотя и не такъ нерѣшителенъ, какъ первый. Но онъ не ясенъ въ тотъ смыслѣ, что оставляетъ насъ въ неизвѣстности, — почему собственно Каратаевъ «не одобрилъ бы», потому-ли, что «не понялъ-бы», или же и въ томъ случаѣ, еслибы «понялъ?»

Очевидно, «народная идея», живущая въ душѣ Пьера въ формѣ «каратаевщины», — въ данный моментъ—а это былъ моментъ многозначительный, это было «наканунѣ»,—«безмолвствовала». Но это «безмолвствованіе»—не тенденціозно, и какъ бы оно ни было истолковано, какой бы отвѣтъ ни былъ проставленъ самимъ Пьеромъ въ этой «незаполненной графѣ»—Пьеръ пойдетъ своей дорогой, отнюдь не терзаясь сомнѣніями: не противорѣчитъ ли духу каратаев-

щины этотъ путь чести и скорби,—пойдетъ смѣло и бодро, сопутствуемый этимъ безмолвіемъ, которое онъ не перестаетъ сознавать и—такъ или иначе—истолковывать.

Князь Андрей—тотъ бы его не сознавалъ, и для него не существовало бы и самаго вопроса о возможномъ отношеніи каратаевщины къ его дѣятельности и судьбѣ.

Положеніе Пьера типично для всей дальнѣйшей исторіи нашей передовой «интеллигенціи» въ ея отношеніяхъ къ народу и идеѣ народа.

Она идетъ своимъ путемъ и дѣлаетъ свое дѣло—движимая условіями и духомъ времени, общечеловѣческими стремленіями, задачами, выдвигаемыми русской жизнью, своимъ посильнымъ пониманіемъ этихъ задачъ. Культъ народа и идея народа, являющаяся различными «редакціями» понятія каратаевщины, то болѣе, то менѣе и въ различныхъ направленіяхъ идеализируемой, продолжаютъ быть для всѣхъ насъ, «взыскующихъ града», тѣмъ, чѣмъ были они для Пьера: живой потребностью души, безсознательнымъ стремленіемъ «привязать свою утлую ладью къ кормѣ большого корабля» народной жизни, необходимостью—не довлѣть самимъ себѣ, а служить живому дѣлу. Но въ противуположность Пьеру, мы уже не такъ осторожны въ истолкованіи безмолвія каратаевщины. Мы даемъ болѣе опредѣленные, иногда слишкомъ категорическіе отвѣты на «Наташинъ вопросъ». Мы часто склонны думать, что это безмолвіе не только сопутствуетъ намъ на путяхъ нашихъ, но и напутствуетъ насъ.

Подлинная, реальная каратаевщина по прежнему безмолвствуетъ. И въ этомъ нѣтъ ничего ни удивительнаго, ни огорчительнаго. Ибо она, эта «каратаевщина», какъ я старался показать это въ главѣ о Каратаевѣ,—только форма, а не содержаніе, она—наша національная форма въ ея крестьянско-архаическомъ выраженіи. Отъ формы не слѣдуетъ ожидать никакихъ отвѣтовъ ни на какіе вопросы. Отъ нея можно и должно ожидать только одного: чтобы она оказалось жизнеспособной и могла, выдерживая на всемірно-историческомъ поприщѣ конкуренцію другихъ національныхъ формъ, наполняться новымъ историческимъ содержаніемъ.

Слѣдя дальше за историческою хроникою великосвѣтской Россіи, какъ эта хроника начертана Толстымъ, мы принуждены сдѣлать большой скачекъ,—отъ 20-хъ годовъ, этой героической

эпохи великосвѣтской Россіи, къ 60—70-мъ годамъ, минуя эпоху отъ 30-хъ до 50-хъ годовъ. Въ другой великой эпопеѣ, озаглавленной «Анна Каренина», мы находимъ новый рядъ великосвѣтскихъ типовъ,—и видимъ, какъ они и ихъ роль, ихъ значеніе, ихъ достоинство пошли на убыль. Вмѣсто Болконскихъ и Безуховыхъ мы находимъ здѣсь Вронскихъ и Облонскихъ.— Эта «регрессивная эволюція» станетъ яснѣе, когда мы ближе присмотримся къ тому, что такое представляютъ собою эти эпигоны русской «аристократіи».

ГЛАВА VIII.

Романъ „Анна Каренина". Великосвѣтская психологическая форма. Графъ Вронскій.

I.

Для изслѣдователя художественнаго творчества Толстого изученіе романа «Анна Каренина» представляетъ большой интересъ: этимъ капитальнымъ произведеніемъ завершилась цѣлая эпоха въ художественной дѣятельности Толстого, и если нельзя сказать, что имъ-же открылась и новая эпоха, то, безспорно, въ романѣ «Анна Каренина» уже намѣчены симптомы новаго пути творчества, на который выступалъ геній Толстого.

Какъ изображеніе аристократической среды и великосвѣтскихъ типовъ, романъ былъ порожденіемъ и вмѣстѣ «послѣднимъ сказаніемъ» того-же направленія, которое раньше выразилось въ созданіи великосвѣтскихъ фигуръ раннихъ повѣстей и «Войны и Мира». Внутренняя потребность художника дать исчерпывающее воспроизведеніе большого свѣта съ его характерной психологіей, во всемъ разнообразіи его типовъ, во всѣхъ существенныхъ чертахъ его быта, повидимому, не была вполнѣ удовлетворена тѣмъ, что до сихъ поръ (до конца 60-хъ годовъ) онъ создалъ въ этомъ направленіи; у него, очевидно, оставался еще большой запасъ наблюденій, который долженъ былъ найти себѣ художественное выраженіе, прежде чѣмъ вопросъ могъ быть признанъ художественно-рѣшеннымъ. Онъ и былъ рѣшенъ въ первой половинѣ 70-хъ годовъ-романомъ «Анна Каренина».

Дѣло шло тутъ не о томъ только, чтобы изобразить рядъ новыхъ типовъ изъ того-же круга, чтобы изслѣдовать бытъ,

нравы, психологію великосвѣтскаго общества въ эпоху послѣ освобожденія крестьянъ и дать подробную картину жизни этого общества—въ дополненіе къ той, которая дана въ «Войнѣ и Мирѣ». Вопросъ и задача, въ смыслѣ внутренней потребности художника, интимныхъ стимуловъ его творчества, были гораздо значительнѣе, глубже и—субъективнѣе. Вспомнимъ, что въ отношеніи къ великосвѣтской средѣ Толстой (приблизительно до 80-хъ годовъ) не былъ постороннимъ наблюдателемъ: онъ принадлежалъ къ ней по рожденію и воспитанію; онъ ее изучилъ не столько какъ наблюдатель, сколько какъ самонаблюдатель, и, начиная съ повѣстей «Дѣтство», «Отрочество» и «Юность», его изображенія этой среды были какъ бы родомъ исповѣди, попыткою вытравить изъ своей души извѣстныя черты великосвѣтской психологіи, отдѣлаться отъ нихъ помощью ихъ претворенія въ художественные образы, на подобіе того, какъ Лермонтовъ отъ своего «Демона» отдѣлался—стихами. Послѣ созданія «Войны и Мира» Толстой чувствовалъ или сознавалъ, что еще не вполнѣ «отдѣлался» отъ «великосвѣтскаго человѣка». Эта задача и была довершена—романомъ «Анна Каренина». Вотъ въ какомъ смыслѣ это произведеніе примыкаетъ ко всей предшествующей дѣятельности Толстого и завершаетъ цѣлую эпоху въ ней.

Съ этой-же точки зрѣнія мы поймемъ и необходимость Левина, его значеніе, его роль—какъ образа, который въ одно и то-же время завершилъ предшествующую эпоху творчества и является первымъ указаніемъ на новый путь. Если воспроизведеніе великосвѣтской среды въ «Аннѣ Карениной» является заключеніемъ или итогомъ послѣдовательнаго ряда картинъ, ее воспроизводящихъ въ раннихъ повѣстяхъ и въ «Войнѣ и Мирѣ», то фигура Левина такъ-же точно завершаетъ или суммируетъ рядъ аналогичныхъ фигуръ въ повѣстяхъ (герой-разсказчикъ «Дѣтства», «Отрочества» и «Юности», князь Нехлюдовъ въ «Юности» и «Утрѣ помѣщика», Оленинъ въ «Казакахъ»). Эти образы, какъ извѣстно, автобіографичны и построены на данныхъ личнаго, въ тѣсномъ смыслѣ субъективнаго опыта Толстого. Левинъ блистательно заканчиваетъ эту художественную автобіографію, эту исторію внутренняго развитія Толстого, исторію его стремленій выйти изъ тисковъ великоствѣтской психики и создать себѣ независимую отъ нея душевную жизнь на основахъ широкихъ общечеловѣческихъ идеаловъ.

Обращаясь къ разсмотрѣнію романа, какъ изображенія великосвѣтскаго общества, мы не имѣемъ въ виду входить во всѣ детали и не станемъ разбирать по порядку всѣ фигуры, выведенныя въ романѣ. Для нашей цѣли достаточно установить общій взглядъ на картину жизни, нарисованную художникомъ. Но тѣмъ важнѣе сосредоточиться на болѣе подробномъ анализѣ главной фигуры, въ которой воплощены важнѣйшія типичныя черты великосвѣтской психологіи. Это именно—графъ Алексѣй Кирилловичъ Вронскій.

II.

Картина великосвѣтской жизни, такъ мастерски воспроизведенная въ «Аннѣ Карениной», прежде всего должна быть сопоставлена съ соотвѣтственной картиной въ «Войнѣ и Мирѣ».

Вспомнимъ важнѣйшіе образы въ великой эпопеѣ, сюда относящіеся, положительные и отрицательные типы, Болконскихъ, Ростовыхъ, Безухова, Друбецкаго, князя Василія и другихъ, припомнимъ мастерской психологическій анализъ Толстого, направленный на раскрытіе самой аристократической формы личности героевъ и героинь,—и мы получимъ живое и цѣльное представленіе о цѣломъ классѣ, который въ ту эпоху стоялъ у дѣла или, по крайней мѣрѣ, около дѣла. Это дѣло было общегосударственное, національное и историческое. Въ этомъ нашемъ представленіи о русской аристократіи въ дореформенное время видное мѣсто занимаетъ мысль о крѣпостномъ правѣ, какъ объ основѣ экономической силы класса и вмѣстѣ какъ о той прерогативѣ его, которая идеально обязывала его лучшихъ людей къ служенію общегосударственнымъ и широко понятымъ народнымъ интересамъ. Далѣе, въ наше представленіе о классѣ входятъ черты, указывающія на его умственное превосходство надъ другими (въ ту эпоху), на его причастность къ европейскому просвѣщенію и къ передовымъ идеямъ вѣка. Наконецъ, наше представленіе о немъ оттѣняется еще чертами аристократизма, какъ родовитаго, кровнаго, съ генеалогіями, далеко уходящими въ глубь прошлаго, такъ и новоявленнаго, «случайнаго», возникшаго волею высшей власти въ теченіе XVIII-го вѣка.

Обращаясь къ психологіи класса, мы сразу ясно различаемъ рядъ чертъ, объединяющихъ различныхъ представителей его въ

одну группу, связывающихъ узами единой классовой психологической формы, напр., стараго князя Болконскаго и Пьера Безухова, князя Андрея и Николая Ростова и т. д. Этотъ рядъ чертъ, сводящихся въ концѣ концовъ къ особаго рода соціальному самочувствію, наглядно вырисовывается сопоставленіемъ ихъ съ другими формами групповой психики, сравненіемъ князя Андрея, Безухова, Ростова и другихъ, какъ аристократовъ, съ капитаномъ Тушинымъ, Денисовымъ, Долоховымъ и другими, какъ представителями иныхъ слоевъ общества. Такія очныя ставки показываютъ намъ, что Болконскіе, Ростовы, Друбецкіе, Безуховы и т. д., независимо отъ знатности рода и высокаго положенія, отъ унаслѣдованныхъ или пріобрѣтенныхъ титуловъ, отъ владѣнія крѣпостными, отъ богатства, отъ уровня умственнаго развитія и образованія, отъ нравственныхъ качествъ, обладаютъ еще какими-то особыми психическими чертами, проявляющимися у разныхъ натуръ различно, но по существу остающимися все тѣми же: у иныхъ эти черты возведены на степень сознанія, у другихъ скрываются за предѣлами послѣдняго; вообще онѣ могутъ получать весьма разнообразную постановку въ общей душевной экономіи личности. Ихъ совокупность и образуетъ то, что мы называемъ психологическою великосвѣтскою формою: тутъ мы найдемъ и чувство своего превосходства передъ прочими смертными въ силу одной только принадлежности къ господствующему классу, и родъ брезгливости, осложняющей это чувство, и особое понятіе чести и долга, его умѣряющее или уравновѣшивающее, и извѣстную—специфическую—душевную культуру, въ которой переплетались выправка манеръ, лоскъ, тепличность воспитанія, условная образованность [1]). Все это—черты общія, классовыя, т. е. онѣ индивидуальны только въ томъ смыслѣ, что принадлежатъ каждому представителю класса и въ каждомъ выражаются различно, съ тѣми или иными оттѣнками. Онѣ образуютъ общій основной фонъ душевной картины,—именно то, что удобнѣе всего подводится подъ понятіе классовой психологической формы — въ противоположность индивидуаль

---

[1]) Какъ на черту второстепенную и временную, нужно указать на извѣстное пристрастіе къ иностраннымъ языкамъ, въ особенности французскому, соединенное съ пренебреженіемъ къ русскому, и на вытекавшую оттуда относительную денаціонализацію.

ному психологическому содержанію личности. Носители этой общей классовой психики могутъ отличаться другъ отъ друга умомъ, характеромъ, темпераментомъ, образованіемъ и т. д., и т. д., и совокупность всего, чѣмъ они психологически отличаются другъ отъ друга, составляетъ личное душевное содержаніе каждаго—въ противоположность психологической формѣ, которая ихъ сближаетъ и объединяетъ въ одну группу.

Но индивидуальное содержаніе личности (напр., такой-то характеръ, умъ такого-то склада, степень образованности, качества, обусловленныя особымъ положеніемъ или дѣятельностью личности, таланты и мн. др.) всегда такъ или иначе воздѣйствуетъ на форму и преобразовываетъ ее въ душевные элементы весьма разнообразнаго качества и достоинства. Такъ, старый князь Болконскій—при большомъ умѣ и солидномъ образованіи—являетъ намъ примѣръ аристократической формы, въ которой чувство классового превосходства превратилось въ сознательную родовую гордость и своеобразное тщеславіе. Это зависитъ отъ личныхъ свойствъ, отъ чертъ характера и отъ самой карьеры стараго вельможи и вольтерьянца. Избалованный успѣхами, властью, высокимъ положеніемъ, человѣкъ, воспитавшійся на привычкахъ стараго барства и традиціяхъ «временъ очаковскихъ», живой памятникъ екатерининскаго вѣка, но вмѣстѣ съ тѣмъ человѣкъ, хорошо сознающій свое умственное превосходство и свои заслуги,—старый князь Болконскій невольно ассоціируетъ свою личную гордость съ классовымъ самочувствіемъ, — онъ гордъ и тщеславенъ не только своими личными качествами, успѣхами, заслугами, умомъ, независимостью и т. д., но и предками, которые всѣми этими преимуществами могли не блистать въ той мѣрѣ, какая даетъ право на родословную гордость. Князь гордится своимъ родомъ и свысока третируетъ Ростовыхъ, хотя родъ послѣднихъ не менѣе древенъ. Происхожденіе отъ удѣльныхъ князей составляетъ лишь незначущую прибавку къ «достоинству» рода Болконскихъ, который также, какъ и родъ Ростовыхъ, въ прошломъ теряется въ старомосковскомъ боярствѣ, какъ извѣстно, весьма мало походившемъ на настоящую—въ европейскомъ смыслѣ—аристократію. Князь Андрей не раздѣляетъ этой родовой спѣси отца и съ улыбкою разсматриваетъ висящее на стѣнѣ «родословное древо» своихъ предковъ. Но вмѣстѣ съ тѣмъ онъ гордъ не менѣе отца, и, хотя эта гордость у него вытекаетъ преимущественно изъ сознанія своихъ личныхъ

качествъ—ума, характера, образованія, но всетаки подъ нею чувствуется несознанное родовое тщеславіе. Въ немъ ясно сказывается сынъ стараго князя, — онъ въ концѣ концовъ гордъ тѣмъ, что онъ—Болконскій, а не Безуховъ или Ростовъ. Онъ этого не высказываетъ, пожалуй, даже не отдаетъ самому себѣ отчета въ этомъ, но эта черта ясно сквозитъ во всемъ его существѣ, въ его отношеніяхъ къ другимъ, его манерѣ держаться въ обществѣ, его нескрываемомъ презрѣніи къ большинству представителей своего же круга. Сознательное тщеславіе отца стало какъ бы инстинктомъ у сына. Князь Андрей—аристократъ съ головы до ногъ, но его аристократизмъ является уже не столько дѣломъ убѣжденія, идеаломъ или программой стремленій, сколько совокупностью привычекъ, манерою держать себя, и обнаруживается непроизвольно въ мелочахъ внутренняго душевнаго обихода, въ чертахъ внѣшняго выраженія. Иначе говоря, аристократизмъ князя Андрея гораздо формальнѣе, чѣмъ у его отца. Въ этой постановкѣ, т. е. въ качествѣ чистой психологической формы, аристократизмъ въ большинствѣ случаевъ отнюдь не является душевнымъ укладомъ, подлежащимъ безусловному осужденію и отрицанію,—въ особенности же, если въ эту форму вложено значительное и цѣнное душевное содержаніе, какъ это мы видимъ у князя Андрея. Уже одна эта ея способность сочетаться съ такимъ содержаніемъ достаточно ее рекомендуетъ.

Вообще при оцѣнкѣ разныхъ классовыхъ, сословныхъ, профессіональныхъ и т. д. психологическихъ формъ слѣдуетъ прежде всего имѣть въ виду вопросъ, способна ли данная форма служить вмѣстилищемъ новаго—положительнаго—душевнаго содержанія, новыхъ идей и идеаловъ. Вопросъ гласитъ: не есть ли эта форма—старый мѣхъ, негодный для храненія новаго вина, или же это—мѣхъ, хотя и старый, но все еще добрый, могущій служить сосудомъ «вина новаго»? Свидѣтельство исторіи говоритъ въ пользу того, что аристократическая форма въ свое время болѣе, чѣмъ какая-либо другая, оказывалась пригодною для «храненія» новаго, далеко не аристократическаго по существу, содержанія идей, стремленій, идеаловъ. Мы знаемъ много примѣровъ сочетанія аристократизма формы съ демократизмомъ убѣжденій. Люди ярко-выраженной аристократической формы, въ передовыхъ странахъ Европы, въ XVIII-мъ и также отчасти въ XIX-мъ вѣкѣ, выступали въ качествѣ провозвѣстниковъ передовыхъ идей, въ

рядахъ дѣятелей, боровшихся со старыми порядками, стремившихся къ скорѣйшему упраздненію того самаго строя, котораго характернымъ признакомъ и было созданіе аристократіи, какъ правящаго класса. Вспомнимъ и нашихъ декабристовъ, изъ которыхъ многіе были типичные аристократы формы, весьма близко подходящіе въ этомъ отношеніи къ тому, что Толстой изобразилъ въ фигурѣ князя Андрея Болконскаго.

Явленіе, о которомъ мы говоримъ (сочетаніе формы, въ данномъ случаѣ аристократической, съ содержаніемъ, ей не отвѣчающимъ), менѣе всего можетъ быть названо случайнымъ или ненормальнымъ. Оно вполнѣ въ порядкѣ вещей и должно, какъ я думаю, найти раціональное истолкованіе въ данныхъ соціальной психологіи.

Психологическія классовыя формы обыкновенно переживаютъ фактическое существованіе и историческую роль своихъ классовъ и нерѣдко утилизируются историческимъ процессомъ для новыхъ цѣлей, если эти формы содержатъ въ себѣ подходящіе элементы. Но сослуживъ эту службу, форма доживаетъ до того момента, когда ей уже нечего дѣлать, когда новое историческое дѣло можетъ быть совершено другими психологическими классовыми формами лучше, чѣмъ ею,—тогда она сходитъ со сцены, чтобы просуществовать еще нѣкоторое время не у дѣлъ, прозябая и вымирая, пока наконецъ не растворится въ другихъ психологическихъ формахъ, выдвигаемыхъ на авансцену историческимъ ходомъ вещей. Современная аристократическая форма въ такомъ именно положеніи и находится: она еще существуетъ, но уже начинаетъ растворяться въ новыхъ формахъ—буржуазной и бюрократической. Такъ вездѣ въ Европѣ, такъ и у насъ, въ Россіи. У насъ аристократическая (великосвѣтская) форма еще существуетъ, но въ средѣ ея представителей нѣтъ и не можетъ быть князя Андрея Болконскаго, типичнаго аристократа формы, безъ малѣйшей примѣси буржуазныхъ чертъ, а равно и съ полной неспособностью къ бюрократическому приспособленію, какъ и ко всякому иному. Для князя Андрея (какъ я старался показать это въ главѣ VI-ой) чрезвычайно характерна эта его неприспособляемость, свидѣтельствующая о томъ, что его психологическая форма можетъ еще служить «сосудомъ вина новаго», не искажаясь, не измѣняясь, не утрачивая своихъ типичныхъ чертъ.

Напротивъ того, для современной аристократической формы именно наиболѣе характерна ея приспособляемость, въ

силу которой она теряетъ свою чистоту и цѣлостность и быстро идетъ къ исчезновенію.

Въ нашей литературѣ нѣтъ другого произведенія, по которому мы могли бы такъ хорошо ознакомиться съ этимъ процессомъ и вообще съ психологіей русской аристократической формы въ ея «послѣднемъ изданіи», какъ знаменитый романъ изъ великосвѣтской жизни—«Анна Каренина».

III.

На первомъ планѣ роскошной картины великосвѣтской жизни, изображенной въ романѣ «Анна Каренина», выступаетъ великолѣпная фигура графа Вронскаго. Для ознакомленія съ аристократическою формою въ ея новой постановкѣ Вронскій представляетъ особую важность съ той точки зрѣнія, что въ немъ эта психологическая форма еще сохраняется въ наибольшей чистотѣ: онъ—подлинный, кровный аристократъ, и приспособленіе къ новымъ условіямъ, вліяющимъ на измѣненіе изучаемой классовой психики, выразилось у него далеко не такъ значительно, какъ у другихъ представителей той же формы. Несмотря на цѣлую пропасть, отдѣляющую его отъ князя Андрея Болконскаго, между ними есть нѣкоторыя черты сходства, и, разбирая Вронскаго, намъ прійдется иногда вспоминать князя Андрея. Это поможетъ намъ лучше оттѣнить все различіе между ними, какъ представителями той же классовой психики, и покажетъ намъ, насколько измѣнилась послѣдняя за время, отдѣляющее эпоху «Анны Карениной» отъ эпохи, изображенной въ «Войнѣ и Мирѣ».

«Что такое Вронскій?»—спросимъ мы вслѣдъ за Левинымъ (т. I, ч. I, гл. XI) и отвѣтимъ—пока словами Облонскаго (тамъ же): «Вронскій—это одинъ изъ сыновей графа Кирилла Ивановича Вронскаго и одинъ изъ самыхъ лучшихъ образцовъ золоченой молодежи петербургской... Страшно богатъ; красивъ, большія связи, флигель-адъютантъ и вмѣстѣ съ тѣмъ—очень милый, добрый малый... Но болѣе, чѣмъ просто добрый малый... Онъ и образованъ и очень уменъ; это человѣкъ, который далеко пойдетъ».

Впервые мы его встрѣчаемъ въ гл. XIV-ой (т. I, ч. I), и здѣсь онъ невольно располагаетъ насъ въ свою пользу. Можно сказать, что впечатлѣніе, имъ производимое, симпатичнѣе того, какое

вызываетъ въ насъ кн. Андрей, когда мы въ первый разъ встрѣчаемъ его въ салонѣ Анны Павловны. Насколько оправдается впослѣдствіи это первое впечатлѣніе, производимое Вронскимъ, и каково будетъ наше окончательное сужденіе о немъ, какъ о человѣкѣ, это выяснится въ дальнѣйшемъ, а теперь мы займемся анализомъ формальныхъ великосвѣтскихъ элементовъ его психики, т. е. тѣхъ, которые онъ раздѣляетъ съ другими представителями класса или среды.

Далеко не у всѣхъ изъ нихъ эти элементы выступаютъ съ тою отчетливостью, какая необходима для того, чтобы они могли быть легко и удобно наблюдаемы со стороны. Тутъ играетъ не послѣднюю роль отношеніе формы къ содержанію. Есть характеры, натуры, умы, оттѣсняющіе форму далеко вглубь, такъ что она слабо обнаруживается и мало доступна наблюденію. Или же душевное содержаніе личности такъ сложно и интересно, что почти все наше вниманіе сосредоточивается на немъ, не отвлекаясь въ сторону формы. Таковъ, напр., Пьеръ Безуховъ. Что онъ—человѣкъ великосвѣтскаго круга, и что формальные признаки великосвѣтской психики въ немъ существуютъ,—это не подлежитъ сомнѣнію. Но его личное, положительное душевное содержаніе такъ значительно и интересно, и такъ поглощаетъ его самого, что мы, наблюдая его со стороны, сосредоточиваемъ все наше вниманіе на его стремленіяхъ, сомнѣніяхъ, мысляхъ, идеалахъ и т. д. и едва замѣчаемъ въ немъ черты великосвѣтской психики, не придавая имъ никакого значенія. У Пьера Безухова рѣзкія черты классовой формы не только заслонены содержаніемъ, но также и обезврежены имъ. Подобное же обезвреженіе, могущее разсматриваться какъ переходная ступень къ коренному измѣненію формы, къ ея превращенію въ другую, мы наблюдаемъ въ Облонскомъ. Стива Облонскій—слишкомъ «добрый малый», чтобы быть настоящимъ «аристократомъ». Это—натура настолько благодушная, экспансивная, веселая и легкомысленная, что всѣ черты формы, которыя такъ или иначе противорѣчатъ свободному проявленію этого характера, по необходимости смягчены, парализованы и—тѣмъ легче и скорѣе доступны коренному видоизмѣненію. Въ какомъ направленіи совершается это измѣненіе, мы постараемся выяснить на анализѣ Облонскаго въ слѣдующей главѣ.

Вообще для яркаго обнаруженія психологической формы нужны извѣстныя особенности личнаго содержанія человѣка, такія

именно, которыя бы прямо или косвенно выдвигали форму, упражняли бы ее, заставляя такъ или иначе проявляться и дѣйствовать. Подобными особенностями натуры надѣлены кн. Андрей въ «Войнѣ и Мирѣ» и графъ Вронскій въ «Аннѣ Карениной».

Въ числѣ личныхъ чертъ, общихъ этимъ двумъ натурамъ, мы находимъ то, что можно описать такими выраженіями, какъ «ощущеніе своей значительности», «знаніе цѣны себѣ», «гордость» и т. п. Въ связи съ этимъ находится у нихъ извѣстная замкнутость въ себѣ, отсутствіе экспансивности. Эти—чисто личныя—черты натуры, для обладанія которыми нѣтъ надобности быть аристократомъ и которыя встрѣчаются во всѣхъ слояхъ общества, являются однако очень сильнымъ реактивомъ по отношенію къ аристократической формѣ, оживляющимъ, заставляющимъ ярче проявляться извѣстные признаки ея.

Въ числѣ этихъ признаковъ есть одинъ, который прежде всего и оживляется при наличности указанныхъ особенностей натуры. Это именно—столь характерное для аристократіи отгораживаніе себя отъ остального человѣчества, невольное разумѣніе себя какъ особой, избранной породы людей, явное или замаскированное презрѣніе къ другимъ слоямъ общества, специфическое понятіе «хорошаго общества», «свѣта» и т. д.

Присмотримся ближе къ этой чертѣ въ томъ видѣ, какъ она выражена у Вронскаго.

Въ одномъ мѣстѣ Толстой говоритъ о Вронскомъ, что онъ «поражалъ и волновалъ людей своимъ видомъ непоколебимаго спокойствія», и что онъ «смотрѣлъ на людей какъ на вещи» (ч. I, гл. XXXI). Это одно изъ тѣхъ мѣткихъ опредѣленій, на которыя Толстой такой мастеръ. Почему «непоколебимое спокойствіе» Вронскаго поражаетъ и волнуетъ людей? Потому что эти люди ясно видятъ, что подъ выраженіемъ такого «спокойствія» скрывается привычка Вронскаго смотрѣть на нихъ какъ на вещи, не признавать ихъ такими же людьми, какъ онъ.

Въ этой манерѣ держать себя въ обществѣ, ему чуждомъ, сказывается своего рода «браминъ», застывшій въ сознаніи своего превосходства, своего происхожденія изъ головы Брахмы. Въ старину (и въ Зап. Европѣ болѣе, чѣмъ у насъ), когда аристократія была замкнутымъ классомъ и основывалась на фактическихъ прерогативахъ, такая манера никого не волновала и на

поражала: она была выраженіемъ дѣйствительныхъ отношеній. Въ этомъ смыслѣ—соотвѣтствія дѣйствительности, всему строю общества и общепризнаннымъ понятіямъ—она была «правдива» и практиковалась сознательно, съ убѣжденіемъ. Въ настоящее время она уже «неправдива», т. е. не соотвѣтствуетъ ни дѣйствительности, ни господствующимъ понятіямъ, а потому и «волнуетъ» всѣхъ тѣхъ, кто видитъ всю ея необоснованность, ея незаконность и кому вслѣдствіе этого она кажется ложью, смѣшной и досадной претензіей, пустымъ чванствомъ. Но, съ точки зрѣнія строго-психологической, ее нельзя назвать ложью: вѣдь Вронскій, когда онъ впадаетъ въ оцѣпенѣлое состояніе «непоколебимаго спокойствія» и смотритъ на людей какъ на вещи, отнюдь не лжетъ передъ самимъ собою и вовсе не сознаетъ противорѣчія этой манеры съ дѣйствительными отношеніями и господствующими понятіями. Поэтому манера, о которой мы говоримъ, должна быть понимаема не какъ ложь, а только какъ фикція: она является выраженіемъ несуществующихъ фактически отношеній и воспроизводитъ не то, что есть, а то, что когда-то было,—она—тѣнь прежней «правды». Какъ для всѣхъ тѣней прошлаго, для нея мѣсто—въ безсознательной сферѣ психики, гдѣ она должна пребывать, не выходя наружу, не проникая въ сознаніе, не становясь сознательнымъ убѣжденіемъ. Въ соціальной жизни едва ли найдется такое явленіе, которое, исчезнувъ фактически изъ обихода дѣйствительности, не оставило бы послѣ себя, въ соціальной психикѣ, своей тѣни, своей фикціи. Между ними есть и тѣ, которыя мы обыкновенно называемъ предразсудками, а соціологи ихъ подведутъ подъ понятіе «пережитка». Къ числу таковыхъ нужно отнести и фикцію аристократизма.

Послѣдняя, какъ всякій предразсудокъ, становится явленіемъ отрицательнымъ и подлежитъ справедливому осужденію тогда только, когда она, переходя изъ безсознательной сферы въ сознаніе, принимаетъ ложный видъ подлиннаго убѣжденія и вторгается въ область дѣйствительныхъ отношеній между людьми. Такому оживленію и вторженію ея въ жизнь можетъ способствовать весьма и весьма многое. Напримѣръ, въ данную минуту человѣкъ можетъ находиться въ такомъ настроеніи, которое оказывается благопріятнымъ для оживленія и обнаруженія классового предразсудка. Всѣхъ такихъ настроеній не перечесть, и для насъ достаточно, ради примѣра, указать на одно изъ нихъ,

отмѣченное Толстымъ. Въ сценѣ, которую мы имѣемъ въ виду (она же и дала поводъ Толстому упомянуть о «непоколебимомъ спокойствіи» Вронскаго, столь волнующемъ людей другого круга), мы находимъ Вронскаго въ вагонѣ на пути изъ Москвы въ Петербургъ. Онъ погруженъ въ пріятныя думы о возможности романа съ Карениной,—онъ чувствуетъ себя въ преддверьи близкой любви. Его самочувствіе усилилось, его гордость подогрѣта,—и вотъ именно это состояніе приподнятаго настроенія и является у него (у другой, менѣе замкнутой, болѣе экспансивной натуры этого могло и не случиться) тѣмъ реактивомъ, который еще энергичнѣе, чѣмъ обыкновенно, оживляетъ въ сознаніи и подчеркиваетъ въ наружномъ проявленіи извѣстныя черты аристократической формы. Это весьма удачно оттѣняется слѣдующимъ образомъ: «... Теперь онъ еще болѣе казался гордъ и самодовлѣющъ. Онъ смотрѣлъ на людей какъ на вещи. Молодой нервный человѣкъ, служащій въ окружномъ судѣ, сидѣвшій противъ него, возненавидѣлъ его за этотъ видъ. Молодой человѣкъ и закуривалъ у него, и заговаривалъ съ нимъ, и даже толкалъ его, чтобы дать ему почувствовать, что онъ не вещь, а человѣкъ, но Вронскій смотрѣлъ на него все такъ же, какъ на фонарь, и молодой человѣкъ гримасничалъ, чувствуя, что онъ теряетъ самообладаніе подъ давленіемъ этого непризнаванія его человѣкомъ». (Т. I, ч. I, гл. XXXI).

Не трудно видѣть, что—съ психологической точки зрѣнія—этого рода случаи обнаруженія аристократической фикціи представляютъ собою, такъ сказать, еще полъ-бѣды. Настоящая же психологическая «бѣда» является лишь тогда, когда—наоборотъ—фикція проникаетъ въ сознаніе не потому, что тамъ есть нѣчто, ее вызывающее, дѣйствующее на нее какъ реактивъ, но потому именно, что тамъ совсѣмъ нѣтъ ничего значительнаго, нѣтъ ни серьезныхъ мыслей, ни захватывающихъ чувствъ, и образуется родъ душевной пустоты, которая и заполняется тѣнями безсознательной сферы. Тогда классовая форма—фикція незаконно становится на мѣсто самаго содержанія личности. Вотъ именно это ненормальное и отталкивающее проявленіе аристократической фикціи мы и наблюдаемъ у Вронскаго въ первое время, въ двухъ первыхъ частяхъ романа. Потомъ, какъ увидимъ, эта черта все болѣе стушевывается, по мѣрѣ того, какъ личная жизнь Вронскаго наполняется новымъ содержаніемъ. Постепенно мы примиряемся съ нимъ.

Третированіе людей другого круга, какъ своего рода низшую расу, практикуемое Вронскимъ не только инстинктивно, по унаслѣдованной привычкѣ, но и потому, что готово стать у него (или уже стало) сознательнымъ убѣжденіемъ, принципомъ, изображено въ различныхъ мѣстахъ романа, но преимущественно въ первыхъ двухъ частяхъ. Напр., пусть припомнитъ читатель эпизодъ, гдѣ Вронскій разсказываетъ Бетси про столкновеніе двухъ офицеровъ съ титулярнымъ совѣтникомъ и свое посредничество (ч. II, гл. V) и гдѣ презрѣніе къ людямъ другого круга, обхожденіе съ ними, какъ съ низшей расой или смѣшными выходцами изъ какого-то другого міра, такъ и сквозитъ, и брыжжетъ въ каждомъ словѣ и во всемъ тонѣ, въ какомъ ведется разсказъ.

Но еще ярче оттѣнена эта черта въ гл. XIX-ой (II-ой части), гдѣ Вронскій, сидя за столомъ въ офицерскомъ собраніи, упорно не хочетъ замѣчать двухъ офицеровъ, которые въ этомъ случаѣ оказываются въ такомъ точно положеніи, въ какомъ мы видѣли выше молодого человѣка изъ окружного суда. «Вронскій, взглянувъ на нихъ (читаемъ здѣсь), нахмурился и, какъ будто не замѣтивъ ихъ, косясь на книгу, сталъ ѣсть и читать вмѣстѣ». Офицеры—того же полка, товарищи Вронскаго, и одинъ изъ нихъ даже на «ты» съ нимъ. Повидимому, онъ лично ничего противъ нихъ не имѣетъ, но они—«другой расы», другой соціально-психологической формы, не великосвѣтской,—и только потому и происходитъ слѣдующая сцена. «Что, подкрѣпляешься на работу (т. е. на предстаящія скачки?)»—сказалъ пухлый офицеръ, садясь подлѣ него.—Видишь,—отвѣчалъ Вронскій, хмурясь, отирая ротъ и не глядя на него. «А не боишься потолстѣть»—сказалъ тотъ, поворачивая стулъ для молоденькаго офицера.—Что?—сердито сказалъ Вронскій, дѣлая гримасу отвращенія и показывая свои сплошные зубы. «Не боишься потолстѣть?»—Человѣкъ, хересу!—сказалъ Вронскій, не отвѣчая, и, переложивъ книгу на другую сторону, продолжалъ читать».

Онъ хмурится, дѣлаетъ гримасы отвращенія, не отвѣчаетъ на вопросъ, ведетъ себя въ отношеніи товарища крайне невѣжливо, нарушая этимъ одинъ изъ важныхъ параграфовъ великосвѣтскаго кодекса, предписывающій быть джентльменомъ, и все это только для того, чтобы показать этимъ офицерамъ, что хотя онъ, графъ Вронскій, имъ и товарищъ по полку, но что тѣмъ не менѣе граница, ихъ отдѣляющая отъ него, остается нерушимою,—и чтобы они и не думали претендовать на какія

бы то ни было человѣческія отношенія къ нему, кромѣ служебныхъ и формальныхъ.

Для чего ему нужно показывать это? Почему бы ему не установить съ этими товарищами отношеній простыхъ и человѣчныхъ, какимъ полковая жизнь благопріятствуетъ въ большей мѣрѣ, чѣмъ всякая другая? Приличествуетъ ли наконецъ умному и образованному человѣку, какимъ представленъ Вронскій, выказывать такую спѣсь и мелочность? Вотъ вопросы, которыхъ онъ себѣ не задаетъ, и если бы кто-нибудь ихъ задалъ ему, то онъ самъ затруднился бы отвѣтить на нихъ. Намъ со стороны виднѣе,—и мы скажемъ, что это частью само собою у него выходитъ, что это у него—родъ инстинкта, частью же получаетъ преднамѣренное и утрированное обнаруженіе потому только, что аристократическая форма съ ея привычками и манерами, не встрѣчая въ индивидуальномъ содержаніи его души противовѣса и отпора, сама становится на мѣсто содержанія. Въ дѣйствительности же Вронскій лучше, чѣмъ кажется въ приведенной и другихъ подобныхъ сценахъ: пусть только жизнь его повернется такъ, чтобы его душа заполнилась извѣстнымъ содержаніемъ, какими-нибудь захватывающими интересами, чувствами, мыслями,—и фикція аристократизма, если и не исчезнетъ изъ его душевнаго обихода, то по крайней мѣрѣ отодвинется за предѣлы сознанія, проявляясь лишь изрѣдка, при случаѣ, какъ невольное душевное движеніе, а не какъ правило, руководящее поведеніемъ человѣка.

Такъ потомъ и случится. И мы увидимъ, что напр., къ художнику Михайлову, человѣку совсѣмъ изъ другого круга, Вронскій относится безукоризненно, какъ истинный джентльменъ, гуманно и тактично. Онъ не третируетъ его, не выказываетъ (и, кажется, даже не чувствуетъ) презрѣнія къ нему, и только въ глубинѣ души, не выражая этого, соглашается съ Голенищевымъ, когда послѣдній утверждаетъ, будто Михайловъ завидуетъ Вронскому. «Вронскій защищалъ Михайлова (читаемъ здѣсь), но въ глубинѣ души онъ вѣрилъ этому, потому что по его понятіямъ человѣкъ другого, низшаго міра долженъ былъ завидовать» (т. II, ч. V, гл. XIII.).

Еще, пожалуй, невиннѣе, какъ чисто-инстинктивное, другое проявленіе великосвѣтскаго предразсудка, изображенное въ гл. XXXIII (V-ой части). Вронскій (уже въ отставкѣ и по возвращеніи изъ-за границы вмѣстѣ съ Анной) приходитъ въ театръ:

«Тѣ же, какъ и всегда, были по ложамъ какія-то дамы съ какими-то офицерами въ задахъ ложъ; тѣ же, Богъ знаетъ кто, разноцвѣтныя женщины, и мундиры, и сюртуки, та же грязная толпа въ райкѣ, и во всей этой толпѣ, въ ложахъ и въ первыхъ рядахъ, были человѣкъ 40 настоящихъ мужчинъ и женщинъ. И на эти оазисы Вронскій тотчасъ обратилъ вниманіе и съ ними тотчасъ же вошелъ въ сношеніе».

Любовь къ Аннѣ и всѣ осложненія и перипетіи этой любви наполнили жизнь и душу Вронскаго новымъ содержаніемъ, поставили передъ нимъ новыя задачи, заставили его напряженно думать о многомъ, о чемъ раньше онъ никогда не задумывался. Усвоенный имъ и, казалось, столь прочный кодексъ понятій и правилъ теперь уже не годился и вызывалъ критическое къ себѣ отношеніе. Все это заставляло усиленно работать мысль и чувство Вронскаго. Вотъ именно эта работа и заполнила прежнюю пустоту души и отбросила назадъ проникавшую въ сознаніе великосвѣтскую фикцію.

Чтобы довести до конца нашъ анализъ этой фикціи, необходимо разсмотрѣть вопросъ о томъ, какъ развилась и выразилась бы она у Вронскаго при другомъ оборотѣ дѣла, т. е. если бы не было романа съ Анной и вообще не случилось бы ничего такого, что привело бы къ тому же результату,—именно наполнило бы душу Вронскаго новымъ личнымъ содержаніемъ и вмѣстѣ съ тѣмъ имѣло бы слѣдствіемъ его разрывъ съ великосвѣтскимъ обществомъ и выходъ въ отставку.

Какъ отвѣтъ на этотъ вопросъ, мы находимъ у Толстого указаніе на двѣ возможности,—и обѣ въ высокой степени любопытны, Одна изъ нихъ намѣчена въ сценѣ съ Серпуховскимъ (т. II, ч. III, гл. XXI), другая—въ эпизодѣ объ иностранномъ принцѣ, пріѣхавшемъ въ Россію.

Разсмотримъ и то, и другое.

IV.

Серпуховскій, товарищъ Вронскаго по корпусу, «одного круга, одного общества, одного съ нимъ выпуска, съ которымъ онъ соперничалъ въ классѣ, и въ гимнастикѣ, и въ шалостяхъ, и въ мечтахъ честолюбія, на дняхъ вернулся изъ Средней Азіи, получивъ тамъ два чина и отличіе, рѣдко даваемое столь молодымъ генераламъ» (ч. III, гл. XX). Это была восходящая «звѣзда

первой величины». Его появленіе уже готово было расшевелить честолюбивыя мечты Вронскаго и вызвать въ немъ чувство зависти: «Ровесникъ Вронскому и однокашникъ, онъ былъ генералъ и ожидалъ назначенія, которое могло имѣть вліяніе на ходъ государственныхъ дѣлъ, а Вронскій былъ хотя и независимый, и блестящій, и любимый прелестною женщиною человѣкъ, но былъ только ротмистромъ, которому предоставляли быть независимымъ, сколько ему угодно» (тамъ же). Серпуховскій, человѣкъ съ умомъ и способностями, съ большимъ честолюбіемъ, мечтаетъ о крупной роли въ государственной жизни Россіи. Но онъ отнюдь не заурядный карьеристъ или честолюбецъ, жаждущій почестей. Это человѣкъ въ выработанными убѣжденіями, которыя онъ стремится проводить въ жизнь. Онъ мечтаетъ о сплоченіи лучшихъ людей въ особую партію, которая, по его мнѣнію, призвана вывести Россію на настоящую дорогу. Эти лучшіе люди—по его убѣжденію—могутъ явиться только изъ высшаго круга, изъ аристократіи. Любя и цѣня Вронскаго, онъ хотѣлъ бы и его завербовать въ свою «партію». Съ этою цѣлью онъ старается расшевелить его честолюбіе и внушить ему мысль, что такіе, какъ онъ, Вронскій, нужны Россіи. «Такіе люди, какъ ты, нужны»,—говоритъ онъ Вронскому. На вопросъ послѣдняго: «Кому?»,—онъ отвѣчаетъ: «Обществу, Россіи. Россіи нужны люди, нужна партія, иначе все пойдетъ къ собакамъ». Вронскій, дѣлая видъ, будто не понимаетъ, о какой «партіи» говоритъ Серпуховскій, наивно спрашиваетъ: «Т. е., что же? Партія Бертенева противъ русскихъ коммунистовъ?» Тогда Серпуховскій высказывается болѣе опредѣленно. Онъ говоритъ: «Tout ça est une blague. Это всегда было и будетъ. Никакихъ коммунистовъ нѣтъ. Но всегда людямъ интриги надо выдумать вредную, опасную партію. Это старая штука. Нѣтъ, нужна партія власти людей независимыхъ, какъ ты да я». Опять дѣлая видъ, будто не понимаетъ, зачѣмъ нужна такая «партія», Вронскій «назвалъ нѣсколько имѣющихъ власть людей». «Но почему же они не независимы?»—спрашиваетъ онъ.—«Только потому»,—отвѣчаетъ Серпуховскій,—что у нихъ нѣтъ, или не было отъ рожденія независимости состоянія, не было имени, не было той близости къ солнцу, въ которой мы родились. Ихъ можно купить или деньгами, или лаской. И чтобъ имъ держаться, имъ нужно выдумывать направленіе. И они проводятъ какую-нибудь мысль, на-

правленіе, въ которое сами не вѣрятъ, которое дѣлаетъ зло; и все это направленіе есть только средство имѣть казенный домъ и столько-то жалованья... У меня и у тебя есть уже навѣрное одно важное преимущество, то, что насъ труднѣе купить. И такіе люди болѣе, чѣмъ когда-нибудь, нужны», (гл. XXI).

Такова «программа» Серпуховскаго. Она любопытна, и мы невольно сожалѣемъ, что Толстой не заставилъ Серпуховскаго развить ее подробнѣе и яснѣе. Но и въ томъ отрывочномъ видѣ, какъ она изложена, она позволяетъ утверждать, что Серпуховскій находится подъ властью нѣкоторой иллюзіи. Мы легко поймемъ сущность и характеръ этой иллюзіи, если уяснимъ себѣ ея психологическое происхожденіе. Но сперва нужно отмѣтить неясности или пробѣлы въ самой «программѣ» Серпуховскаго. Къ чему собственно сводится она? Къ тому ли, чтобы аристократія стала въ тѣсномъ смыслѣ «правящимъ классомъ», или только къ тому, чтобы высшіе чины правительства вербовались изъ великосвѣтской среды? Съ точностью нельзя отвѣтить на этотъ вопросъ, но послѣднее вѣроятнѣе,—а еще вѣроятнѣе то, что самъ Серпуховскій не уяснилъ себѣ этой стороны дѣла. Какъ бы то ни было, но ни то, ни другое (т. е. ни аристократія какъ правящій классъ, ни она же какъ высшее служилое сословіе) не отвѣчаетъ историческому ходу вещей, развитію государственной жизни Россіи, въ частности—усложняющимся отношеніямъ и потребностямъ ея внутренней жизни и политики. Въ «программѣ» ясно лишь одно: Серпуховскій непоколебимо убѣжденъ въ томъ, что указанныя имъ преимущества высшаго круга, именно: 1, независимость состоянія (и непремѣнно отъ рожденія), 2, имя и 3, «близость къ солнцу»?, превращаютъ ихъ обладателей, такъ сказать, въ прирожденныхъ государственныхъ людей.

Это все тотъ же взглядъ на великосвѣтскую среду, какъ на особую породу людей, это все та же тѣнь прежней «правды», когда въ самомъ дѣлѣ это была особая «порода», фактически отгороженная отъ другихъ слоевъ (впрочемъ не столько у насъ, сколько въ Зап. Европѣ). Мы находимъ, слѣдовательно, у Серпуховскаго ту фикцію, о которой была рѣчь выше, оживленною, перешедшею въ сознаніе, занявшею мѣсто въ сферѣ личнаго содержанія человѣка и дѣйствующею въ формѣ извѣстныхъ стремленій, извѣстной «программы». Вмѣстѣ съ тѣмъ ясно, что это не тотъ случай, когда фикція аристократизма становится на мѣстѣ

отсутствующаго содержанія, заполняя пустоту души. У Серпуховскаго нѣтъ пустоты души,—напротивъ, это человѣкъ съ серьознымъ содержаніемъ. Но въ этомъ содержаніи есть такіе элементы, которые благопріятствуютъ оживленію формы, служа для нея реактивомъ. Это именно—характеръ дарованій, честолюбіе, успѣхи по службѣ, заслуги. Я представляю себѣ, что для потомка западно-европейской аристократіи все это было бы еще недостаточно въ смыслѣ указаннаго реактива. Но у насъ этого достаточно, потому что наша аристократія искони была служилымъ сословіемъ. Высокое положеніе на государственной службѣ у насъ и есть то, что заставляетъ «аристократа» чувствовать себя таковымъ,—внѣ ея, на другихъ поприщахъ, онъ легко теряетъ это самочувствіе. Иллюзія Серпуховскаго состоитъ въ томъ, что онъ изъ своего личнаго опыта вывелъ заключеніе, которое оттуда логически не вытекаетъ. Онъ безсознательно поставилъ такой силлогизмъ: я успѣваю на службѣ, я дѣлаю блестящую карьеру, я оказалъ уже услуги государству, и мнѣ предстоитъ занять постъ, на которомъ я могу вліять на ходъ государственныхъ дѣлъ; при этомъ я чувствую въ себѣ «аристократа», человѣка высшаго круга, съ именемъ, чувствую свою «близость къ солнцу». Ergo: всѣ мы, люди съ независимымъ состояніемъ, именемъ и «близостью къ солнцу», отъ рожденія призваны къ успѣхамъ по службѣ, къ блестящей карьерѣ, къ высокому положенію, къ вліянію на ходъ государственныхъ дѣлъ.

Что касается Вронскаго, то заманчивыя перспективы, которыя открываетъ ему Серпуховскій, въ другое время, при другихъ обстоятельствахъ, вѣроятно пробудили бы въ немъ честолюбивыя стремленія, и онъ примкнулъ бы къ «партіи» и усвоилъ бы «программу» Серпуховскаго. Онъ подпалъ бы подъ власть той же иллюзіи. Но въ данное время сила послѣдней была парализована для него начавшимся романомъ съ Анной Карениной,—и Вронскій предпочелъ остаться при своей «независимости». Романъ былъ еще въ своемъ начальномъ фазисѣ,—и тѣ преобразованія во внутреннемъ мірѣ Вронскаго, которыя были обусловлены этимъ романомъ съ его дальнѣйшими осложненіями, въ данное время едва-едва начинались,—и Вронскій все еще оставался тѣмъ же представителемъ «золоченой петербургской молодежи» съ незаполненной душой, съ фикціей аристократической формы, вторгающеюся въ сферу личнаго содержанія. Серпуховскій выгодно отличался отъ него тѣмъ, что у него, Серпуховскаго, соотвѣтственная фикція

была уравновѣшена той иллюзіей, о которой мы только что говорили. И вскорѣ Вронскому пришлось увидѣть воочію всѣ отрицательныя стороны аристократической формы—въ томъ ея видѣ, въ какомъ проявляется она, когда не заполнена соотвѣтственнымъ ей содержаніемъ или, по крайней мѣрѣ, не уравновѣшена иллюзіей содержанія. Я разумѣю одинъ изъ замѣчательнѣйшихъ эпизодовъ романа, именно тотъ, гдѣ мы находимъ Вронского прикомандированнымъ къ особѣ иностраннаго принца. (т. II, ч. IV, гл. I).

Эпизодъ не изображенъ художественными средствами, а просто разсказанъ—кратко и вразумительно. То немногое, что здѣсь сказано, чрезвычайно мѣтко и имѣетъ большую цѣнность для раскрытія психологіи Вронскаго, въ особенности—классовой, аристократической.

«Принцъ желалъ ничего не упустить такого, про что дома у него спросятъ: видѣлъ ли онъ это въ Россіи? Да и самъ желалъ воспользоваться, сколько возможно, русскими удовольствіями. Вронскій обязанъ былъ руководить его въ томъ и другомъ». «...И принцъ съ чрезвычайной легкостью усвоилъ себѣ русскій духъ, билъ подносы съ посудой, сажалъ на колѣни цыганку и, казалось, спрашивалъ: что же еще, или только въ этомъ и состоитъ весь русскій духъ?» «Вронскій имѣлъ привычку къ принцамъ, но оттого ли, что онъ самъ въ послѣднее время перемѣнился, или отъ слишкомъ большой близости съ этимъ принцемъ — эта недѣля показалась ему страшно-тяжела. Онъ всю эту недѣлю, не переставая, испытывалъ чувство, подобное чувству человѣка, который былъ бы приставленъ къ опасному сумасшедшему, боялся бы сумасшедшаго и вмѣстѣ, по близости къ нему, боялся бы и за свой умъ. Вронскій постоянно чувствовалъ необходимость ни на секунду не ослаблять тона строгой оффиціальной почтительности, чтобы не быть оскорбленнымъ...» Манера обращенія принца была презрительна... «Главная же причина, почему принцъ былъ особенно тяжелъ Вронскому, была та, что онъ невольно видѣлъ въ немъ себя самого. И то, что онъ видѣлъ въ этомъ зеркалѣ не льстило его самолюбію...» «Глупая говядина! Неужели я такой?—думалъ онъ».

Эти слова въ высокой степени замѣчательны, но они требуютъ поясненій. Въ какомъ смыслѣ или съ какой стороны Вронскій узнаетъ себя въ принцѣ? Конечно, не въ смыслѣ опре-

дѣленной личности, не со стороны индивидуальнаго душевнаго содержанія: это люди разные. Равнымъ образомъ и не со стороны цинизма: Вронскій вовсе не циниченъ, и пошлыя сужденія принца о русскихъ женщинахъ возмущаютъ Вронскаго: они «не разъ заставляли его краснѣть отъ негодованія». Принцъ, какъ онъ изображенъ Толстымъ, несомнѣнно «глупая говядина» и, какъ человѣкъ, ничего общаго съ Вронскимъ не имѣетъ. Однако, нѣчто общее все-таки оказывается у нихъ. Что же это такое? Толстой въ слѣдующихъ словахъ довольно опредѣленно указываетъ на черту, ихъ сближающую: принцъ былъ джентльменъ, «онъ былъ равенъ и не искателенъ съ высшими, былъ свободенъ и простъ въ обращеніи съ равными, и былъ презрительно-добродушенъ съ низшими. Вронскій самъ былъ таковымъ и считалъ это большимъ достоинствомъ: но въ отношеніи принца онъ былъ низшій, и это презрительно-добродушное отношеніе возмущало его».

Вотъ именно такое «джентльменство», соединенное съ добродушно-презрительнымъ обращеніемъ съ «низшими» (съ людьми другихъ слоевъ), и составляетъ одну изъ видныхъ чертъ классовой аристократической формы. Какъ мы знаемъ, у Вронскаго она была выражена довольно ярко и проявлялась какъ инстинктъ. Такое отношеніе къ «низшимъ» онъ считалъ вполнѣ въ порядкѣ вещей, не видѣлъ въ этомъ ничего дурного; онъ даже позволялъ себѣ идти дальше въ этомъ направленіи, замѣняя добродушную презрительность явно-грубымъ, оскорбительнымъ обращеніемъ, какъ, напр., въ вышеприведенной сценѣ съ товарищами въ офицерскомъ собраніи. И вотъ теперь ему пришлось испытать на себѣ самомъ презрительно-добродушное отношеніе со стороны принца, и, чтобы оно не перешло въ явно-оскорбительное,—ему нужно было «ни на секунду не ослаблять тона строгой оффиціальной почтительности». Онъ живо почувствовалъ все неудобство, всю неразумность и негуманность такого отношенія между людьми. Но этого мало: узнавъ въ этой негуманной чертѣ принца такую же свою, онъ по одному этому признаку—и не безъ основанія—отождествилъ свою аристократическую психику съ таковой-же психикой принца. Вотъ именно въ этомъ-то смыслѣ онъ и узналъ себя въ принцѣ: онъ узналъ себя не какъ человѣка, а только какъ «аристократа», какъ носителя извѣстной классовой психологической формы. Онъ нашелъ у принца и почти понялъ тотъ

ненормальный процессъ, когда, при душевной пустотѣ, формальныя черты психики берутъ на себя роль отсутствующаго содержанія. У принца этотъ процессъ выраженъ въ крайней степени, доходящей до уродства: человѣкъ не живетъ, не чувствуетъ, не мыслитъ по-человѣчески, а только исполняетъ обрядъ обхожденія съ людьми по традиціонному кодексу. Вронскій еще очень далекъ отъ этой крайности и, при его серьезныхъ задаткахъ и умѣ, едва ли способенъ дойти до нея. Но все-таки аналогичный процессъ въ немъ уже намѣтился,—и въ психическомъ извращеніи принца онъ съ отвращеніемъ увидѣлъ участь, которая, при увеличивающемся опустошеніи души, можетъ угрожать и ему.

V.

Когда классовая форма психики, какова бы она ни была, вторгается въ область душевнаго содержанія личности, то въ этой области должны, конечно, произойти такія или иныя измѣненія. И, кажется, мы не ошибемся, если скажемъ, что лишь рѣдко эти измѣненія приводятъ къ хорошимъ результатамъ. Въ психологическомъ составѣ различныхъ классовыхъ формъ найдется, конечно, не мало чертъ высокаго достоинства (напр., чувство чести и долга въ аристократической формѣ), и вторженіе такой черты въ личный душевный обиходъ человѣка, въ текущій повседневный оборотъ его психики должно оказывать благотворное дѣйствіе на эту послѣднюю. Но въ составѣ классовыхъ формъ есть не мало и отрицательныхъ чертъ, которыя гораздо легче и чаще положительныхъ проникаютъ въ личную душевную жизнь человѣка. Обратимъ вниманіе и на то, что классовыя формы не остаются неподвижными, что онѣ, по мѣрѣ того какъ протекаетъ и близится къ концу историческая роль класса, весьма замѣтно измѣняются къ худшему. Такъ, къ концу XIX-го вѣка буржуазная классовая форма, представлявшая собою въ концѣ XVIII-го и началѣ XIX-го явленіе положительное и прогрессивное, опошлилась, «износилась» и становится явленіемъ отрицательнымъ повсюду, гдѣ она не обновляется притокомъ новыхъ — оздоровляющихъ—элементовъ. Къ счастію, буржуазная форма есть, быть можетъ, самая эластичная и подвижная изо всѣхъ доселѣ извѣстныхъ классовыхъ формъ и легко подвергается измѣненію въ различныхъ направленіяхъ, въ томъ числѣ и въ прогрессивномъ, о чемъ у насъ будетъ рѣчь въ слѣдующей главѣ.

Здѣсь же я имѣю въ виду указать только на то, что вообще сохраненіе классовыхъ формъ и переходъ ихъ элементовъ въ область личной психической жизни человѣка есть явленіе, не согласующееся съ общимъ теченіемъ историческаго прогресса, развивающагося въ направленіи къ упраздненію классовыхъ формъ и къ освобожденію человѣческой личности отъ нормъ классовой психологіи.

Самый обычный результатъ вторженія чертъ классовой психики въ личный душевный обиходъ и оборотъ человѣка состоитъ въ томъ, что человѣкъ перестаетъ чувствовать и думать, любить и ненавидѣть, относиться къ другимъ «по человѣчеству» и на основаніи императивовъ своей индивидуальной души, а начинаетъ дѣлать все это по внушеніямъ своей классовой формы. Тогда-то именно то чувство отчужденія отъ другихъ людей и превосходства передъ ними,—чувство, о которомъ мы говорили выше, какъ объ одной изъ чертъ аристократической классовой формы, въ самомъ дѣлѣ превращается въ сознательное презрѣніе къ людямъ, сопровождаемое желаніемъ дать имъ это почувствовать. Самъ по себѣ такой человѣкъ можетъ быть и добръ, и гуманенъ, онъ можетъ не питать лично никакихъ дурныхъ чувствъ къ прочимъ смертнымъ, но вторженіе указанной классовой черты въ сферу содержанія его души заставляетъ его даже помимо его воли и желанія—быть недобрымъ и невеликодушнымъ.

Но этотъ ненормальный процессъ легко можетъ быть пріостановленъ и его послѣдствія устранены усиленіемъ содержанія личности, обогащеніемъ элементовъ послѣдняго. Появленіе въ душѣ новыхъ чувствъ, новыхъ мыслей, новыхъ интересовъ, болѣе быстрый обмѣнъ душевныхъ элементовъ, ускореніе темпа психической жизни—все это ставитъ преграду вторженію чертъ формальныхъ, оттѣсняетъ ихъ за предѣлы положительнаго содержанія личности, оздоровляетъ душу человѣка, дѣлаетъ его гуманнѣе, доступнѣе всему человѣческому.

Мы видѣли Вронскаго на пути къ тому предѣлу, который представленъ психикой принца, на пути къ указанному выше душевному извращенію. Но, роковая въ другихъ отношеніяхъ, любовь къ Карениной оказалась въ этомъ случаѣ въ высокой степени благодѣтельной для Вронскаго: она наполнила его душу новымъ содержаніемъ, ускорила темпъ его личной—не формальной—душевной жизни, усилила ея напряженность, дала ему много новыхъ и сильныхъ чувствъ и невѣдомыхъ ему раньше

мыслей, пошатнула въ основаніяхъ залежавшійся кодексъ его нравственныхъ правилъ, нарушила всѣ его привычки.

По мѣрѣ того, какъ это совершалось, Вронскій становился лучше и человѣчнѣе,—и, начиная отъ знаменитыхъ сценъ у постели больной при-смерти Анны (гл. XVII-ая IV-ой части) и до конца романа, онъ привлекаетъ къ себѣ наше заинтересованное вниманіе уже не столько какъ типичный представитель великосвѣтской психологической формы, сколько—и преимущественно—какъ человѣкъ съ опредѣленнымъ характеромъ, умомъ, темпераментомъ, нравственнымъ складомъ и т. д., т. е. со стороны содержанія своей души.

Это не значитъ, конечно, что его формальная аристократическая психика потеряла способность обнаруживаться и вліять на содержаніе. Нѣтъ,—отъ времени до времени, при случаѣ, она даетъ себя знать, но эти проявленія становятся относительно рѣдкими и не имѣютъ уже рѣшающаго вліянія на ходъ его душевной жизни, какъ это было прежде. Въ былое время вся жизнь Вронскаго слагалась по кодексу и привычкамъ, добрая половина которыхъ вытекала изъ формальной (а также отчасти профессіональной—военной) психики. Теперь уже не то: «всѣ, казавшіеся столь твердыми, привычки и уставы его жизни вдругъ оказались ложными и неприложимыми» (ч. IV, гл. XVIII-ая).

Кризисъ этого душевнаго перелома изображенъ въ XVII-ой и XVIII-ой главахъ IV-ой части, которыя по праву должны разсматриваться какъ поворотный пунктъ въ душевной исторіи Вронскаго. Это именно уже упомянутыя сцены у постели при-смерти больной Анны и объясненіе съ Карениным ъ (гл. XVII), затѣмъ описаніе нравственныхъ мученій Вронскаго и его попытки къ самоубійству (гл. XVIII).

Съ этого только момента мы и начинаемъ постепенно узнавать Вронскаго, какъ человѣка, и не можемъ отказать ему ни въ уваженіи, ни въ симпатіи. Онъ все болѣе выигрываетъ въ нашихъ глазахъ. И, подводя итогъ нашимъ впечатлѣніямъ, мы должны отнести его къ числу положительныхъ типовъ, между тѣмъ какъ въ началѣ онъ сбивался скорѣе на типъ отрицательный.

Мы уже указали на то, что Вронскій, хотя и отдаленно, но все-таки въ извѣстной мѣрѣ напоминаетъ князя Андрея Болконскаго. Въ немъ, конечно, нѣтъ той сложности натуры, тѣхъ выходящихъ изъ ряда качествъ ума и тѣхъ высокихъ стремленій,

какими характеризуется Андрей Болконскій, человѣкъ, которому, очевидно, было суждено, если бы онъ не умеръ раньше, явиться однимъ изъ главныхъ дѣятелей движенія, такъ трагически закончившагося въ 1825 году.

Перенося мысленно Вронскаго въ ту эпоху, мы не знаемъ, насколько онъ оказался бы отзывчивымъ въ отношеніи къ тогдашнему движенію умовъ. Весьма возможно, что онъ остался бы въ сторонѣ. Но вмѣстѣ съ тѣмъ очевидно, что Вронскій тогда отнюдь не явился бы въ положеніи Николая Ростова. Онъ могъ бы остаться въ сторонѣ въ силу лойяльности и недостаточной воспріимчивости къ идеямъ, неспособности къ беззавѣтному увлеченію. Вообще, онъ очень положителенъ и трезвъ. Но его трезвость и положительность не вытекаютъ изъ ограниченности, какъ у Ростова. Съ Андреемъ Болконскимъ онъ отчасти сближается, кромѣ аристократической формы, складомъ характера—сильнаго, сосредоточеннаго, рѣшительнаго, — серьезностью натуры, способностью къ живому дѣлу и высоко-развитымъ чувствомъ чести и долга. Но онъ гораздо «проще»: въ немъ нѣтъ гамлетовскихъ чертъ Болконскаго, его кругозоръ гораздо уже, его стремленія легче могутъ быть удовлетворены,— ему не трудно войти въ колею служебной карьеры или въ роль земскаго дѣятеля и создать себѣ жизнь, въ которой не оставалось бы мѣста тому вѣчному недовольству, какое такъ присуще князю Андрею. Послѣдній—человѣкъ сильно выраженной, всегда бодрствующей рефлексіи,—у Вронскаго этого мучительнаго дара почти нѣтъ. Князь Андрей смотритъ на жизнь и людей съ большой высоты, которая недоступна Вронскому. Оттуда, между прочимъ, полная неприспособляемость перваго и противоположная черта второго, умѣющаго скоро и легко найти себѣ живое дѣло, создать себѣ программу жизни и дѣятельности и выполнять эту программу «не мудрствуя», съ умомъ и тактомъ, да еще съ сознаніемъ хорошо понятаго долга и призванія.

Такимъ представляется намъ Вронскій въ VI-ой части романа, именно въ главахъ (XX-ая и слѣд.), гдѣ мы видимъ его въ деревнѣ, какъ землевладѣльца-хозяина, и потомъ—въ главѣ XXXI-ой, гдѣ онъ изображенъ выступающимъ на поприще общественной дѣятельности. Излагая этотъ эпизодъ, Толстой тщательно оттѣняетъ мотивы, направлявшіе Вронскаго въ эту сторону. Сперва упомянуты мотивы чисто-личные и не имѣющіе отношенія къ самой общественной дѣятельности: «Вронскій пріѣхалъ на

выборы потому, что ему было скучно въ деревнѣ и нужно было заявить свои права на свободу предъ Анной»... Но тутъ же указанъ и выдвинутъ впередъ мотивъ совсѣмъ иного рода, рисующій Вронскаго, какъ человѣка съ задатками общественнаго дѣятеля: онъ явился на выборы... «болѣе всего для того, чтобы строго исполнять всѣ обязанности того положенія дворянина и землевладѣльца, которое онъ себѣ избралъ».

Но этого мало. Оказывается, что сама эта дѣятельность пришлась ему по душѣ, что онъ способенъ къ ней, чего онъ самъ до сихъ поръ не зналъ: «Но онъ никакъ не ожидалъ, чтобъ это дѣло выборовъ такъ заняло его, такъ забрало за живое, и чтобъ онъ могъ такъ хорошо дѣлать это дѣло». Онъ сразу оріентировался, вошелъ въ курсъ новыхъ отношеній и интересовъ, нашелъ свое мѣсто въ рядахъ «либеральной» партіи, пріобрѣлъ всеобщія симпатіи и замѣтное вліяніе. Перечисляя условія, содѣйствовавшія этому вліянію, Толстой сперва упоминаетъ о богатствѣ Вронскаго, о прекрасномъ помѣщеніи въ городѣ и отличномъ поварѣ, далѣе о дружбѣ съ губернаторомъ, товарищемъ Вронскаго по корпусу, но тутъ же прибавляетъ: „а болѣе всего (содѣйствовали вліянію Вронскаго) простыя, равныя ко всѣмъ отношенія, очень скоро заставившія большинство дворянъ измѣнить сужденіе о его мнимой гордости».

Если бы Вронскому удалось остаться на мѣстѣ и развернуть свою дѣятельность въ намѣченномъ направленіи, то, весьма вѣроятно, его аристократическая психика существенно измѣнилось бы съ теченіемъ времени и перешла бы въ общедворянскую. Въ пользу такого предположенія говорятъ только что приведенные факты, свидѣтельствующіе о приспособляемости Вронскаго къ дворянской помѣщичьей средѣ, объ его общительности, отсутствіи у него заносчивости, а равно и объ его способности къ живой дѣятельности.

Но этой дѣятельности не суждено было осуществиться. Мы знаемъ только ея начало или, точнѣе, первую попытку приступить къ ней. Поэтому мы лишены возможности вполнѣ узнать и оцѣнить Вронскаго, какъ величину общественную. Этотъ пробѣлъ отчасти вліяетъ неблагопріятно и на наше представленіе о Вронскомъ, какъ о человѣкѣ. Его качества—ума, характера и т. д., всѣ его задатки могли бы гораздо отчетливѣе выразиться на почвѣ общественной дѣятельности, чѣмъ въ интимной жизни,

въ перипетіяхъ романа съ Анной. По всему видно, что Вронскій—натура менѣе всего способная посвятить жизнь голубинымъ воркованіямъ любви. Ему необходима живая дѣятельность. Онъ рвется къ ней,—и чуть ли не главною причиною его охлажденія къ Аннѣ слѣдуетъ признать то, что въ любимой женщинѣ онъ встрѣчаетъ важнѣйшее препятствіе своимъ стремленіямъ къ живой дѣятельности.

Чтобы закончить характеристику Вронскаго, возстановимъ въ памяти то общее впечатлѣніе, какое онъ производитъ въ качествѣ героя любовной исторіи, составляющей главную фабулу романа. Полагаю, читатель согласится со мною, что въ общемъ это впечатлѣніе выходитъ хорошимъ, благопріятнымъ для Вронскаго. Въ романѣ нѣтъ ничего, что давало бы поводъ подозрѣвать Вронскаго въ легкости отношеній къ Карениной, въ фатовствѣ, въ ловеласничествѣ, въ безсердечіи. Если онъ и началъ интригу съ нѣкоторымъ легкомысліемъ, не заботясь о будущемъ, не считаясь съ интересами третьихъ лицъ (мужа, сына), то очень скоро, убѣдившись въ прочности чувства Анны и своего, онъ обнаружилъ далеко не заурядную сердечность и самоотверженность въ своихъ отношеніяхъ къ женщинѣ, которую полюбилъ. Излишне пояснять, что его охлажденіе къ Аннѣ, изображенное въ шестой и седьмой частяхъ романа, не было ни измѣною, ни отступленіемъ, ни исканіемъ новой любви. Онъ искалъ только дѣятельности, и его неспособность всецѣло отдаться любви говоритъ въ его пользу. Но онъ остается вѣренъ Аннѣ, хлопочетъ о разводѣ и хотѣлъ бы навсегда связать свою жизнь съ ея жизнью. Ограничиваясь сказаннымъ, закончу характеристику Вронскаго указаніемъ на то выгодное для него впечатлѣніе, которое онъ производитъ послѣ смерти Анны, въ послѣдней сценѣ, гдѣ мы встрѣчаемъ его, именно на дебаркадерѣ желѣзной дороги, на пути въ Сербію (ч. VIII-ая, гл. V-ая).

ГЛАВА IX.

Разложеніе аристократической психологической формы. Стива Облонскій.

I.

Фигура Стивы Облонскаго, нарисованная съ изумительной даже для Толстого рельефностью и живостью изображенія, представляетъ для насъ, съ точки зрѣнія, установленной въ преды-

дущей главѣ, далеко не маловажный интересъ. Разбирая Вронскаго, какъ типичнаго представителя аристократической психологической формы, мы отмѣтили въ немъ симптомы возможнаго разложенія или, по крайней мѣрѣ, видоизмѣненія этой формы въ направленіи къ тому соціально-психологическому укладу, который условно—можно назвать общедворянскимъ. Вотъ именно этотъ процессъ въ Облонскомъ выразился несравненно яснѣе и сильнѣе. То, что у Вронскаго дано лишь какъ симптомъ или же какъ возможность, у Облонскаго уже является совершившимся фактомъ. Классовая психика Облонскаго уже не можетъ быть названа аристократической или великосвѣтской въ тѣсномъ и точномъ смыслѣ этихъ терминовъ. Мы не находимъ у него ни отчужденности отъ прочихъ смертныхъ, ни родовой гордости, ни презрѣнія къ представителямъ другихъ слоевъ, ни даже безсознательныхъ, чисто инстинктивныхъ привычекъ и замашекъ, въ которыхъ невольно сказывается «аристократъ», человѣкъ высшаго свѣта.

Психологическая форма личности, выкованная изо всѣхъ такихъ чертъ, крупныхъ и мелкихъ, явныхъ и тайныхъ, для натуры Облонскаго оказалась бы слишкомъ тѣсной и неудобной. Въ эти узкія рамки, въ эти душевные тиски нельзя вогнать человѣка, который, между прочимъ, характеризуется такими чертами: «Степанъ Аркадьевичъ былъ на «ты» почти со всѣми своими знакомыми: со стариками шестидесяти лѣтъ, съ мальчиками двадцати лѣтъ, съ актерами, съ министрами, съ купцами и съ генералъ-адъютантами, такъ что очень многіе изъ бывшихъ съ нимъ на «ты» находились на двухъ крайнихъ пунктахъ общественной лѣстницы и очень бы удивились, узнавъ, что имѣютъ черезъ Облонскаго что-нибудь общее» (т. I, ч. I, гл. V). По происхожденію Облонскій несомнѣнный «аристократъ»,—князь и «потомокъ Рюрика» (т. III, ч. VII, гл. XVII),—онъ выросъ и воспитался въ великосвѣтской средѣ и, конечно, великосвѣтская форма личности—въ потенціальномъ видѣ—была его достояніемъ отъ рожденія; сила традиціи, привычки воспитанія, вліяніе среды должны были развить ее. «Онъ родился въ средѣ тѣхъ людей, которые были и стали сильными міра сего (читаемъ въ гл. V, ч. I). Одна треть государственныхъ людей, стариковъ, были пріятелями его отца и знали его въ рубашечкѣ; другая треть была съ нимъ на «ты», а третья—были хорошіе знакомые...» Но все это говорится не для того, чтобы оттѣнить психологическій

аристократизмъ Облонскаго, а для того только, чтобы пояснить, какъ легко Степану Аркадьевичу получить по протекціи мѣсто съ хорошимъ окладомъ. Въ отношеніи къ психологической классовой формѣ Облонскаго всѣ эти данныя—и предки, восходящіе къ Рюрику, и государственные люди, пріятели отца, и государственные люди, съ которыми онъ самъ пріятель, и вліяніе среды, и внушенія воспитанія—являются, такъ сказать, мертвымъ капиталомъ, недѣйствующей, нейтрализованной силою. Помыслы о предкахъ, о своемъ княжескомъ титулѣ, а также то, что можно назвать «чувствомъ породы»,—все это совершенно чуждо Облонскому, который не прочь пошутить на ту тему, «что если ужъ гордиться породой, то не слѣдуетъ останавливаться на Рюрикѣ и отрекаться отъ перваго родоначальника—обезьяны» (ч. I, гл. III). И не даромъ, выводя Облонскаго на сцену, Толстой почти никогда не называетъ его княземъ; мы чувствуемъ, что выраженіе «князь Облонскій» звучало бы диссонансомъ, чего нельзя сказать о выраженіи «графъ Вронскій». Титулъ «князь», какъ и всякій другой аристократическій ярлыкъ, совсѣмъ не ладитъ съ тѣмъ представленіемъ, которое мы привыкли соединять съ именемъ Степана Аркадьевича или просто Стивы Облонскаго. На всемъ протяженіи романа только одинъ разъ случилось, что въ душѣ Степана Аркадьевича заговорило-было, и то на минуту, чувство аристократической гордости: это именно на пріемѣ у вліятельнаго еврея Болгаринова, къ которому Облонскій обращается съ просьбой о содѣйствіи ему въ его хлопотахъ о мѣстѣ «члена отъ комиссіи соединеннаго агентства кредитно-взаимнаго баланса южно-желѣзныхъ дорогъ и банковыхъ учрежденій». Ему пришлось долго ждать въ пріемной,—вотъ тутъ-то онъ и почувствовалъ «голосъ крови», но и то не въ формѣ глубокой обиды, негодованія и т. п., а только въ формѣ «неловкости»: «то ли ему было неловко, что онъ, потомокъ Рюрика, князь Облонскій, ждалъ два часа въ пріемной у жида, или то, что въ первый разъ въ жизни онъ не слѣдовалъ примѣру предковъ, служа правительству, а выступалъ на новое поприще, — но ему было очень неловко» (т. III., ч. VII, гл. XVII). И, вспоминая въ разговорѣ съ Карениным объ этомъ пріемѣ, Степанъ Аркадьевичъ покраснѣлъ (ib.). Не трудно видѣть какъ въ сущности слабъ этотъ голосъ крови у Облонскаго: онъ заговорилъ не потому, что Болгариновъ—представитель денежной аристократіи и еврей, а потому только, что въ данное время Облонскій

сказался въ положеніи просителя, и что ему пришлось ждать два часа. Ери другихъ условіяхъ онъ въ обществѣ Болгаринова не ощутилъ бы никакой «неловкости», какъ не ощущалъ ея въ обществѣ желѣзнодорожнаго богача Мальтуса, о которомъ идетъ рѣчь въ гл. XI-ой VI-ой части. Облонскій разсказываетъ Левину «про прелесть охоты у Мальтуса, на которой онъ былъ прошлымъ лѣтомъ». Левинъ возмущенъ благодушнымъ отношеніемъ Облонскаго къ Мальтусу. «Не понимаю,—говоритъ онъ,—какъ тебѣ не противны эти люди?» Съ точки зрѣнія Левина, желѣзнодорожные и банковскіе тузы, какъ Мальтусъ, заслуживаютъ презрѣнія, потому что нажили деньги «безчестно», т. е. не трудомъ. Облонскій, проводя свою точку зрѣнія, возражаетъ такъ: «Я... не считаю его болѣе безчестнымъ, чѣмъ кого бы то ни было изъ богатыхъ купцовъ и дворянъ. И тѣ и эти нажили одинаково трудомъ и умомъ». И затѣмъ настаиваетъ на томъ, что «добыть концессію и перепродать»—это тоже «трудъ»: «трудъ въ томъ смыслѣ, что если бы не было его (Мальтуса), или другихъ ему подобныхъ, то не было бы и дорогъ». Тогда Левинъ возражаетъ указаніемъ на бьющее въ глаза несоотвѣтствіе наживаемыхъ такимъ путемъ капиталовъ съ количествомъ затраченнаго труда. «Это зло—пріобрѣтеніе громадныхъ состояній безъ труда, какъ это было при откупахъ, —только перемѣнило форму»,—говоритъ онъ и при этомъ, по мѣткому замѣчанію Толстого, самъ чувствуетъ, что «не умѣетъ ясно опредѣлить черту между честнымъ и безчестнымъ». И Облонскій, съ своей точки зрѣнія, безусловно правъ, когда говоритъ ему: «То, что ты получаешь за свой трудъ въ хозяйствѣ лишнихъ, положимъ, пять тысячъ, а нашъ хозяинъ-мужикъ, какъ бы онъ ни трудился, не получитъ больше пятидесяти рублей; точно такъ же безчестно, какъ то, что я получаю больше столоначальника, и что Мальтусъ получаетъ больше дорожнаго мастера. Напротивъ, я вижу какое-то враждебное, ни на чемъ не основанное отношеніе общества къ этимъ людямъ, и мнѣ кажется, что тутъ зависть»...

Такіе сцены и разговоры рисуютъ намъ Облонскаго, какъ человѣка, въ которомъ великосвѣтская психологическая форма уже разложилась и перешла въ другую, болѣе широкую и эластичную, которую я предлагаю называть «общедворянскою» Я беру въ данномъ случаѣ этотъ терминъ потому, что въ Облонскомъ еще ясно виденъ дворянинъ и баринъ, что напр. оттѣняется слѣдующей чертой: защищая противъ нападокъ Ле-

вина купца Рябинина, который обманулъ Степана Аркадьевича при покупкѣ лѣса, онъ говоритъ: «Ну, ужъ извини меня, но есть что-то мизерное въ этомъ считаньѣ (деревьевъ въ лѣсу, на необходимости чего настаиваетъ Левинъ, говоря: «... вотъ ты не считалъ, а Рябининъ считалъ. У дѣтей Рябинина будутъ средства къ жизни и образованію, а у твоихъ, пожалуй, не будетъ!»). У насъ свои занятія, у нихъ свои, и имъ надо барыши»... (т. I, ч. II, гл. XVII). Здѣсь сказался типичный баринъ-дворянинъ. Любопытно, что у насъ эта черта вовсе не характерна и не обязательна для высшей аристократической формы. Такъ, Вронскій, при всемъ своемъ аристократическомъ барствѣ, оказывается отличнымъ хозяиномъ, который во все входитъ и не дастъ себя обмануть (т, III, ч. VI, гл. XXV). Пусть это—личная черта Вронскаго, но она ничуть не нарушаетъ цѣльности и «чистоты» его аристократической формы, не является въ отношеніи къ ней диссонансомъ. Напротивъ, для общедворянской, барско-помѣщичьей психики, взлелѣянной крѣпостнымъ правомъ и долговременнымъ общеніемъ, на правахъ владѣльца или въ роли барина и патрона, съ мужикомъ, мѣщаниномъ, купцомъ и сельскимъ духовенствомъ, хозяйская дѣловитость, расчетливость, «свой глазъ» и т. д. являются чертами не только не классовыми (они чисто-индивидуальны), но еще и такими, которыя не гармонируютъ съ классовой формой. Оттуда и идетъ практическая неумѣлость и разореніе дворянъ-помѣщиковъ. Переходъ дворянскихъ имѣній въ другія руки есть слѣдствіе неприспособленности общедворянской психологической формы къ условіямъ и требованіямъ пореформеннаго хозяйства. Высшая аристократія, настоящая арена которой—на государственной службѣ, при дворѣ, и жизнь которой протекала въ столицахъ и за-границей, не имѣла возможности пріобрѣсти качествъ землевладѣльца-хозяина. Поэтому ни въ положительномъ, ни въ отрицательномъ смыслѣ представленіе объ этихъ качествахъ не входитъ въ понятіе аристократической классовой формы. Напротивъ, дворяне-помѣщики—исконные сельскіе хозяева, и долговременный историческій опытъ научилъ ихъ быть—плохими хозяевами. Оттуда въ ихъ психологическую форму входитъ отрицательное представленіе о качествахъ хозяина-помѣщика [1]).

---

[1]) Эта психологическая классовая форма дворянъ—помѣщиковъ въ настоящее время находится въ процессѣ быстраго разложенія и преобраованія въ зависимости отъ общихъ условій времени.

Возвращаясь къ Облонскому, мы скажемъ, что его нельзя разсматривать какъ типичнаго представителя спеціально дворянско-помѣщичьей психики. По рожденію, по наслѣдственности и по условіямъ воспитанія и жизни онъ былъ предназначенъ для великосвѣтской формы; но послѣдняя въ немъ не осуществилась или разложилась, и, только, какъ результатъ этого заторможенія или разложенія, на первый планъ выступили у него черты обще-дворянскія.

Не будь въ немъ этихъ чертъ, я бы назвалъ его психологическую форму «общебуржуазною».

II.

Не трудно указать на тѣ стороны личной натуры Облонскаго, которыя являются тормозомъ въ отношеніи къ великосвѣтской психологической формѣ. Это прежде всего необыкновенная живость, экспансивность и общительность Степана Аркадьевича, которыя рѣшительно не мирятся, при данныхъ усдовіяхъ, съ кастовымъ кодексомъ аристократической психики. И если бы въ его душевномъ обиходѣ этотъ кодексъ имѣлъ еще мѣсто и значеніе, то всѣ его параграфы были бы нарушаемы на каждомъ шагу. Всякое душевное проявленіе Облонскаго наталкивалось бы на ненужную преграду этихъ «параграфовъ», и слишкомъ много душевныхъ силъ затрачивалось бы на компромиссы, на борьбу съ «кодексомъ». Гораздо проще и экономнѣе—устранить самый кодексъ.

Этотъ исходъ является необходимымъ въ силу духа времени и условій жизни Степана Аркадьевича. Въ прежнее время, при большей замкнутости высшихъ слоевъ общества, Облонскому не приходилось бы въ своихъ отношеніяхъ къ людямъ выходить такъ далеко за предѣлы великосвѣтскаго круга; онъ тогда не былъ бы на «ты» съ актерама и купцами, не заводилъ бы знакомства съ Мальтусомъ, не обращался бы за протекціей къ Болгаринову и т. д. На своемъ жизненномъ пути онъ встрѣчалъ бы, за немногими исключеніями, только лицъ своего круга или близкихъ къ этому кругу и могъ бы проявлять свою общительность, экспансивность, добродушіе и пр., не нарушая «кодекса». Но въ эпоху пореформенную, въ 70-хъ годахъ, къ которымъ пріурочена фабула романа, нарушеніе кодекса стало неизбѣжнымъ. Смѣшеніе «сословій» уже было тогда въ полномъ ходу,—

и соблюденіе «кодекса» создало бы для Степана Аркадьевича массу препятствій на его жизненномъ поприщѣ, вызывало бы ненужныя осложненія, вносило бы фальшивыя ноты и натянутость въ его жизнь. Все это—какъ разъ то, что органически противно натурѣ Степана Аркадьевича, который всего болѣе любитъ простыя и ясныя отношенія, не терпитъ недоразумѣній и стремится быть со всѣми въ добромъ согласіи. Это—натура, если можно такъ выразиться, до краевъ переполненная жизнерадостностью, добродушіемъ и веселостью, натура, которой, для упражненія этихъ душевныхъ силъ, необходимо общеніе съ людьми, съ возможно-большимъ числомъ людей. Облонскому необходимо быть всегда налюдяхъ, чтобы отдавать имъ избытокъ жизни, избытокъ почти органической, «безпричинной» радости существованія, ключомъ бьющей въ его душѣ. «Степана Аркадьевича (читаемъ въ г. V-ой I-ой части) не только любили всѣ знавшіе его за его добрый, веселый нравъ и несомнѣнную честность, но въ немъ, въ его красивой, свѣтлой наружности, блестящихъ глазахъ, черныхъ бровяхъ, волосахъ, бѣлизнѣ и румянцѣ лица, было что-то физически дѣйствовавшее дружелюбно и весело на людей, встрѣчавшихся съ нимъ. «Ага! Стива! Облонскій! Вотъ и онъ!» почти всегда съ радостной улыбкой говорили, встрѣчаясь съ нимъ. Если и случалось иногда, что послѣ разговора съ нимъ оказывалось, что ничего особенно радостнаго не случилось,—на другой день, на третій опять точно такъ же всѣ радовались при встрѣчѣ съ нимъ».

Для такой натуры устраненіе великосвѣтскаго кодекса было дѣломъ первой необходимости, и оно совершилось само собою, непроизвольно, такъ что Степанъ Аркадьевичъ и не замѣтилъ, какъ и когда исчезъ у него этотъ кодексъ, и вмѣстѣ съ нимъ былъ выброшенъ весь баластъ ненужныхъ предразсудковъ и антипатій—сословныхъ, расовыхъ и всяческихъ.

Устраненіе этого вреднаго баласта совершилось у Облонскаго такъ легко и просто именно потому, что оно вытекало у него изъ настоятельныхъ требованій экономизаціи душевныхъ силъ.

Это понятіе «экономизаціи душевныхъ силъ» представляется мнѣ вообще весьма примѣнимымъ и удобнымъ въ дѣлѣ изученія различныхъ соціально-психологическихъ формъ (національныхъ, классовыхъ, профессіональныхъ и др.), ихъ развитія и разложенія, ихъ исторической роли и смѣны, ихъ перехода изъ одной въ другую.

Но чтобы имъ воспользоваться при анализѣ и объясненіи художественнаго образа Облонскаго, необходимо прежде всего установить правильный взглядъ на этотъ образъ. Какъ, повидимому, ни ясенъ Облонскій, но при бѣгломъ чтеніи у насъ легко возникаетъ не вполнѣ вѣрное сужденіе о немъ. Дѣло въ томъ, что въ изображеніе этого лица Толстой внесъ нѣкоторый сатирическій оттѣнокъ. Выводя на сцену Облонскаго, онъ рѣдко упускаетъ случай подчеркнуть его отрицательныя стороны, въ особенности его легкость, поверхностность его натуры. И въ представленіи читателя Степанъ Аркадьевичъ неизмѣнно отпечатлѣвается какъ добрый, но пустой малый, какъ натура, неспособная заинтересовать, наконецъ, даже какъ фигура забавная и отнюдь не предназначенная художникомъ служить воплощеніемъ или способомъ изображенія сколько-нибудь важныхъ явленій жизни или художественной идеи, заслуживающей раскрытія и анализа. «Легкость» Облонскаго невольно вызываетъ въ читателѣ соотвѣтственно-легкое отношеніе къ нему, и читателю начинаетъ даже казаться, будто эта фигура пригодна скорѣе для водевиля, чѣмъ для серьезнаго соціально-психологическаго романа.

Такое впечатлѣніе должно быть признано неправильнымъ, не соотвѣтствующимъ дѣйствительности. При внимательномъ чтеніи, при надлежащей группировкѣ и освѣщеніи всѣхъ чертъ этого образа мы убѣждаемся въ томъ, что, какъ человѣкъ, Облонскій не лишенъ извѣстнаго содержанія, а какъ художественный образъ представляетъ немаловажный интересъ, въ особенности въ отношеніи соціально-психологическомъ.

Какъ человѣкъ, Степанъ Аркадьевичъ далеко не такъ ограниченъ и пустъ, какъ склоненъ думать читатель на основаніи отдѣльныхъ, неправильно понятыхъ, чертъ. Во-первыхъ, онъ несомнѣнно уменъ и далеко не лишенъ сознательнаго, даже критическаго отношенія къ окружающему. По-своему онъ мыслитъ. Не имѣя выработанныхъ идеаловъ, онъ однако имѣетъ свою точку зрѣнія на вещи, нѣчто въ родѣ своей философіи. Можно даже сказать, что Облонскій и выведенъ какъ яркій представитель особой житейской философіи—оппортюнизма, съ лозунгомъ «жить, т. е. приспособляться, и, по возможности, другимъ давать жить».

Припомнимъ знаменитое мѣсто въ началѣ романа, гдѣ Толстой даетъ намъ предварительное понятіе о натурѣ, умѣ и воззрѣніяхъ Облонскаго. Здѣсь между прочимъ читаемъ: «Степанъ

Акадьевичъ получалъ и читалъ либеральную газету, не крайнюю, но того направленія, котораго держалось большинство. И несмотря на то, что ни наука, ни искусство, ни политика собственно не интересовали его, онъ твердо держался тѣхъ взглядовъ на всѣ эти предметы, какихъ держалось большинство и его газета, и измѣнялъ ихъ только тогда, когда большинство измѣняло ихъ, или лучше сказать, не измѣнялъ ихъ, а они сами въ немъ незамѣтно измѣнялись» (т. I, ч. I, гл. III).

Значитъ ли это, что Степанъ Акадьевичъ—человѣкъ пустой, немыслящій, безпринципный? Съ точки зрѣнія, напр., Левина, пожалуй, это такъ и есть, но для насъ точка зрѣнія Левина не обязательна, и мы скажемъ, что приведенная цитата рисуетъ намъ Облонскаго только какъ человѣка, лишеннаго оригинальсти ума, иниціативы мысли и принципіальной, послѣдовательной убѣжденности. Но вѣдь отсутствіе этихъ, вообще довольно рѣдкихъ, качествъ, еще не доказываетъ пустоты, полной безпринципности и неспособности мыслить. Приведенная характеристика говоритъ намъ только то, что Облонскій мыслитъ заодно съ большинствомъ (его круга), и что въ этомъ отношеніи, какъ и въ другихъ, онъ совсѣмъ не похожъ на Левина. Вообще, для правильнаго пониманія Облонскаго, слѣдуетъ не упускать изъ вида, что онъ нарисованъ совершенно параллельно и въ противоположность Левину. Обѣ фигуры одна другую поясняютъ и оттѣняютъ своими противоположностями. Левинъ—законченный образецъ исключительности, своеобразія, оригинальности. У него все—чувства, мысли, дѣла—не такое, какъ у всѣхъ, во всемъ онъ хочетъ быть существомъ особымъ, не подводимымъ ни подъ какой шаблонъ. Его лозунгъ—идти наперекоръ большинству и меньшинству, и онъ стремится проложить себѣ въ жизни и въ сферѣ мысли особую дорогу—гдѣ-то въ сторонѣ отъ торнаго пути, которымъ идетъ большинство, и отъ тѣхъ дорогъ, которыя прокладываетъ меньшинство. Въ противоположность этому, Облонскій представленъ какъ типичный и вѣрный представитель большинства, какъ человѣкъ, который въ жизни и сферѣ мысли способенъ идти только по торному пути, столь широкому, давно уже приспособленному къ движенію сплошныхъ массъ. Облонскій избираетъ эту дорогу, или, лучше сказать, инстинктивно сворачиваетъ на нее не потому, чтобы она была, по его разумѣнію, лучше другихъ, а потому, во-первыхъ, что она удобнѣе, легче, и что, во-вторыхъ, по ней идетъ сплошная масса большинства, дѣйствующая на Сте-

пана Аркадьевича съ неотразимою силою притяженія. Для Облонскаго не только невозможенъ особый путь въ жизни (не говоря ужъ о мысли), но ему не подъ силу и тотъ, уже проложенный, которымъ идетъ меньшинство. Ибо, хотя и здѣсь имѣются свои шаблоны (невыносимые для Левина), но они не общепризнаны и требуютъ извѣстной затраты душевныхъ силъ человѣка, чтобы онъ могъ къ нимъ приладиться: а Степанъ Аркадьевичъ, какъ и масса, безсознательно избираетъ въ своемъ жизненномъ движеніи сторону наименьшаго сопротивленія. Левинъ, напротивъ, въ своемъ въ жизненномъ пути движется въ сторону наибольшаго сопротивленія,—и онъ не можетъ пристать къ меньшинству потому именно, что и здѣсь нѣтъ (или ему кажется, что нѣтъ) достаточно простора для личной иниціативы, для полнаго проявленія своеобразія и, скажемъ, своенравія его личности.

Имѣя въ виду эту сторону натуры Облонскаго, эту его «стадность», оттѣняемую діаметрально-противоположнымъ укладомъ натуры Левина, мы лучше поймемъ то, что въ вышеприведенной цитатѣ говорится о «взглядахъ» Облонскаго. Для Степана Аркадьевича, какъ для человѣка жизни по преимуществу, всякія идеи и воззрѣнія—общественныя, политическія, религіозныя и иныя—составляютъ только «частный случай» общаго обихода и направленія его жизни и находятся въ непосредственной зависимости отъ склада его натуры, его вкусовъ, его житейскихъ отношеній и т. д., а не отъ высшихъ принциповъ или идеаловъ, а равно и не отъ требованій логики. Онъ придерживается взглядовъ большинства (которые въ данное время оказываются «либеральными») потому, что вообще его тянетъ къ большинству, къ массѣ, и что въ этой области, какъ и въ другихъ, онъ не можетъ идти ни по какому иному пути, кромѣ того, по которому идетъ большинство. Если послѣднее со временемъ перестанетъ придерживаться либеральныхъ взглядовъ, и въ немъ распространятся другіе, напр., консервативные, то и Степанъ Аркадьевичъ превратится въ «консерватора». Но это, съ его стороны, не будетъ «измѣною» прежнимъ воззрѣніямъ, потому что онъ не человѣкъ воззрѣній, а человѣкъ жизни въ узкомъ смыслѣ, человѣкъ большинства, и онъ не виноватъ, что большинство и онъ самъ вмѣстѣ съ нимъ на своей торной дорогѣ натолкнулись на другую атмосферу «взглядовъ». Все это лишній разъ возвращаетъ насъ къ той же основной чертѣ натуры Облонскаго — къ его общительности или стадности. Онъ не понимаетъ иного суще-

ствованія, какъ на—людяхъ, и ему органически недоступно все, что мѣшало бы широкому общенію съ людьми, что такъ или иначе уединяло бы его.

Но послѣдуемъ дальше за характеристикою Облонскаго. Толстой говоритъ, что Облонскій не могъ обойтись безъ «взглядовъ», и поясняетъ: «...имѣть взгляды ему, жившему въ извѣстномъ обществѣ, при потребности нѣкоторой дѣятельности мысли, развивающейся обыкновенно въ лѣта зрѣлости, было такъ же необходимо, какъ имѣть шляпу» (ч. I, гл. III). Не взирая на иронію, эти слова въ извѣстной мѣрѣ подымаютъ въ нашихъ глазахъ, какъ Облонскаго, такъ и самое общество, къ которому онъ принадлежитъ. И въ самомъ дѣлѣ: вѣдь это очень хорошо, это еще слава Богу, если въ обиходъ потребностей общества и его отдѣльныхъ представителей входитъ потребность «нѣкоторой дѣятельности мысли», если считается необходимымъ «имѣть взгляды». Приравниваніе же этой духовной потребности къ необходимости имѣть шляпу—обоюдоостро: съ одной стороны, оно, конечно, принижаетъ первую, но зато, съ другой, указываетъ на то, что она—не прихоть, не нѣчто напускное, а въ самомъ дѣлѣ является предметомъ необходимости, что безъ нея люди не могутъ обойтись. Нѣсколько выше (въ той же главѣ) сказано, что не самъ Степанъ Аркадьевичъ выбиралъ взгляды и направленіе, а они «сами приходили къ нему, точно такъ же какъ онъ не выбиралъ формы шляпы или сюртука, а бралъ тѣ, которыя носятъ». Съ точки зрѣнія Левина, это нѣчто ужасное. Это противно ему болѣе всего на свѣтѣ, но мы отнесемся къ этому столь распространенному явленію спокойнѣе и объективнѣе и скажемъ, что, въ существѣ дѣла, тутъ нѣтъ ничего дурного, ничего подлежащаго осужденію.—Если устранимъ сарказмъ, внесенный сюда Толстымъ, стоящимъ на точкѣ зрѣнія Левина, то получимъ простую мысль, что Облонскій, какъ представитель интеллигентной толпы своего круга, является однимъ изъ участниковъ въ коллективномъ умственномъ «творчествѣ» этого круга, и что онъ, Облонскій, не обладаетъ тою долею оригинальности и умственной иниціативы (а на нѣтъ и суда нѣтъ) ,какая необходима, чтобы претворить продукты «коллективнаго творчества» въ нѣчто свое, новое и особое. Облонскій — человѣкъ не мысли, а непосредственной жизни, и потому важнѣйшимъ стимуломъ для «нѣкоторой дѣятельности мысли» служатъ ему ближайшія потребности или импульсы самой жизни, преимущест-

венно личной, внушающей ему инстинктивное предпочтеніе тѣхъ или другихъ взглядовъ. На это Толстой указываетъ весьма опредѣленно, говоря (въ той же главѣ), что Облонскій предпочиталъ либеральное направленіе консервативному не потому, что находилъ первое «болѣе разумнымъ, а потому, что оно подходило ближе къ его образу жизни». И за симъ слѣдуетъ явно саркастическое перечисленіе тѣхъ внушеній личной жизни, которыя направляли Облонскаго въ сторону либерализма: «либеральная партія говорила, что въ Россіи все дурно, и дѣйствительно, у Степана Аркадьевича долговъ было много, а денегъ рѣшительно не доставало. Либеральная партія говорила, что бракъ есть отжившее учрежденіе, и что необходимо перестроить его, и дѣйствительно, семейная жизнь доставляла мало удовольствія Степану Аркадьевичу»... и т. д. Устраняя и отсюда сарказмы Толстого, мы опять получимъ простую истину, что масса общества создаетъ свое общественное мнѣніе совсѣмъ не тѣмъ путемъ, какимъ приходятъ къ своимъ воззрѣніямъ публицисты, моралисты и философы. Эти мѣста, гдѣ Облонскій охарактеризованъ такъ, какъ будто это пишетъ не а Толстой, Левинъ, сразу настраиваютъ насъ (тѣмъ легче, что они находятся въ началѣ романа) противъ Степана Аркадьевича, располагая къ предвзятому мнѣнію о немъ.

Но не трудно устранить это предубѣжденіе. Самъ Толстой, какъ бы спохватившись, вноситъ въ дальнѣйшую характеристику Облонскаго соотвѣтственную поправку. Мы скоро убѣждаемся въ томъ, что либерализмъ Облонскаго вовсе не исключительно вытекаетъ изъ тѣхъ мотивовъ, какіе указаны въ только что приведенномъ мѣстѣ главы III-ей, а имѣетъ еще иной, болѣе глубокій источникъ.

Степанъ Аркадьевичъ либераленъ въ лучшемъ смыслѣ этого слова и притомъ—по самой натурѣ своей. Либерализмъ у него—не вычитанный, не навѣянный: онъ у него «въ крови», во всемъ складѣ его души, и обнаруживается невольно, непреднамѣренно, какъ родъ инстинкта. Объ этомъ прямо говорится въ слѣдующемъ мѣстѣ V-ой главы I-ой части: «Главныя качества Степана Аркадьевича, заслужившія ему... общее уваженіе по службѣ, состояли, во-первыхъ, въ чрезвычайной снисходительности къ людямъ, основанной въ немъ на сознаніи своихъ недостатковъ; во-вторыхъ, въ совершенной либеральности, не той, про которую онъ вычиталъ въ газетахъ, но той,

которая у него была въ крови, и съ которою онъ совершенно ровно и одинаково относился ко всѣмъ людямъ, какого бы состоянія и званія они не были»...

И соотвѣтственно этому, на всемъ протяженіи романа, вездѣ, гдѣ мы встрѣчаемъ Степана Аркадьевича, онъ неизмѣнно обнаруживается какъ человѣкъ истинно-гуманный, «либеральный» по натурѣ, простой, чуждый и тѣни того чванства, какое въ разныхъ степеняхъ и формахъ мы найдемъ у другихъ представителей великосвѣтской среды. Толстой не упускаетъ случая отмѣтить и такія мелкія, на первый взглядъ, но характерныя для Облонскаго черты, какъ то,—что онъ говоритъ купцу (Рябинину) «вы» и подаетъ ему руку (т. I, ч. II, гл. XVI), или пожимаетъ руку мужику (т. II, ч. IV, гл. VII). Это—мелочи, но онѣ имѣютъ свое значеніе, если вспомнимъ, напр., манеру Вронскаго и весь кодексъ барскаго обхожденія, строго регламентирующій всѣ оттѣнки внѣшнихъ отношеній къ людямъ. Характеренъ для Облонскаго и слѣдующій разговоръ съ Левинымъ, послѣ продажи лѣса купцу Рябинину: «Ну кончилъ?—сказалъ Левинъ, встрѣчая наверху Степана Аркадьевича:—хочешь ужинать? — Да, не откажусь... что жъ ты Рябинину не предложилъ поѣсть? — «А чортъ съ нимъ!» —Однако, какъ ты обходишься съ нимъ! — сказалъ Облонскій;—ты и руки ему не подалъ. Отчего же не подать ему руки?—«Оттого, что я лакею не подамъ руки, а лакей во сто разъ лучше». Какой ты, однако, ретроградъ! А сліяніе сословій? — сказалъ Облонскій. — Кому пріятно сливаться — на здоровье, а мнѣ противно». — Ты, я вижу, рѣшительно ретроградъ.—«Право, я никогда не думамъ, кто я. Я—Константинъ Левинъ, больше ничего» (ч. IV гл. XVII). — Разговоръ характеренъ для обоихъ, — Облонскаго и Левина. У послѣдняго тутъ сказалось прежде всего его своеобразіе и его отвращеніе къ партійности, но въ то же время сквозитъ и унаслѣдованное великосвѣтское презрѣніе къ прочимъ смертнымъ. Что же касается Облонскаго, то «сліяніе сословій», о которомъ онъ упоминаетъ, является въ его устахъ далеко не фразой, не только внушеніемъ либеральной газеты и отголоскомъ моднаго направленія,—сочувствіе этому «сліянію» вполнѣ гармонируетъ съ самой натурою Облонскаго, и въ ряду выведенныхъ Толстымъ типовъ изъ великосвѣтской среды нельзя найти другое лицо, которое

было бы такъ предуготовлено къ «сліянію сословій», какъ именно Облонскій [1]).

Говоря такъ, я имѣю, пока, въ виду не фактическое сліяніе, которое есть дѣло будущаго, хотя уже и начатое, а только устраненіе тѣхъ перегородокъ изъ всевозможныхъ предразсудковъ, изъ классовыхъ, сословныхъ, профессіональныхъ, національныхъ и расовыхъ антипатій, которыя раздѣляютъ людей и мѣшаютъ имъ понимать и оцѣнивать другъ друга «по человѣчеству».

Выше мы указали на то, что для Облонскаго устраненіе этихъ «перегородокъ» было прежде всего дѣломъ внутренней, психологической необходимости, вытекающей изъ требованій сбереженія душевныхъ силъ, и обусловливалось импульсами соціально-психологическаго приспособленія. Разсматриваемый исключительно съ этой точки зрѣнія, Облонскій является лишь характернымъ образчикомъ того, что можно назвать житейскимъ и душевнымъ оппортюнизмомъ. Но вотъ теперь, основываясь на только что приведенныхъ данныхъ, мы имѣемъ возможность отмѣтить въ Облонскомъ присутствіе другого фактора—этическаго, дѣйствующаго все въ томъ же направленіи—устраненія «перегородокъ» и замѣны междучеловѣческихъ предразсудковъ и антипатій болѣе гуманнымъ укладомъ духа.

Продолжительное дѣйствіе «перегородокъ» и ими обусловленныхъ негуманныхъ отношеній препятствуетъ развитію той въ высокой степени благодѣтельной умственной силы, которая называется симпатическимъ воображеніемъ. На этой силѣ основано сочувствіе и пониманіе человѣка человѣкомъ, и она по праву должна быть признана явленіемъ этическимъ по преимуществу. Умѣть мысленно поставить себя на мѣсто другого, войти въ его положеніе, живо представить себѣ его внутренній міръ и этимъ открыть себѣ дорогу къ сочувствію--вотъ то, что, при наличности соціальныхъ перегородокъ и ихъ дѣйствія изъ поколѣнія въ поколѣніе, въ сильной степени атрофируется у людей и становится доступнымъ имъ только въ узкихъ предѣлахъ класса, сословія, круга, а съ другой стороны,—искажается расовыми и національными предразсудками и антипатіями.

---

[1]) Братъ Левина, Николай, въ данномъ случаѣ въ счетъ не идетъ. Онъ представляетъ явленіе въ великосвѣтскомъ кругу исключительное, и, раньше своего „опрощенія“, онъ вышелъ изъ своей среды по другимъ причинамъ.

У Облонскаго мы замѣчаемъ живое симпатическое воображеніе и вытекающую изъ него способность пониманія и сочувствія. Это одна изъ основныхъ и бросающихся въ глаза чертъ его натуры. Съ нею, между прочимъ, связана его извѣстная тактичность, умѣніе щадить самолюбіе другихъ, его несомнѣнная, почти изящная душевная деликатность. Оттуда же и его роль наперсника и повѣреннаго интимныхъ дѣлъ, горестей и радостей другихъ лицъ. Таковы, какъ извѣстно, его отношенія къ Левину, который, при всей своей замкнутости, охотно посвящаетъ Степана Аркадьевича въ свой внутренній міръ, куда онъ не допустилъ бы никого другого. Вспомнимъ также его отношенія къ Аннѣ, его посредничество между нею и Карениным. Здѣсь между прочимъ проглядываетъ какъ бы намекъ на то, что Облонскій принимаетъ такое участіе въ этомъ дѣлѣ не столько въ силу родственныхъ связей, сколько въ силу непосредственныхъ внушеній своей доброй натуры, которая не можетъ не сочувствовать другимъ въ ихъ горестяхъ. Вообще въ своихъ отношеніяхъ къ людямъ онъ невольно становится какъ бы участникомъ ихъ интимной, душевной жизни. Онъ легко заражается настроеніями другихъ.

Припомнимъ нѣкоторыя мѣста, гдѣ эта черта Облонскаго наиболѣе ярко обрисована.

«Проводивъ княгиню Бетси... Степанъ Аркадьевичъ пошелъ къ сестрѣ. Онъ засталъ ее въ слезахъ. Несмотря на то брызжущее весельемъ расположеніе духа, въ которомъ онъ находился, Степанъ Аркадьевичъ тотчасъ естественно перешелъ въ тотъ сочувствующій, поэтически-возбужденный тонъ, который подходилъ къ ея настроенію». Анна говоритъ о мужѣ, который ей ненавистенъ, указываетъ на безвыходность своего положенія и т. д. «И мнѣ ничего не остается, кромѣ...» Она хотѣла сказать-смерти, но Степанъ Аркадьевичъ не далъ ей договорить. «Ты больна и раздражена,—сказалъ онъ,—повѣрь, что ты преувеличиваешь ужасно. Тутъ нѣтъ ничего такого страшнаго». И Степанъ Аркадьевичъ улыбнулся. Никто бы на мѣстѣ Степана Аркадьевича, имѣя дѣло съ такимъ отчаяніемъ, не позволилъ себѣ улыбнуться (улыбка показалась бы грубою), но въ его улыбкѣ было такъ много доброты и почти женской нѣжности, что улыбка его не оскорб-

ляла, но смягчала и успокаивала. Его тихія и успокоительныя рѣчи и улыбки дѣйствовали смягчающе — успокоительно, какъ миндальное масло. И Анна почувствовала это» (т. II, ч. IV, гл. XXI). О той же чудодѣйственной улыбкѣ Степана Аркадьевича говорится и ниже, въ слѣдующей главѣ, XXII-й, гдѣ Облонскій старается склонить Каренина къ разводу, мысль о которомъ онъ уже внушилъ Аннѣ. «Если ты хочешь знать мое мнѣніе,—сказалъ Степанъ Аркадьевичъ (на вопросъ Каренина: «какой же выходъ изъ нашего положенія?») съ тою же смягчающею, миндально-нѣжною улыбкой, съ которою онъ говорилъ съ Анной. Добрая улыбка была такъ убѣдительна, что невольно Алексѣй Александровичъ, чувствуя свою слабость и подчиняясь ей, готовъ былъ вѣрить тому, что скажетъ Степанъ Аркадьевичъ».

Умѣніе входить въ положеніе другихъ и вытекающая оттуда тонкая душевная деликатность и тактъ составляютъ одну изъ основныхъ чертъ натуры Облонскаго, и нѣтъ сомнѣнія, что проявленія этой черты у него не ограничены предѣлами того круга, въ которомъ онъ по преимуществу вращается, гдѣ онъ «свой человѣкъ». Перенесенный въ другую сферу, онъ и тамъ останется все тѣмъ же тактичнымъ, добрымъ, сочувствующимъ человѣкомъ. Выводя на сцену Облонскаго, Толстой зачастую обращаетъ наше вниманіе на эту столь характерную для него особенность, на этотъ душевный тактъ, проявляющійся въ массѣ мелочей повседневнаго обихода [1]).

III.

Представленіе объ Облонскомъ, составленное изъ чертъ, которыя мы выше сгруппировали и старались освѣтить, могло бы привести къ зачисленію этого типа въ разрядъ скорѣе положительныхъ, чѣмъ отрицательныхъ. Но есть и другая сторона медали. Въ натурѣ Облонскаго мы находимъ еще иныя черты, въ значительной степени ограничивающія благопріятное представленіе о немъ и не позволяющія намъ, въ послѣднемъ счетѣ, причислить Облонскаго къ тѣмъ типамъ, которые по праву и въ тѣсномъ смыслѣ могутъ быть названы «положительными».

---

[1]) Укажу, напр., на соотвѣтственныя мѣста въ главахъ: XIV-й II-й ч. и IX-й IV-й части.

На первый взглядъ, важнѣйшая особенность натуры Облонскаго, искажающая его хорошія стороны, не дающая имъ возможности развиться, это—столь извѣстная легкость, поверхностность Степана Аркадьевича. Мы только что оттѣнили тотъ даръ сочувствія, которымъ такъ выгодно отличается Облонскій, а теперь мы скажемъ, что этотъ цѣнный даръ остается у него какъ бы мертвымъ душевнымъ капиталомъ. Его душа открыта всѣмъ сочувствіямъ, всѣмъ состраданіямъ, но ни одно изъ этихъ движеній души не получаетъ у него достаточной силы, не овладѣваетъ его чувствомъ и его мыслью такъ, чтобы его общій и обычный тонъ души, хоть на время, измѣнился сколько-нибудь замѣтнымъ образомъ. Можно даже сказать, что у Облонскаго совсѣмъ и нѣтъ душевныхъ «движеній» въ собственномъ смыслѣ, а есть только мимолетныя настроенія, которыя быстро и легко стираются и уносятся первыми случайными впечатлѣніями, а главное—утопаютъ въ томъ неизсякаемомъ потокѣ безпричинной жизнерадостности, который образуетъ основной психическій фонъ натуры Облонскаго.

Наша задача не можетъ ограничиться, конечно, простымъ указаніемъ на фактъ, на то, что Облонскій—человѣкъ легкій, неглубокій. Нужно освѣтить фактъ, и—главное—нужно выяснить его значеніе въ составѣ художественнаго образа Облонскаго, какъ психологическаго и бытового типа.

Сперва припомнимъ, какъ изображена Толстымъ эта сторона натуры Облонскаго. Для нашей цѣли достаточно будетъ нѣсколько образчиковъ.

Въ главѣ XVIII-й I-й части, въ томъ мѣстѣ, гдѣ рѣчь идетъ о впечатлѣніи, произведенномъ на Анну и другихъ трагической смертью желѣзнодорожнаго сторожа, раздавленнаго поѣздомъ, мы видимъ, что Степанъ Аркадьевичъ болѣе другихъ потрясенъ этимъ ужаснымъ происшествіемъ. «Облонскій и Вронскій оба видѣли обезображенный трупъ. Облонскій видимо страдалъ. Онъ морщился и, казалось, готовъ былъ плакать. «Ахъ, какой ужасъ! Ахъ, Анна, если бы ты видѣла! Ахъ, какой ужасъ!»—приговаривалъ онъ. Совершенно иначе реагируетъ на эти впечатлѣнія Вронскій; онъ «молчалъ, и красивое лицо его было серьезно, но совершенно спокойно». Онъ уходитъ, чтобы передать 200 рублей вдовѣ убитаго. «Когда онъ возвратился черезъ нѣсколько минутъ, Степанъ Аркадьевичъ уже разговаривалъ съ графиней о новой пѣвицѣ...»

Сцена очень характерна для Облонскаго. Эту живость воспріятія тяжелаго впечатлѣнія и эту легкость перехода къ обычному душевному тону мы наблюдаемъ у Степана Аркадьевича во многихъ мѣстахъ романа. Такъ, послѣ разговора съ Карениным ъ (на тему о необходимости развода—въ уже цитированномъ нами мѣстѣ, ч. IV, гл. XXII) Облонскій съ чрезвычайною быстротою и легкостью переходитъ отъ приподнятаго и взволнованнаго сочувствіемъ и состраданіемъ состоянія души къ своему обычному беззаботно-радостному настроенію: «Когда Степанъ Аркадьевичъ вышелъ изъ комнаты зятя, онъ былъ тронутъ, но это не мѣшало ему быть довольнымъ тѣмъ, что онъ успѣшно совершилъ это дѣло, такъ какъ онъ былъ увѣренъ, что Алексѣй Александровичъ не отречется отъ своихъ словъ. Къ этому удовольствію примѣшивалось еще и то, что ему пришла мысль, что когда это дѣло сдѣлается, онъ женѣ и близкимъ знакомымъ будетъ задавать вопросъ: какая разница между мною и фельдмаршаломъ?—Фельдмаршалъ дѣлаетъ разводъ—и никому оттого не лучше, а я сдѣлалъ разводъ—троимъ стало лучше... Или: какое сходство между мной и фельдмаршаломъ?—Когда... Впрочемъ, придумаю лучше,—сказалъ онъ себѣ съ улыбкой».

Личныя огорченія, какъ бы они ни были тягостны, не проникаютъ далеко въ глубь души Степана Аркадьевича и образуютъ только какъ бы верхній слой душевной атмосферы, сквозь который то и дѣло пробиваются брызги и искры обычнаго беззаботно-жизнерадостнаго тона, составляющаго основной и ничѣмъ непоколебимый пластъ психическаго уклада Облонскаго. Какъ ни огорченъ, какъ ни смущенъ и пристыженъ Степанъ Аркадьевичъ во время ссоры съ женою (расказанной въ первыхъ главахъ романа), онъ никакъ не можетъ всецѣло подчиниться гнету этихъ тягостныхъ душевныхъ состояній, и ему даже приходится прилагать нѣкоторое усиліе къ тому, чтобы не забыть своего огорченія, чтобы не перестать думать о непріятной исторіи. Выслушивая упреки жены, онъ умолялъ о прощеніи и плакалъ; скверно у него на душѣ, и онъ даже не видитъ выхода изъ этого тяжелаго положенія; Долли рѣшительно не хочетъ простить и помириться. «Пускай всѣ знаютъ, что вы подлецъ!—кричитъ она,—я уѣзжаю нынче, а вы живите здѣсь со своею любовницей!» И она вышла, хлопнувъ дверью. Степанъ Аркадьевичъ вздохнулъ, отеръ лицо и тихими шагами пошелъ изъ комнаты. «Матвѣй говоритъ: образуется, но какъ? Я не вижу даже возможности.

Ахъ, ахъ, какой ужасъ!..» Выйдя въ столовую, онъ увидѣлъ часовщика—нѣмца, который заводилъ часы. Степанъ Аркадьевичъ вспомнилъ свою шутку объ этомъ аккуратномъ плѣшивомъ часовщикѣ, что нѣмецъ «самъ былъ заведенъ на всю жизнь, чтобы заводить часы»,—и улыбнулся. Степанъ Аркадьевичъ любилъ хорошую шутку. «А можетъ быть, и образуется!» Хорошо словечко: «образуется»,—подумалъ онъ.—«Это надо разсказать» (ч. I, гл. IV). Нѣсколько выше, въ главѣ III-ей, мы видимъ Степана Аркадьевича виноватымъ, пристыженнымъ и смущеннымъ въ виду предстоящаго объясненія съ женою. Но все это не мѣшаетъ ему съ большимъ аппетитомъ выпить двѣ чашки кофе, съѣсть калачъ съ масломъ и, по заведенному порядку, прочитать газету. Продѣлавъ все это, онъ радостно улыбнулся, не оттого, чтобъ у него на душѣ было что-нибудь особенно пріятное,—радостную улыбку вызвало хорошее пищевареніе,—но эта радостная улыбка сейчасъ же напомнила ему все, и онъ задумался».

Улыбка составляетъ постоянный аттрибутъ Степана Аркадьевича. Онъ—«человѣкъ, который улыбается»—то сочувственно—сострадательно, то беззаботно-весело. Въ данномъ случаѣ, этотъ «аттрибутъ» сыгралъ съ нимъ плохую шутку, послуживъ главной причиной того, что разладъ съ женою затянулся такъ долго. Когда предательская записка открыла женѣ его измѣну, то произошло слѣдующее: «Вмѣсто того, чтобъ оскорбиться, отрекаться, оправдываться, просить прощенія, оставаться даже равнодушнымъ—все было бы лучше того, что онъ сдѣлалъ»,—его лицо совершенно невольно («—рефлексы головного мозга»,—подумалъ Степанъ Аркадьевичъ)... вдругъ улыбнулось привычною, доброю и потому глупою улыбкою. Эту глупую улыбку онъ не могъ простить себѣ. Увидавъ эту улыбку, Долли вздрогнула какъ отъ физической боли, разразилась, со свойственною ей горячностью, потокомъ жестокихъ словъ и выбѣжала изъ комнаты. Съ тѣхъ поръ она не хотѣла видѣть мужа, «Всему виной эта глупая улыбка»,—подумалъ Степанъ Аркадьевичъ (ч. I, гл. I).

Вспоминая эти сцены въ «Присутствіи», гдѣ Степанъ Аркадьевичъ состоитъ предсѣдателемъ, онъ опять не можетъ удержаться отъ юмористическаго настроенія, вызваннаго контрастомъ его служебнаго положенія съ положеніемъ провинившагося мужа. «Если бъ они (подчиненные) знали»—думалъ онъ, съ

значительнымъ видомъ склонивъ голову при слушаніи доклада,— какимъ виноватымъ мальчикомъ полчаса тому назадъ былъ ихъ предсѣдатель!—И глаза его смѣялись при чтеніи доклада“ (ч. I, гл. V).

Очевидно, въ душевной организаціи Степана Аркадьевича есть какой-то тормозъ, препятствующій распространенію душевной боли. Этимъ тормозомъ служитъ у него избытокъ жизнерадостности. Онъ слишкомъ жизнерадостенъ, чтобы глубоко и долго чувствовать душевную боль, отъ чего бы она ни происходила,—отъ личныхъ ли невзгодъ и огорченій или отъ столь доступнаго ему чувства состраданія. Обаяніе и власть жизни производятъ въ душѣ Облонскаго очень сильную анэстезію. Оттого ему недоступенъ цѣлый порядокъ чувствъ, преимущественно тѣхъ, которыя по существу противорѣчатъ принципу жизни, каковы: уныніе, отчаяніе, глубокая скорбь, пессимистическія настроенія и т. д. По той же причинѣ чужды Облонскому и чувства или стремленія религіознаго порядка, помыслы о смерти, о загробной жизни, все, что отвлекаетъ человѣка отъ земного существованія и переноситъ въ сферу сверхчувственнаго. Къ мистическому у Степана Аркадьевича—почти органическое отвращеніе. Мы знаемъ, что Степанъ Аркадьевичъ «не могъ вынести безъ боли въ ногахъ даже короткаго молебна и не могъ понять, къ чему всѣ эти страшныя и высокопарныя слова о томъ свѣтѣ, когда и на этомъ жить было бы очень весело» (ч. I, гл. III). Въ особенности ярко обрисована эта черта въ извѣстной сценѣ, гдѣ Степанъ Аркадьевичъ присутствуетъ на «сеансѣ» у графини Лидіи Ивановны, и гдѣ ясновидецъ Landau долженъ разрѣшить сомнѣнія Каренина по вопросу о разводѣ. «Степанъ Аркадьевичъ чувствовалъ, что у него въ головѣ становится все болѣе и болѣе нехорошо». На его счастье, ясновидецъ потребовалъ его удаленія,—и «Степанъ Аркадьевичъ, забывъ о томъ, что онъ хотѣлъ просить Лидію Ивановну, забывъ и о дѣлѣ сестры, съ однимъ желаніемъ поскорѣе выбраться отсюда, вышелъ на ципочкахъ и, какъ изъ зараженнаго дома, выбѣжалъ на улицу и долго разговаривалъ и шутилъ съ извозчикомъ, желая привести себя поскорѣе въ чувство» (т. III, ч. VII, гл. XXII).

Степану Аркадьевичу органически претитъ все, что такъ или иначе противорѣчитъ праздничному настроенію жизни. Поэтому, на-ряду со всѣмъ мистическимъ, загробнымъ, заунывнымъ и мрачнымъ, онъ не выноситъ всего того, что нарушаетъ ровное, пріят-

ное, свѣтлое теченіе жизни,—онъ не терпитъ дрязгъ, ссоръ, разлада, ему тягостны всякія противорѣчія, какихъ не мало въ жизни. Вспомнимъ здѣсь, какъ отнесся онъ къ факту семейнаго раздора Карениныхъ. «Алексѣй Александровичъ думалъ тотчасъ стать въ тѣ холодныя отношенія, въ которыхъ онъ долженъ былъ быть съ братомъ жены, противъ которой онъ начиналъ дѣло развода, но онъ не разсчитывалъ на то море добродушія, которое выливалось изъ береговъ въ душѣ Степана Аркадьевича». Каренинъ отказывается отъ обѣда у Облонскихъ и мотивируетъ отказъ тѣмъ, что онъ «начинаетъ дѣло о разводѣ». «Но Алексѣй Александровичъ еще не успѣлъ окончить своей рѣчи, какъ Степанъ Аркадьевичъ уже поступилъ совсѣмъ не такъ, какъ онъ ожидалъ: Степанъ Аркадьевичъ охнулъ и сѣлъ въ кресло. «Нѣтъ, Алексѣй Александровичъ, что ты говоришь!»—вскрикнулъ Облонскій, и страданіе выразилось на его лицѣ» (т. II, ч. IV, гл. VIII).

Ближайшей и главнѣйшей причиною его страданія въ данномъ случаѣ является самый фактъ разлада въ жизни близкихъ ему людей. Такъ же точно, въ той трагикомической исторіи, которая разыгралась въ его собственной семейной жизни, онъ испытываетъ душевную боль вовсе не отъ сознанія своей вины (въ глубинѣ души онъ и не считалъ себя виновнымъ), а оттого только, что произошла ссора, что Долли сердится слишкомъ долго, что въ его домѣ «все смѣшалось». И этотъ казусъ тѣмъ огорчительнѣе для него, что тутъ явственно обнаружилось внутреннее противорѣчіе его жизни, по необходимости превращающееся въ вопросъ, надъ которымъ приходится задумываться, который нужно такъ или иначе рѣшить. И вотъ какъ онъ въ интимной бесѣдѣ съ Левинымъ высказывается по этому «вопросу», проявляя столь для него характерную наивную непосредственность: «Что жъ дѣлать, ты мнѣ скажи, что дѣлать? Жена старѣется, а ты полонъ жизни. Ты не успѣешь оглянуться, какъ уже чувствуешь, что ты не можешь любить любовью жену, какъ бы ты ни уважалъ ее. А тутъ вдругъ подвернется любовь, — и пропалъ, пропалъ!»—съ унылымъ отчаяніемъ проговорилъ Степанъ Аркадьевичъ» (ч. I, гл. XI),

Группируя эти черты, мы вмѣстѣ съ тѣмъ замѣчаемъ, что онѣ легко объединяются и имъ можно подвести общій итогъ.

Этотъ итогъ не можетъ, конечно, быть только повтореніемъ того, что говоритъ каждое слагаемое. Онъ получается путемъ

сведенія всѣхъ этихъ слагаемыхъ къ особому душевному началу, въ которомъ всѣ они найдутъ достаточное психологическое обоснованіе. Таковымъ представляется мнѣ то самое, о чемъ мы говорили въ началѣ главы. Это именно — внутренняя потребность экономіи душевныхъ силъ. Тамъ мы указали на эту потребность, какъ на главную пружину, которая затормозила развитіе у Облонскаго великосвѣтской психологической формы: послѣдняя потребовала бы отъ него слишкомъ большой траты душевныхъ силъ. Вотъ именно къ той же необходимости психической экономіи сводятся и тѣ слагаемыя, о которыхъ мы теперь ведемъ рѣчь.

Облонскій—натура весьма доступная сочувствію и состраданію, но отдаться этимъ чувствамъ онъ не можетъ подъ опасеніемъ выйти изъ душевнаго бюджета. Это было бы ему не по средствамъ. И та легкость, съ которою онъ отъ искренняго и живого состраданія переходитъ къ своему обычному беззаботно-веселому настроенію, есть не что иное, какъ дѣйствіе безсознательнаго стремленія къ самосохраненію, къ соблюденію душевнаго баланса. Болѣе глубокое, болѣе серьезное и продолжительное состраданіе было бы для Степана Аркадьевича тратою душевныхъ силъ—не по средствамъ. Облонскій, далѣе, натура, неприспособленная къ жизни, взятой со стороны ея внутреннихъ противорѣчій, вопросовъ и всякаго разлада: противорѣчія требуютъ примиренія, вопросы — размышленія и рѣшенія, разладъ ведетъ къ усложненіямъ въ жизни,—и все это означаетъ все ту же трату и противорѣчитъ требованіямъ душевной экономіи. Наконецъ, заинтересоваться вопросами религіи, проявить нѣкоторое стремленіе къ мистическому, прислушиваться къ «страшнымъ словамъ» о загробной жизни и т. д., это было бы для Облонскаго совершенно-непростительной расточительностью. Такъ же точно было бы для него расточительностью, и при томъ ужъ совсѣмъ безплодною, если бы онъ вдругъ принялся ломать голову надъ тѣми вопросами, которые далеко выходятъ за предѣлы повседневнаго житейскаго обихода, напр., надъ вопросами политики, нравственности, науки, искусства. Въ этихъ областяхъ для Степана Аркадьевича нѣтъ другого пути, какъ принять безъ провѣрки готовыя рѣшенія и шаблонные, наиболѣе распространенные взгляды,—что̀ онъ и дѣлаетъ.

Нашъ итогъ гласитъ: Степанъ Аркадьевичъ Облонскій, это законченный типъ средняго, нормальнаго человѣка, которому

не дано много душевныхъ силъ, и который поэтому инстинктивно воздерживается отъ излишней ихъ затраты.

Въ своей интимной жизни, которая, въ ея повседневномъ обиходѣ, есть по преимуществу трата силъ, люди этого типа безсознательно ведутъ отличную душевную бухгалтерію, словно изъ чувства самосохраненія избѣгая тратить больше того, что имъ дано. Но имъ дано весьма немного, и при всей экономіи они легко могли бы обанкротиться, если бы у нихъ не было соотвѣтственнаго «прихода», — притока душевныхъ силъ изъ общества, изъ соціальныхъ возбужденій, изъ общенія съ другими. Поболтать съ пріятелемъ, побывать въ обществѣ, въ клубѣ, обмѣняться новостями и т. д.—вотъ то, что ихъ освѣжаетъ, возстановляетъ ихъ душевныя силы. Это люди соціальной стихіи по преимуществу. Ни искусство, ни философія, ни наука, ни даже религія,—эти могущественные аккомуляторы и разсадники психической энергіи,—не могутъ для нихъ служить источникомъ душевнаго обновленія. Такимъ источникомъ служитъ имъ только то, что можно назвать «соціальнымъ треніемъ». Оттуда—необходимость для нихъ имѣть ту соціально-психологическую форму, которая наилучше приспособлена, при данныхъ условіяхъ, къ возможно-широкому общенію. Таковою для Облонскаго является форма общедворянская, какъ переходная ступень къ другой, еще болѣе удобной и эластичной—общебуржуазной.

ГЛАВА X.

Алексѣй Александровичъ Каренинъ.

(Бюрократъ въ изображеніи Толстого).

I.

Внимательный и вдумчивый читатель, который, перечитывая «Анну Каренину», не только слѣдитъ за фабулою, но вникаетъ въ самый способъ изображенія, въ психологію дѣйствующихъ лицъ, такой читатель, полагаю, согласится со мною въ томъ, что есть замѣтная разница между психологическимъ анализомъ натуры и душевныхъ состояній Каренина, съ одной стороны, и психологическимъ анализомъ другихъ лицъ, преимущественно представителей великосвѣтской формы разныхъ оттѣнковъ. Когда Толстой рисуетъ и анализируетъ Вронскаго, Левина, Облон-

скаго, Львова, женщинъ высшаго круга,—мы чувствуемъ, что онъ здѣсь—у себя дома, что эти натуры, при всѣхъ ихъ индивидуальныхъ особенностяхъ, при всемъ различіи въ отношеніяхъ къ нимъ автора, психологически сродни ему, какъ представители того класса, къ которому, по рожденію, по воспитанію, по укоренившимся и трудно-истребимымъ привычкамъ душевнаго обихода, принадлежитъ самъ авторъ. Толстой всегда мастерски изображалъ великосвѣтскіе типы и съ поражающей вѣрностью, съ изумительной глубиною раскрывалъ психологію разнообразныхъ натуръ, объединяющихся общностью «аристократической» классовой формы въ ея различныхъ оттѣнкахъ, ступеняхъ и переходахъ. Въ этой области Толстой достигалъ вершинъ художественнаго творчества, блистательно выполняя высшую задачу искусства—художественно искать человѣка и раскрывать его душу: великосвѣтскій человѣкъ найденъ, психологически раскрытъ и объясненъ Толстымъ во всѣхъ изгибахъ и оттѣнкахъ его психики. Это—та высота творчества, на которой художественный образъ, въ самомъ дѣлѣ, становится настоящимъ «человѣческимъ документомъ», которымъ мы можемъ пользоваться какъ своего рода научнымъ открытіемъ; на этихъ верхахъ творчества искусство и наука сходятся: художественный типъ равносиленъ, въ смыслѣ гомолога, научному обобщенію. Столь высокимъ художественнымъ достоинствомъ великосвѣтскіе типы Толстого обязаны не исключительно тому, что Толстой—великій художникъ, а въ значительной мѣрѣ именно вышеуказанному психологическому сродству художника съ міромъ его героевъ. Мы знаемъ, что художественный геній Толстого отмѣченъ явственнымъ отпечаткомъ субъективности творчества, понимаемой въ томъ смыслѣ, что художникъ для своихъ лучшихъ созданій находитъ матеріалъ, отправныя точки или уголъ художественнаго зрѣнія въ своемъ собственномъ внутреннемъ опытѣ, въ самонаблюденіи. Такой художникъ сильнѣе всего въ изображеніи натуръ, такъ или иначе близкихъ или сродственныхъ его собственной натурѣ. И вотъ у Толстого на первомъ планѣ и являются образы, въ которыхъ онъ воспроизводитъ либо прямо себя самого (Иртеньевъ, Оленинъ, Левинъ), либо лицъ своего круга и вообще представителей великосвѣтской среды (Болконскій, Безуховъ, Вронскій, Облонскій и мн. др.). Въ послѣднихъ субъективное основаніе творчества простирается только на психологію классовой формы;

психологія же личности выходитъ за его предѣлы и опирается уже не на внутреннемъ опытѣ, не на самонаблюденіи, а на объективныхъ наблюденіяхъ различныхъ натуръ. Въ этомъ послѣднемъ смыслѣ Толстой является здѣсь (напр., въ изображеніи натуръ и характеровъ Болконскаго-отца, князя Андрея, Безухова, Вронскаго и др.) художникомъ объективнымъ. Но, какъ извѣстно, въ произведеніяхъ Толстого мы находимъ и другой рядъ образовъ, взятыхъ совсѣмъ изъ иной среды: здѣсь онъ уже не могъ черпать изъ себя и долженъ былъ творить сплошь какъ художникъ-наблюдатель.

Эти образы можно раздѣлить на двѣ группы: 1) фигуры изъ низшихъ классовъ (мужики, солдаты, казаки) и 2) фигуры изъ тѣхъ слоевъ общества, которыхъ классовая психологія рѣзко расходится съ великосвѣтской (интеллигенты-разночинцы, чиновники). Въ изображеніи первыхъ Толстой является великимъ художникомъ не меньше, чѣмъ въ изображеніи великосвѣтскихъ типовъ (вспомнимъ народные типы въ «Казакахъ» и Каратаева); въ воспроизведеніи вторыхъ уже не виденъ великій художникъ, а виденъ только большой мастеръ рисунка и психологическаго анализа, причемъ среди этого мастерства нетрудно подслушать иной разъ не совсѣмъ вѣрныя и даже совсѣмъ невѣрныя ноты, замѣтить неправильныя обобщенія.

Вообще здѣсь нѣтъ того глубокаго проникновенія въ натуру человѣческую, той вѣрности взгляда и того художественнаго ясновидѣнія, какими отмѣчены субъективныя (въ тѣсномъ и въ обширномъ смыслѣ) созданія Толстого, и также образы изъ низшихъ слоевъ. Не помню, кто первый сказалъ, что Толстой, какъ художникъ, понимаетъ или цѣнитъ только «аристократовъ» и мужиковъ, а все, что посерединѣ, ему чуждо. Это замѣчаніе очень мѣтко и въ своей основѣ вѣрно, но оно слишкомъ рѣзко и категорично. Нельзя утверждать, что художественному пониманію Толстого вполнѣ чуждо все, что не вмѣщается въ психологію великосвѣтскую съ одной стороны и въ мужицкую съ другой: ему, напр., доступно, какъ немногимъ нашимъ художникамъ, пониманіе національной русской психологіи (вспомнимъ Кутузова и опять-таки Каратаева), укажемъ далѣе на галлерею женскихъ типовъ, интересъ которыхъ, конечно, не ограничивается классовой психологіей; вспомнимъ также превосходныя эпизодическія фигуры офицеровъ (не изъ «аристократовъ) въ «Войнѣ и мирѣ» (напр., кап. Тушина и др.). Но за

такими ограниченіями и оговорками мы присоединяемся къ мнѣнію, что въ общемъ психологія среднихъ круговъ общества, въ особенности психологія «интеллигенціи» въ собственномъ смыслѣ, въ разработкѣ чего такимъ мастеромъ былъ Тургеневъ, мало доступна художественному воспріятію и сочувствію Толстого, и что въ этой области онъ не далъ человѣческихъ документовъ, равносильныхъ тѣмъ, какіе онъ далъ намъ въ сферахъ великосвѣтской и крестьянской.

Вотъ именно съ этой-то точки зрѣнія и любопытно проанализировать Каренина, котораго нельзя причислить къ типамъ великосвѣтскимъ. Онъ, конечно, стоитъ на высшихъ ступеняхъ общественной лѣстницы и связанъ съ великосвѣтскимъ кругомъ, но эти связи чисто внѣшнія: со стороны психологіи классовой формы мы не находимъ у него типичныхъ чертъ «аристократа». Взамѣнъ того онъ щедро (м. б. слишкомъ щедро) надѣленъ чертами (и едва ли строго типичными) высшаго чиновника, сановника, служебнаго дѣятеля. Если онъ и не представитель того средняго круга, который такъ мало цѣнится Толстымъ, то онъ зато человѣкъ того чиновнаго, бюрократическаго склада, который цѣнится Толстымъ еще меньше. Въ лицѣ Каренина Толстой впервые принялся за тщательное изученіе и художественное воспроизведеніе натуры этого рода. Единственнымъ прецедентомъ Каренина въ творчествѣ Толстого была фигура Сперанскаго въ «Войнѣ и мирѣ», но она эпизодична и психологически не разработана. Въ томъ, какъ изображенъ Сперанскій, мы прежде всего видимъ выраженіе скептическаго взгляда Толстого на дѣятелей этого рода и на самую ихъ дѣятельность. Сперанскій развѣнчанъ, но вѣдь онъ—историческое лицо, и очень крупное, а потому изображеніе Толстого ничуть не мѣшаетъ читателю отдѣлять образъ этого дѣятеля, нарисованный Толстымъ, отъ того представленія о немъ, какое могло сложиться у читателя на основаніи историческихъ источниковъ. Но и помимо того, даже въ изображеніи Толстого эта историческая личность выходитъ по-своему значительной. Она окружена ореоломъ обаянія, какое она производитъ въ первое время даже на умнаго и самостоятельнаго князя Андрея. Толстой старается разрушить этотъ ореолъ, но у читателя все-таки остается впечатлѣніе, что ореолъ былъ, а кромѣ того читателю предоставлена еще возможность думать, что Толстой этого ореола не разрушилъ.

Теперь передъ нами аналогичная фигура высшаго дѣятеля государственной службы, сановника, не меньше Сперанскаго увѣреннаго въ своемъ призваніи, въ важности и плодотворности своей дѣятельности. Но эта фигура уже не пріурочена къ историческому имени, не окружена ореоломъ и, если можно такъ выразиться, цѣликомъ отдана въ жертву отрицанія Толстого: она беззащитна передъ нимъ, и Толстому ничего не стоитъ съ его обычнымъ искусствомъ анализа развѣнчать этого человѣка и представить его натуру служебнаго дѣятеля и сановника какъ родъ извращенія человѣческой природы. Въ этомъ направленіи, несомнѣнно, и поведенъ анализъ Каренина, на этомъ отрицаніи и построенъ онъ. Но однако этимъ дѣло не ограничилось. Въ изображеніи или, лучше сказать, въ разслѣдованіи Каренина явственно сказывается желаніе Толстого быть справедливымъ, истинно художническое стремленіе понять данную натуру, открыть въ ней ея подлинную человѣчность. Вникая въ то, какъ изображенъ, какъ изслѣдованъ Каренинъ, мы замѣчаемъ усилія художника открыть въ этой «министерской машинѣ» настоящаго человѣка, а рядомъ намъ бросается въ глаза предвзятость отрицанія, на которомъ построенъ образъ Каренина,—и все вмѣстѣ даетъ въ результатѣ вышеупомянутую значительную разницу между изображеніемъ этого лица и изображеніемъ другихъ: Каренинъ, какъ образъ, производитъ на насъ впечатлѣніе не художественнаго созданія въ собственномъ смыслѣ, а только болѣе или менѣе искуснаго—и искусственнаго—беллетристическаго построенія.

Для обоснованія этого вывода необходимо разсмотрѣть въ послѣдовательномъ порядкѣ важнѣйшія, относящіяся къ Каренину, мѣста романа.

II.

Впервые выведенъ Каренинъ въ гл. XXXI-ой I-ой части. Онъ встрѣчаетъ на вокзалѣ жену, возвратившуюся изъ Москвы. Нѣсколько бѣглыхъ замѣчаній о наружности Каренина, его манерѣ держать себя и говорить, о впечатлѣніи, которое онъ произвелъ на Вронскаго, пріѣхавшаго съ тѣмъ же поѣздомъ, уже предрасполагаютъ насъ къ ожиданію, что этого человѣка Толстой не пощадитъ. Мы узнаемъ здѣсь о походкѣ Алексѣя Александровича, «ворочавшаго всѣмъ тазомъ и тупыми ногами», о его «холодной самоувѣренности», о его манерѣ говорить, отчекани-

вая слова, «какъ рублемъ даря каждымъ словомъ». Ближе знакомимся мы съ нимъ въ гл. XXXIII-ей (той же части). Здѣсь даны нѣкоторыя черты, характеризующія дѣловитость и служебное честолюбіе Каренина. Мы узнаемъ, что «каждая минута жизни Алексѣя Александровича была занята и распредѣлена», и что его девизомъ было «безъ поспѣшности и безъ отдыха». Онъ весь ушелъ въ свою дѣятельность и поглощенъ интересами службы. Съ «самодовольною улыбкою» разсказываетъ онъ Аннѣ о своихъ успѣхахъ: онъ блестяще провелъ въ совѣтѣ новое положеніе, и ему сдѣлали по этому случаю овацію. Не лишенъ значенія для характеристики Каренина также его отзывъ о Стивѣ Облонскомъ. Выслушавъ разсказъ Анны, онъ говоритъ: «Я не полагаю, чтобы можно было извинить такого человѣка, хотя онъ и твой братъ». Эти слова и строгій тонъ, съ какимъ они сказаны, должны были,—говоритъ Толстой,—«показать, что соображенія родства не могутъ остановить его въ высказываніи своего искренняго мнѣнія». Черта, можетъ быть, мелкая, но мы ее отмѣчаемъ здѣсь потому, что она, вмѣстѣ съ другими подобными, является свидѣтельствомъ о стремленіи Толстого быть справедливымъ къ Каренину. Не лишено значенія и то, какъ отнеслась Анна къ приведенному отзыву мужа о ея братѣ. Ей понравилось это откровенное и нелицепріятное выраженіе Карениным его мнѣнія: «она знала эту черту въ своемъ мужѣ и любила ее». Далѣе, въ той же главѣ любопытны свѣдѣнія о многосторонней начитанности, о политическихъ, философскихъ, богословскихъ, литературныхъ интересахъ Каренина. Онъ за всѣмъ слѣдитъ, все читаетъ. Черта почтенная, но тутъ замѣшана и одна «слабость», къ которой Анна относится съ улыбкой снисхожденія. Дѣло въ томъ, что въ вопросахъ политики, философіи, богословія Алексѣй Александровичъ «сомнѣвался и отыскивалъ», «но въ вопросахъ искусства и поэзіи, въ особенности музыки, пониманія которой онъ былъ совершенно лишенъ, у него были самыя опредѣленныя, твердыя мнѣнія...» Подобная слабость (имѣть опредѣленныя, твердыя мнѣнія въ областяхъ, пониманіе которыхъ не доступно или мало доступно данному лицу) встрѣчается не рѣдко, но для Каренина, какъ художественнаго образа, какъ типа, я не считалъ бы эту черту существенною. Если она нужна для того только, чтобы Каренинъ вышелъ по возможности «сухимъ», исключительно дѣловымъ человѣкомъ, которому многое человѣ-

ческое чуждо, въ томъ числѣ и искусство, то это пріемъ слишкомъ рутинный, и не Толстому бы прибѣгать къ нему. Да и въ дальнѣйшемъ эта черта не утилизируется (кромѣ, можетъ быть, одного мѣста, о которомъ—ниже), и изо всего, что мы узнаемъ о Каренинѣ, изъ общаго представленія о немъ, складывающагося у насъ по прочтеніи романа, мы не можемъ вывести мнѣнія, чтобы непониманіе искусства и самоувѣренность сужденій его въ этой области были чертою, существенною для натуры Каренина, чтобы это довершало его характеристику. Ниже мы вернемся къ этому пункту.

Въ общемъ, на основаніи данныхъ главы XXXIII-ей, мы выносимъ представленіе о Каренинѣ, совпадающее съ отзывомъ о немъ Анны: «Все-таки (т. е. несмотря на дѣловую, служебную исключительность) онъ хорошій человѣкъ, правдивый, добрый и замѣчательный въ своей сферѣ...» Такъ говоритъ сама себѣ Анна, «какъ бы защищая его передъ кѣмъ-то, кто обвинялъ его и говорилъ, что его нельзя любить». Такъ скажемъ и мы, какъ бы защищая его передъ Толстымъ, который въ дальнѣйшемъ употребляетъ слишкомъ замѣтныя усилія, чтобы внушить намъ взглядъ на Каренина, какъ на человѣка, въ которомъ все человѣческое извращено призрачной жизнью бюрократа,

Переходимъ къ VIII-ой главѣ II части. Здѣсь воспроизведенъ тотъ моментъ, когда Каренинъ впервые обезпокоивается насчетъ отношеній Анны къ Вронскому, и когда въ немъ зарождается тревожная мысль о томъ, что вѣдь Анна можетъ влюбиться, и что изъ этого выйдетъ. Онъ рѣшилъ поговорить съ женой серьезно, предостеречь ее. И вотъ Толстой старается какъ можно обстоятельнѣе разъяснить намъ всю затруднительность положенія Каренина, обусловленную будто бы не только силою обстоятельствъ, которыя и для всякаго другого были бы не менѣе трудны, но также и особенностями душевной организаціи Алексѣя Александровича. Не трудно видѣть однако, что въ данномъ случаѣ никакая другая душевная организація не помогла бы дѣлу. Молодая, страстная, жаждущая любви женщина, красавица, еще не испытавшая настоящей любви, вышедшая замужъ за человѣка пожилого, котораго она только «уважала», начинаетъ увлекаться молодымъ, красивымъ, блестящимъ человѣкомъ, страстно въ нее влюбленнымъ. Таково положеніе, и нѣтъ никакой надобности быть завзятымъ бюрократомъ, «министерской машиною», чтобы не умѣть изъ него выйти.

Но Толстой все-таки настаиваетъ на томъ, что исключительная, отрѣшенная отъ жизни душевная организація Каренина увеличивала трудность положенія. Можетъ быть, и увеличивала, но это—увеличеніе, подобное тому, какое имѣетъ мѣсто, если, напр., въ море влить кувшинъ воды. Но послушаемъ, что говоритъ объ этомъ Толстой въ указанной главѣ: «Алексѣй Александровичъ стоялъ лицомъ къ лицу предъ жизнью, предъ возможностью въ его женѣ любви къ кому-нибудь, кромѣ него, и это казалось ему очень безтолковымъ и непонятнымъ, потому что это была сама жизнь. Всю жизнь свою Алексѣй Александровичъ прожилъ и проработалъ въ сферахъ, имѣющихъ дѣло съ отраженіями жизни, и каждый разъ, когда онъ сталкивался съ самой жизнью, онъ отстранялся отъ нея. Теперь онъ испытывалъ чувство, подобное тому, какое испыталъ бы человѣкъ, спокойно прошедшій надъ пропастью по мосту и вдругъ увидавшій, что этотъ мостъ разобранъ, и что тамъ пучина. Пучина эта была сама жизнь, мостъ—та искусственная жизнь, которую прожилъ Алексѣй Александровичъ. Ему въ первый разъ пришли вопросы о возможности для его жены полюбить кого-нибудь, и онъ ужаснулся предъ этимъ».—Въ этихъ словахъ видно стараніе во что бы то ни стало пріурочить къ дѣлу «бюрократическую натуру» Каренина, и вмѣстѣ съ тѣмъ тутъ еще замѣшано одно недоразумѣніе. Это именно утвержденіе, будто тѣ сферы, къ которымъ принадлежитъ Каренинъ, имѣютъ дѣло не съ жизнью, а только съ «отраженіями жизни». Если бы рѣчь шла, напр., объ ученыхъ и философахъ, погруженныхъ въ научныя и философскія изысканія и чуждыхъ всякой иной дѣятельности, кромѣ работы мысли, то я бы согласился, что передъ нами люди, имѣющіе дѣло не съ жизнью, а только съ отраженіями жизни въ научно-философскихъ понятіяхъ. И, дѣйствительно, зачастую умы этого рода, при столкновеніи съ настоящею жизнью, оказываются наивными и безпомощными, какъ младенцы. Но вѣдь А. А. Каренинъ—не мыслитель, отдѣленный отъ дѣйствительности, онъ —практическій дѣятель, стоящій лицомъ къ лицу съ текущими вопросами государственной и общественной жизни. Можетъ быть, онъ понимаетъ ихъ и относится къ нимъ не такъ, какъ хотѣлъ бы Толстой... Это другое дѣло. Но какъ бы онъ ни относился къ подлежащимъ его вѣдѣнію вопросамъ жизни,—во всякомъ случаѣ это не имѣетъ никакого значенія въ данномъ вопросѣ личной и семейной жизни Каренина.

Въ разсматриваемой главѣ явственно сказывается апріорное построеніе слѣдующаго рода: Каренинъ—бюрократъ отъ головы до пятокъ, слѣдовательно, нужно въ данномъ случаѣ обнаружить его бюрократическую натуру и показать, какъ она безпомощна и ничтожна при столкновеніи съ «настоящею жизнью». Задавшись такой программой, Толстой заставляетъ Каренина проявлять свою бюрократическую натуру и таковой же складъ мышленія въ тѣхъ рѣшеніяхъ, къ которымъ онъ приходитъ, обдумывая свое положеніе. Первое, что приходитъ ему въ голову,—это необходимость «высказать» Аннѣ «свой взглядъ и свое рѣшеніе». Тутъ же мы узнаемъ, что Каренинъ не ревнивъ и держится убѣжденія, что «ревность оскорбляетъ жену и къ женѣ должно имѣть довѣріе». Эта черта высокой нравственной цѣнности, для обладанія которой нѣтъ надобности быть непремѣнно бюрократомъ, повидимому, приведена, однако, съ цѣлью оттѣнить натуру Каренина въ томъ смыслѣ, что всѣ силы души, всѣ интересы этого человѣка, всѣ страсти, какія въ немъ есть, ушли въ службу, въ карьеру. Только здѣсь, въ сферѣ служебныхъ отношеній, онъ можетъ быть и ревнивъ, и завистливъ, и гордъ, и самолюбивъ, семейныя же отношенія, интимный міръ жены, ея женская натура, сынъ и его дѣтскій мірокъ—все это мало интересуетъ его, не вызываетъ въ немъ страстнаго отношенія, не составляетъ какъ бы части его духовнаго существа и является только какъ «обстановка» его жизни. Теперь впервые пришлось ему заглянуть въ этотъ «департаментъ» и произвести, такъ сказать, «ревизію дѣлъ», которыя тамъ шли своимъ порядкомъ. Послѣ безплоднаго ломанія головы надъ тѣмъ, что нужно сдѣлать, что именно высказать и въ какой формѣ, Каренинъ невольно обращается мыслью къ запущенному департаменту, и вотъ тутъ-то «мысли его вдругъ измѣнились». Они соскочили съ рельсовъ бюрократическихъ формъ («обдумать», «высказать свой взглядъ и рѣшеніе», «отбросить») и попали въ колею столь недоступной Каренину психологической постановки. Здѣсь читаемъ слѣдующее: «Онъ сталъ думать о ней (Аннѣ), о томъ, что она думаетъ и чувствуетъ. Онъ впервые живо представилъ себѣ ея личную жизнь, ея мысли, ея желанія, и мысль, что у нея можетъ быть и должна быть своя особенная жизнь, показалась ему такъ страшна, что онъ поспѣшилъ отогнать ее. Это была та пучина, куда ему страшно было заглянуть. Переноситься мыслью и существомъ въ другое существо

было душевное дѣйствіе, чуждое Алексѣю Александровичу. Онъ считалъ это душевное дѣйствіе вреднымъ и опаснымъ фантазерствомъ». Подчеркнутыя нами слова, это—именно то самое мѣсто, которое представляется намъ имѣющимъ ближайшую связь съ вышеприведеннымъ указаніемъ на то, что натурѣ Каренина чужда поэзія и недоступно пониманіе искусства. Искусство и есть та творческая дѣятельность воображенія, въ силу которой мы «переносимся мыслью и чувствомъ въ другое существо». И тотъ, кто къ этому неспособенъ по самой натурѣ своей, не сумѣетъ дѣлать это и вслѣдъ за художникомъ: онъ не будетъ понимать искусства. Это совершенно вѣрно, но спрашивается, насколько эта черта типична для Каренина, и связывается ли она съ бюрократизмомъ? Въ представленіи Толстого (едва ли можно сомнѣваться въ этомъ) эта связь существуетъ и представляется ему психологически-необходимою или, по крайней мѣрѣ, характерною: Каренинъ—бюрократъ, человѣкъ, отрѣшенный отъ подлинной жизни и ея не понимающій, и съ этимъ, по мысли Толстого, вполнѣ гармонируетъ недоступность искусства Каренину и его неспособность входить во внутренній міръ другихъ. Но это идея ложная. Бюрократизмъ тутъ не при чемъ. Какъ пониманіе искусства, такъ и умѣніе входить въ интимный, душевный міръ другихъ основаны на дѣйствіи симпатическаго воображенія. Всѣ мы въ большей или меньшей мѣрѣ надѣлены имъ отъ природы, но у всѣхъ насъ оно такъ или иначе ограничивается различными воздѣйствіями, для него неблагопріятными. Болѣе всего ограничивается оно 1) черствостью, эгоистичностью натуры; 2) слабостью умственныхъ силъ (симпатическое воображеніе есть только разновидность воображенія вообще, а послѣднее—одна изъ важнѣйшихъ силъ или функцій ума: у идіота не можетъ быть симпатическаго воображенія); 3) расовыми, національными, классовыми, профессіональными перегородками, которыя ограничиваютъ дѣятельность симпатическаго воображенія, такъ сказать, въ пространствѣ [1]). Каренинъ, какъ мы узнаемъ изъ дальнѣйшаго, далеко не черствъ и не эгоистъ въ той исключительной мѣрѣ,

---

[1]) Сколько у насъ, къ сожалѣнію, есть людей, которые тонко и сочувственно понимаютъ душевный міръ ближняго, но только подъ условіемъ, чтобы «этотъ ближній не былъ (для однихъ) нѣмецъ, (для другихъ) полякъ, (для третьихъ) еврей, для иныхъ — человѣкъ другого класса и т. д.

какая нужна для парализаціи симпатическаго воображенія; мы увидимъ, что онъ даже очень чувствителенъ и отзывчивъ на страданія другихъ; въ умственномъ отношеніи онъ далеко не ограниченъ и скорѣе стоитъ выше средняго уровня, о его расовыхъ, національныхъ, классовыхъ антипатіяхъ или предразсудкахъ намъ ничего неизвѣстно, и мы, судя по общему впечатлѣнію, скорѣе склонны думать, что ихъ нѣтъ у него. Остается только профессіональная перегородка—бюрократическая, но она, какъ и большинство другихъ профессіональныхъ, ограничиваетъ дѣйствіе симпатическаго воображенія далеко не такъ сильно, какъ это дѣлаютъ перегородки расовыя, національныя и нѣкоторыя классовыя. На почвѣ всѣхъ такихъ психологическихъ формъ, разъединяющихъ людей, легко возникаютъ, какъ это слишкомъ хорошо извѣстно, трудно искоренимыя антипатіи, стихійная вражда, безсмысленная ненависть, а это и есть тотъ замокъ, которымъ наглухо замыкаются души человѣческія, даже такія, что иначе могли бы быть широко раскрыты для всякаго пониманія, для всякаго сочувствія.

Но пойдемъ дальше. Толстой отказываетъ Каренину въ способности «переноситься мыслью и чувствомъ въ другое существо» очевидно для того только, чтобы Каренинъ вышелъ законченнымъ типомъ чиновнаго дѣльца, сановника, формалиста, который весь ушелъ въ бумаги и за бумагами ничего не видитъ. Съ тою же цѣлью Толстой заставляетъ его «считать это душевное дѣйствіе вреднымъ и опаснымъ фантазерствомъ». Если бы это относилось только къ служебной практикѣ Каренина, къ его отношеніямъ къ подчиненнымъ, просителямъ и т. д., то никакихъ возраженій и недоумѣній это не вызывало бы у насъ. Но Толстой заставляетъ Каренина быть такимъ въ его частной жизни, въ отношеніи къ женѣ. Вотъ онъ только что, какъ мы видѣли, задумался надъ тѣмъ, что думаетъ и чувствуетъ Анна. Передъ нимъ задача со многими неизвѣстными, и онъ даже не пытается разрѣшить ее. Если душа жены для него—настоящія потемки, то, скажемъ мы, это легко объясняется разницей натуръ, лѣтъ, интересовъ. Но мы скажемъ еще, что гораздо правдоподобнѣе было бы дѣло, если бы художникъ представилъ намъ Каренина воображающимъ, что онъ отлично знаетъ душевный міръ Анны и читаетъ тамъ, какъ по писанному. Такое самообольщеніе было бы для Каренина гораздо типичнѣе.

«Я долженъ обдумать, рѣшить и отбросить»—вотъ все, къ чему послѣ всѣхъ попытокъ проникнуть въ душевный міръ жены приходитъ Каренинъ, точно онъ на своемъ министерскомъ креслѣ, и передъ нимъ дѣло за № такимъ-то. Прочтемъ еще слѣдующее: «Вопросы о ея чувствахъ, о томъ, что дѣлалось и можетъ дѣлаться въ ея душѣ,—это не мое дѣло, это дѣло ея совѣсти и подлежитъ религіи»,—сказалъ онъ себѣ, чувствуя облегченіе при сознаніи, что найденъ тотъ отдѣлъ узаконеній, которому подлежало возникшее обстоятельство».

Подчеркнутыя мною слова явно отзываются каррикатурою, но, повидимому, они сказаны серьезно и имѣютъ цѣлью отмѣтить психологическую черту, которая представляется Толстому въ высокой степени характерною для Каренина. Странное впечатлѣніе производитъ это внесеніе каррикатуры, хотя бы и ненамѣренной, въ серьезный психологическій анализъ,—тѣмъ болѣе странное, что въ данномъ мѣстѣ затронутъ мотивъ, имѣющій несомнѣнное значеніе. Ходъ мыслей Каренина дѣйствительно долженъ былъ привести его къ такой постановкѣ вопроса: то, что Анна переживаетъ въ данное время, это—дѣло ея совѣсти, а слѣдовательно, по существу, не подлежитъ вмѣшательству другого человѣка, хотя бы и самаго близкаго ей; вѣдь нельзя насильно заставить чужую совѣсть заговорить, если она молчитъ. Но для человѣка религіознаго, какимъ представленъ Каренинъ, въ подобныхъ случаяхъ сама собою напрашивается мысль обратиться къ авторитету религіи (предполагая, конечно, религіозность самой Анны). И если при такомъ оборотѣ мыслей Каренинъ могъ почувствовать нѣкоторое облегченіе, то оно явилось, конечно, вовсе не потому, что «найденъ» соотвѣтственный «отдѣлъ узаконеній», а скорѣе въ силу присущаго всѣмъ вѣрующимъ убѣжденія въ магической власти религіи надъ совѣстью человѣка; но помимо того для вѣрующаго всякое обращеніе къ религіи, въ трудныхъ, даже совсѣмъ непоправимыхъ обстоятельствахъ, всегда приноситъ нѣкоторое облегченіе. Толстой, однако, ограничивается упоминаніемъ этого мотива, не разрабатывая его; но зато онъ слишкомъ ужъ усердно разрабатываетъ другой мотивъ—то каррикатурное изображеніе натуры сухого, можно сказать, тупого, законника и формалиста, на которое мы только-что указали. Каренинъ приходитъ къ рѣшенію, что совѣсть—совѣстью, и религія пусть свое дѣло дѣлаетъ, а онъ, какъ глава

семьи, обязанъ «предостеречь», «указать опасность», «даже употребить власть». И вотъ въ его головѣ складывается рѣчь, которую онъ скажетъ Аннѣ, «складывается ясно и отчетливо, какъ докладъ». Опять каррикатурная черта, соотвѣтственно которой дается и программа самой рѣчи: «Я долженъ сказать и высказать слѣдующее: во-первыхъ, объясненіе значенія общественнаго мнѣнія и приличія; во-вторыхъ, религіозное объясненіе значенія брака; въ-третьихъ, если нужно, указаніе на могущее произойти несчастье для сына; въ-четвертыхъ, указаніе на ея собственное несчастье».

Весь этотъ анализъ или, лучше сказать, все построеніе Каренина въ разсматриваемой главѣ было бы рѣшительно недостойно Толстого, если бы дѣло не было въ значительной мѣрѣ исправлено въ слѣдующей главѣ, IX-ой, гдѣ прекрасно проведено самое объясненіе между супругами. Здѣсь Каренинъ обнаруживается вовсе не такимъ, какъ мы ожидали бы на основаніи выше изложеннаго: это уже не сухой законникъ, не чиновная мумія, это—добрый и искренній человѣкъ, который не читаетъ «доклада», не произноситъ заготовленной рѣчи, а говоритъ просто и задушевно то, что всякій другой сказалъ бы на его мѣстѣ, если только этотъ другой, подобно ему, не ревнивъ, какъ Отелло, не глупо-подозрителенъ и предпочитаетъ прежде всего дѣйствовать словомъ убѣжденія. Но любопытно здѣсь то, что съ внѣшней стороны «программа» рѣчи, изложенная въ предыдущей главѣ, все-таки выдержана: Каренинъ говоритъ Аннѣ и о «законахъ приличія», и о томъ, что ихъ жизнь связана не людьми, а Богомъ, и разорвать эту связь было бы преступленіемъ («религіозное объясненіе значенія брака»), и о несчастьѣ для семьи, для сына. Все, повидимому, есть, какъ было начертано въ программѣ,—одного только нѣтъ—утрированнаго духа сухой формалистики, представленнаго въ нарочито-каррикатурномъ видѣ. И, между прочимъ, вышеуказанный шаржъ главы VIII-ой, именно то мѣсто, гдѣ сказано, что Каренинъ почувствовалъ облегченіе, найдя въ религіи соотвѣтственный «отдѣлъ узаконеній», обезвреживается или исправляется здѣсь слѣдующими словами Каренина: «...Копаясь въ душѣ своей, мы часто выкапываемъ такое, что тамъ лежало бы незамѣтно. Твои чувства—это дѣло твоей совѣсти; но я обязанъ предъ тобою, предъ собою и предъ Богомъ указать тебѣ твои обязанности... Я люблю тебя. Но я говорю не о себѣ; главныя лица тутъ—нашъ сынъ и ты сама... Очень можетъ

быть, повторяю, тебѣ покажутся совершенно напрасными и неумѣстными мои слова: можетъ быть, они вызваны моимъ заблужденіемъ. Въ такомъ случаѣ, я прошу тебя извинить меня. Но если ты сама почувствуешь, что есть хоть малѣйшія основанія, то я тебя прошу подумать и, если сердце тебѣ говоритъ, высказать мнѣ...»

Во всемъ этомъ не видать того «бюрократа», котораго мы ожидали встрѣтить. Но мало того: въ главѣ IX-ой не только исправлены шаржи главы VIII-ой, но еще одно существенное показаніе этой послѣдней рѣшительно опровергнуто здѣсь. На основаніи главы VIII-ой мы должны думать, что душа Анны для ея мужа—terra incognita, что ему совершенно чуждо все, что тамъ происходитъ, и между супругами нѣтъ душевныхъ связей. Теперь мы узнаемъ нѣчто, прямо противорѣчащее этому. «Духъ лжи» такъ овладѣлъ Анной (въ сценѣ объясненія съ мужемъ), что въ ея репликахъ, въ ея стараніи уклониться отъ объясненія посторонній человѣкъ не замѣтилъ бы ничего неестественнаго; чтобы это замѣтить, нужно было знать ее такъ, «какъ зналъ мужъ»... «для него, знавшаго ее, знавшаго, что, когда онъ ложился пятью минутами позже, она замѣчала и спрашивала о причинѣ, для него, знавшаго, что всякія свои радости, веселье, горе, она тотчасъ сообщала ему, для него теперь—видѣть, что она не хотѣла замѣчать его состоянія, что она не хотѣла ни слова сказать о себѣ—означало многое. Онъ видѣлъ, что глубина ея души, всегда прежде открытая предъ нимъ, была закрыта отъ него»...

Здѣсь противорѣчіе не словъ, какое часто бываетъ, а въ самой сущности дѣла. На основаніи только-что приведеннаго мѣста мы съ полнымъ правомъ заключаемъ, что душевный міръ Анны для Каренина былъ вовсе не terra incognita, не заколдованное царство, куда онъ не проникалъ ни мыслью, ни чувствомъ, и гдѣ все было ему чуждо, невѣдомо, непонятно. Нѣтъ, онъ хорошо зналъ свою жену, она была съ нимъ вполнѣ откровенна, она дѣлилась съ нимъ всѣми своими радостями и печалями, ему была открыта «глубина ея души». Какъ же примирить съ этимъ то, что сказано въ главѣ VIII-ой: «Онъ впервые живо представилъ себѣ ея личную жизнь, ея мысли, ея желанія?...» Да вѣдь оказывается, онъ отлично зналъ все это. Личная жизнь Анны, по свидѣтельству главы VIII-ой, это—«та пучина, куда ему страшно было заглянуть»; теперь, въ главѣ IX-ой, мы узна-

емъ, что «глубина души» Анны всегда «была открыта предъ нимъ»...

«Истина», по всей вѣроятности, скрывается посрединѣ между этими крайностями: Каренинъ хорошо зналъ характеръ жены, складъ ея ума, уровень ея образованія, ея вкусы, привычки, слабости и т. д., но едва ли онъ, всецѣло погруженный въ служебную дѣятельность, могъ проникать въ глубину ея души, и, конечно, онъ и не подозрѣвалъ, что въ этой глубинѣ таились сдержанныя, дремлющія до поры до времени силы страстной женской натуры, жаждущей любви и счастья.

III.

Переходимъ къ XXVI-ой главѣ той же II-ой части.

Каренинъ еще не знаетъ объ измѣнѣ жены, онъ еще не имѣетъ «не только доказательствъ, но и подозрѣній», и тѣмъ не менѣе «въ глубинѣ души онъ уже зналъ несомнѣнно, что онъ былъ обманутый мужъ, и былъ отъ этого глубоко несчастливъ». Послѣ неудавшагося объясненія съ Анной онъ замкнулся въ себѣ и установилъ тѣ холодныя отношенія къ ней, психологія которыхъ весьма удачно намѣчена слѣдующими чертами: «Ты не хотѣла объясниться со мной,—какъ будто говорилъ онъ, мысленно обращаясь къ ней,—тѣмъ хуже для тебя. Теперь уже ты будешь просить меня, а я не стану объясняться. Тѣмъ хуже для тебя,—говорилъ онъ мысленно, какъ человѣкъ, который бы тщетно попытался потушить пожаръ, разсердился бы на свои тщетныя усилія и сказалъ бы: такъ на же тебѣ! такъ сгоришь за это.».—Мнѣ кажется, это очень удачно угадано и представляется вполнѣ естественнымъ для человѣка, отъ природы не ревниваго, не пылающаго страстной любовью къ женѣ, наконецъ, для человѣка, важнѣйшіе жизненные интересы котораго не въ семьѣ, а внѣ ея, въ служебной дѣятельности. Этотъ человѣкъ обиженъ, оскорбленъ, встревоженъ, видитъ свое безсиліе предотвратить бѣду, и ему ничего не остается больше, какъ замкнуться въ себѣ, затаить въ душѣ свое горе и—молчать. Къ этому, разумѣется, примѣшиваются и чувства досады, озлобленія, оскорбленнаго самолюбія,—и мотивъ «такъ на же тебѣ, такъ сгоришь за это!» совершенно понятенъ. Но вотъ что не понятно: непосредственно вслѣдъ за приведенными словами Толстой говоритъ: «Онъ, этотъ умный и тонкій въ слу-

жебныхъ дѣлахъ человѣкъ, не понималъ всего безумія такого отношенія къ женѣ». При чемъ тутъ умъ и тонкость въ служебныхъ дѣлахъ? И почему данное отношеніе Каренина къ женѣ нужно считать безуміемъ? Развѣ всякое другое хоть сколько-нибудь помогло бы ему въ данномъ случаѣ? Развѣ, при иной тактикѣ возможно предположить благопріятный исходъ для мужа, который сталъ физически и всячески противенъ женѣ, отдавшейся другому? Вспомнимъ, что разсматриваемая глава относится къ тому времени, когда любовь Анны и Вронскаго была въ своемъ апогеѣ, и когда въ душѣ Анны возникло непреодолимое, нестерпимое чувство отвращенія къ мужу. Но, быть можетъ, если бы Каренинъ прибѣгъ къ бурнымъ сценамъ ревности и являлъ бы зрѣлище полнаго отчаянія, обнаруживалъ рѣшимость, цѣною чего бы то ни было, не уступать жены другому,—то это польстило бы женскому тщеславію Анны и вызвало бы въ ней какія-нибудь чувства, благопріятныя для мужа, напримѣръ, чисто женское чувство какъ-бы благодарности за столь пылкую и самоотверженную любовь, или, можетъ быть, чувство жалости [1]). Но, безъ всякаго сомнѣнія, это ничуть не помогло бы дѣлу. Смѣшонъ былъ бы Аннѣ этотъ сановникъ въ роли Отелло, и въ лучшемъ случаѣ она бы бросила его безъ тѣхъ чувствъ стихійной злобы и пристрастной ненависти, какія взяли верхъ въ душѣ Анны въ виду кажущагося спокойствія Каренина и его хлопотъ о соблюденіи приличій.

Въ той же главѣ дано слѣдующее поясненіе, почему Каренинъ не понимаетъ всего «безумія» вышеуказаннаго отношенія къ женѣ: «Онъ не понималъ этого потому, что ему было слишкомъ страшно понять свое настоящее положеніе, и онъ въ душѣ своей закрылъ, заперъ и запечаталъ тотъ ящикъ, въ которомъ у него находились его чувства къ семьѣ, т. е. къ женѣ и сыну...»

Онъ сталъ холоденъ даже къ сыну... Онъ, далѣе, «ничего не хотѣлъ думать о поведеніи и чувствахъ своей жены и, дѣйствительно, онъ объ этомъ ничего не думалъ...» — Послѣднее (что онъ дѣйствительно не думалъ) представ-

---

[1]) Вспомнимъ слова или мысли Анны въ главѣ XXVIII-ой (той же II-ой части): «...что же онъ чувствуетъ, если можетъ такъ спокойно говорить? Убей онъ меня, убей онъ Вронскаго, я бы уважала его. Но нѣтъ: ему нужны только ложь и приличіе».

ляется психологически мало вѣроятнымъ: онъ могъ перестать ломать голову надъ вопросомъ: что дѣлать, какъ выйти изъ бѣды, но вообще не думать о ней едва ли онъ могъ; вѣдь онъ продолжалъ живо чувствовать свое несчастіе, а это чувство должно было непремѣнно вызывать въ сознаніи соотвѣтственныя мысли; онъ могъ стараться отгонять ихъ, но, конечно, онѣ возвращались. Важнѣйшимъ средствомъ отгонять ихъ было усиленное занятіе служебными дѣлами. Онъ говорилъ, что никогда у него не было столько дѣла, какъ теперь, «но онъ не сознавалъ того, что самъ выдумывалъ себѣ въ нынѣшнемъ году дѣла, что это было одно изъ средствъ не открывать того ящика, гдѣ лежали чувства къ женѣ и семьѣ и мысли о нихъ, и которыя дѣлались тѣмъ страшнѣе, чѣмъ дольше они тамъ лежали». Все это мѣсто было бы въ психологическомъ отношеніи безупречно, если бы усилія Каренина «не думать», забыться въ водоворотѣ текущихъ дѣлъ были представлены какъ тщетныя. Затаенное горе, подавленныя скорбныя мысли, глубокое невысказанное, нераздѣленное чувство обиды должны были давить на сознаніе, на мысль тѣмъ сильнѣе, чѣмъ болѣе они были затаены, чѣмъ глубже запрятаны, чѣмъ менѣе высказаны.

Теперь у насъ на очереди одно изъ важнѣйшихъ мѣстъ въ анализѣ и построеніи Каренина, именно глава XIII-я III-й части. Послѣ извѣстной сцены на скачкахъ и признанія Анны въ невѣрности Каренинъ, обдумывая свое положеніе и тщательно взвѣшивая разныя соображенія pro и contra того или иного выхода (дуэль, разводъ), приходитъ къ заключенію, что наилучшимъ исходомъ было бы сохраненіе statu quo, т. е. продолженіе, хотя бы только внѣшнее, прежней семейной жизни, при условіи, разумѣется, чтобы Анна отказалась отъ любовника, соблюдала всѣ правила свѣтскихъ приличій, и чтобы эпизодъ съ Вронскимъ былъ забытъ, не получивъ огласки. Такимъ исходомъ, какъ ему казалось, достигалось бы то, чѣмъ онъ всего больше дорожилъ: сохраненіе заведеннаго порядка жизни; съ тѣмъ вмѣстѣ онъ избавлялся отъ опасности стать притчей во языцѣхъ, мишенью для нападокъ враговъ; всякій другой исходъ (въ особенности разводъ) послужилъ бы поводомъ «для клеветы и униженія его высокаго положенія въ свѣтѣ». Остановившись на этомъ рѣшеніи, онъ почти успокоился, и, «обдумывая дальнѣйшія подробности», онъ «не видѣлъ даже, почему его отношенія къ женѣ не могли оставаться такія же почти, какъ и прежде».

«Да, пройдетъ время, все устрояющее время, и отношенія возстановятся прежнія,—думаетъ онъ,—т. е. возстановятся въ такой степени, что я не буду чувствовать разстройства въ теченіи своей жизни. Она (Анна) должна быть несчастлива, но я не виноватъ, и потому не могу быть несчастливъ.» Такой оборотъ приняли мысли Каренина, конечно, потому, что это человѣкъ, весь смыслъ жизни и всѣ захватывающіе интересы котораго—внѣ семьи, въ его служебной дѣятельности и карьерѣ; семья же для него—только часть обстановки, и настоящихъ человѣческихъ чувствъ мужа, отца, семьянина—у него нѣтъ. Ему и въ голову не приходитъ, что женѣ будетъ нестерпимо-тошно жить съ нимъ, что ихъ жизнь будетъ ложна, фальшива и несчастлива для обоихъ... Но построяя Каренина въ этомъ духѣ, Толстой, конечно, чувствовалъ, что это выходитъ ужъ слишкомъ деревянный человѣкъ, и что ограничиться такой слишкомъ упрощенной психологіей нельзя. Оттуда—попытка найти у Каренина тайныя, для него самаго неясныя или совсѣмъ не сознаваемыя имъ душевныя движенія, которыя внушаютъ ему данное рѣшеніе, независимо отъ вышеприведенныхъ сознательныхъ соображеній. Это, во первыхъ, чувство озлобленія противъ жены и желаніе мести: «...въ душѣ Алексѣя Александровича, несмотря на полное, теперь, какъ ему казалось, презрительное равнодушіе къ женѣ, оставалось въ отношеніе къ ней одно чувство—нежеланіе того, чтобъ она безпрепятственно могла соединиться съ Вронскимъ, чтобы преступленіе ея было для нея выгодно. Одна мысль это такъ раздражала Алексѣя Александровича, что, только представивъ себѣ это, онъ замычалъ отъ внутренней боли...» И далѣе: чувство ревности, которымъ онъ мучился раньше, до признанія Анны, теперь «замѣнилось другимъ,—желаніемъ, чтобъ она не только не торжествовала, но получила возмездіе за свое преступленіе. Онъ не признавалъ этого чувства, но въ глубинѣ души ему хотѣлось, чтобъ она пострадала за нарушеніе его спокойствія и чести». Вотъ, стало быть, одинъ изъ скрытыхъ мотивовъ, заставившихъ Каренина отвергнуть все, что «бросало его жену въ объятія любовника», т. е. разводъ, какъ формальный, такъ и не формальный. Дуэль отвергается на основаніи разныхъ соображеній: Каренинъ въ принципѣ противъ этого варварскаго обычая, да и друзья его не допустятъ, «чтобы жизнь государственнаго человѣка, нужнаго Россіи, подвергалась опасности». Все это доводы

достаточно сильные, но и тутъ, помимо ихъ и сильнѣе ихъ, дѣйствовалъ скрытый мотивъ: Каренинъ смертельно боялся всякаго оружія, и одна мысль о пистолетѣ, направленномъ на него, повергала его въ страхъ и трепетъ. Толстой не говоритъ намъ, что Каренинъ былъ малодушный трусъ и боялся смерти. Онъ говоритъ только о трусости передъ оружіемъ, въ особенности огнестрѣльнымъ. Это, мнѣ кажется, лучшее мѣсто въ разсматриваемой главѣ, и не даромъ Толстой съ нѣкоторой обстоятельностью изображаетъ это чувство спеціальнаго страха. Наблюденіе, безспорно, вѣрное: люди боятся не столько самой смерти, сколько тѣхъ или иныхъ способовъ лишиться жизни. Есть люди, совсѣмъ не боящіеся умереть, но содрогающіеся при одной мысли о возможности, напримѣръ, утонуть. Для другихъ перспектива быть убитымъ пулею ничуть не страшна, но въ то же время они не могутъ безъ ужаса представить себя съ перерѣзаннымъ горломъ. Что Каренинъ могъ быть «трусомъ всякаго оружія» (если можно такъ выразиться),—это весьма похоже на правду, хотя строго типичнымъ признано быть не можетъ.

Итакъ, помимо всякихъ стремленій къ соблюденію приличій, къ устраненію огласки и скандала, къ удержанію прежняго «теченія жизни» и т. д., мотивы злобы и мести, мотивъ боязни оружія сами по себѣ были достаточны для того, чтобы Каренинъ отказался отъ мысли о разводѣ и дуэли и остановился на извѣстномъ намъ рѣшеніи. Эти мотивы и то стремленіе къ сохраненію statu quo дѣйствовали въ одномъ и томъ же направленіи. Все вмѣстѣ построено весьма искусно, но мы, читая эту главу, не находимъ въ себѣ той непоколебимой увѣренности, что иначе и не могло быть, къ которой пріучилъ насъ Толстой анализомъ своихъ лучшихъ созданій. Мы могли бы ожидать здѣсь изображенія того глубокаго потрясенія, какое несомнѣнно долженъ былъ испытать Каренинъ, когда услышалъ изъ устъ Анны роковое признаніе. Мы не считаемъ счастливой находкой то сравненіе, къ которому прибѣгаетъ въ этомъ случаѣ Толстой. Онъ говоритъ, что, услышавъ признаніе Анны, Каренинъ «испытывалъ чувство человѣка, выдернувшаго долго болѣвшій зубъ. Послѣ страшной боли и ощущенія чего-то огромнаго больше самой головы, вытягиваемаго изъ челюсти, больной вдругъ, не вѣря еще своему счастью, чувствуетъ, что не существуетъ болѣе того, что такъ долго отравляло его жизнь». Теперь, послѣ признанія, «боль прошла», и—«онъ чувствовалъ, что можетъ опять

жить и думать не объ одной женѣ» [1]). Сравненіе представляется неподходящимъ и, какъ таковое, даетъ ложное освѣщеніе дѣлу. Страшной боли, сколько мы знаемъ, не было до признанія: было только гнетущее чувство неизвѣстности, и облегченіе, какое могло явиться послѣ выясненія истины, было только то относительное, больше кажущееся, чѣмъ дѣйствительное, облегченіе, которое обыкновенно ощущается, когда мы, такъ или иначе, хотя бы къ худшему, выходимъ изъ томительной неизвѣстности. Теперь положеніе выяснилось, и всѣ догадки, подозрѣнія, сомнѣнія отпали, все это бремя неудобоносимое снято съ души, и потому чувствуется нѣкоторое облегченіе. Но, въ сущности дѣла, это облегченіе того же рода, какое испытываетъ человѣкъ, находящійся подъ страхомъ смертнаго приговора и томящійся долго въ неизвѣстности, выйдетъ ли помилованіе, или нѣтъ; наконецъ онъ узнаетъ, что помилованіе не дано, и ему предстоитъ умереть. Выходъ изъ томленія неизвѣстности вызываетъ въ душѣ нѣкоторую иллюзію облегченія; но эта иллюзія сейчасъ же тонетъ въ новомъ душевномъ страданіи, въ ужасѣ и страшной тоскѣ безнадежности. Нельзя тутъ прибѣгать къ сравненію съ зубной болью...

Надъ человѣкомъ разразилась бѣда—изъ числа тѣхъ, что переворачиваютъ всю жизнь. Муки сомнѣній, муки ожиданія и слабой надежды прошли, но ударъ ошеломилъ его самой своей несомнѣнностью,—и долго не можетъ человѣкъ придти въ себя, примириться съ фактомъ, и способенъ только машинально исполнять обряды жизни и обязанности своей профессіи. Такъ должно было случиться и съ Карениным. Онъ могъ бы предаться тѣмъ размышленіямъ, которыя изложены въ разсмотрѣнной главѣ, только по прошествіи нѣкотораго времени,—Толстой же, самъ введенный въ заблужденіе невольно подвернувшимся неудачнымъ сравненіемъ съ выдернутымъ зубомъ, заставляетъ Каренина предаваться всѣмъ этимъ размышленіямъ и соображеніямъ pro и contra развода, дуэли и т. д. тутъ же, въ каретѣ, въ которой онъ услышалъ признаніе Анны, и въ которой, высадивъ жену на дачѣ, онъ возвращается въ Петербургъ. А вернувшись, онъ пишетъ Аннѣ извѣстное письмо, гдѣ увѣдомляетъ ее о своемъ рѣшеніи и потомъ, стряхнувъ съ себя всѣ душевныя тягости,

---

[1]) Значитъ, раньше онъ о ней все-таки думалъ, вопреки утвержденіямъ главы XXVI-й II-части.

какъ ни въ чемъ не бывало, принимается за дѣла. Все это изложено въ слѣдующей главѣ, XIV-й, гдѣ отмѣтимъ нѣкоторыя черты, представляющіяся намъ психологически невѣрными.

Покончивъ съ письмомъ, Каренинъ сперва, по заведенному порядку, принялся было за чтеніе книги объ евгюбическихъ надписяхъ. Но тутъ взглядъ его упалъ на портретъ Анны, висѣвшій надъ кресломъ. «Поглядѣвъ на портретъ съ минуту, Алексѣй Александровичъ вздрогнулъ такъ, что губы затряслись и произвели звукъ «брр», и отвернулся. Онъ попробовалъ читать, но онъ смотрѣлъ на книгу и думалъ о другомъ». О чемъ? О женѣ, объ ея измѣнѣ, о своемъ положеніи, о своемъ горѣ? Ничуть не бывало: «онъ думалъ не о женѣ, но объ одномъ возникшемъ въ послѣднее время усложненіи въ его государственной дѣятельности, которое въ это время составляло главный интересъ его службы. Онъ чувствовалъ, что онъ глубже, чѣмъ когда-нибудь, вникалъ теперь въ это усложненіе, и что въ головѣ его нарождалась — онъ безъ самообольщенія могъ сказать — капитальная мысль, долженствующая распутать все это дѣло...» И вотъ онъ «погружается въ чтеніе вытребованнаго имъ сложнаго дѣла, относящагося до предстоящагося усложенія». Слѣдуетъ изложеніе самого дѣла, очень злое... Каренинъ весь ушелъ въ захватывающіе интересы служебной игры, — онъ нашелъ свой ходъ и уже видитъ свое торжество,—онъ даетъ противникамъ шахъ и матъ... «Краска оживленія покрыла лицо Алексѣя Александровича, когда онъ быстро писалъ себѣ конспектъ этихъ мыслей». Покончивъ съ этимъ, онъ, по заведенной привычкѣ, почиталъ книгу; потомъ легъ спать и когда, «лежа въ постели, вспомнилъ о событіи съ женою, оно ему представилось уже совсѣмъ не въ такомъ мрачномъ видѣ». Все это—психологически неправдоподобно, въ той хронологической послѣдовательности, въ какой это представлено. Каренинъ, какъ мы его до сихъ поръ знаемъ, а еще лучше узнаемъ изъ дальнѣйшаго, вовсе не такой деревянный или не такой легкомысленно-жизнерадостный человѣкъ, чтобы онъ могъ такъ скоро и такъ легко сбросить съ души всю тяготу чувствъ обманутаго мужа, все горе разрушенной семейной жизни и беззаботно предаться излюбленной игрѣ. Эта игра могла бы дѣйствительно его утѣшить впослѣдствіи, но въ данное время, ошеломленный страшнымъ ударомъ, онъ, конечно, не былъ въ силахъ вести игру, да еще вникать въ головоломное «дѣло» «глубже, чѣмъ когда-нибудь».

IV.

Въ дальнѣйшихъ сценахъ (объясненіе съ Анной въ гл. XXIII-ей той же III-ей части, другое объясненіе въ IV-ой главѣ IV части и сцена у адвоката въ слѣдующей главѣ, V-й) душевное состояніе Каренина представлено въ слѣдующемъ видѣ.

Чувство ревности, конечно, не могло исчезнуть потому только, что было найдено «рѣшеніе» вопроса, тѣмъ болѣе, что это рѣшеніе было лишь кажущимся. Въ сущности вопросъ оставался открытымъ. Мало того: онъ даже еще больше запутался вслѣдствіе нерѣшительности Анны, потерявшей голову больше всѣхъ; а вскорѣ обнаружилось и другое осложненіе—беременность. Все это вновь расшевелило въ Каренинѣ муки ревности. Имъ овладѣло и, можно сказать, ослѣпило его дикое чувство злобы, когда онъ замѣтилъ, что Анна продолжаетъ видаться съ Вронскимъ, когда, далѣе, онъ однажды встрѣтилъ послѣдняго въ своемъ домѣ, наконецъ, когда Анна призналась ему, что ей предстоитъ родить. Это чувство дикаго озлобленія заставляетъ Каренина, всегда столь тактичнаго и корректнаго, говорить Аннѣ слова слишкомъ грубыя, потомъ разыграть слишкомъ дикую сцену, гдѣ онъ отнимаетъ у Анны портфель съ ея перепискою. Все это въ порядкѣ вещей, разъ дано то извращеніе человѣческой натуры и то умопомраченіе, которыя неизбѣжно являются слѣдствіемъ ревности, чувствъ обманутаго, оскорбленнаго мужа. Намъ только кажется, что въ сценѣ съ портфелемъ Каренинъ слишкомъ ужъ вульгаренъ и грубо-золъ. Въ связи съ этимъ, въ гл. VIII-ой (IV-ой части) намъ представляется излишнимъ его письмо къ адвокату съ приложеніемъ трехъ записокъ Вронскаго къ Аннѣ и равно замѣчаніе Толстого, что «Каренинъ съ тѣхъ поръ, какъ онъ перевелъ это дѣло жизни въ дѣло бумажное, все больше и больше привыкалъ къ своему намѣренію (развестись съ женой) и видѣлъ теперь ясно возможность его исполненія». Самая мысль о разводѣ, которую раньше онъ такъ рѣшительно отвергъ, явилась теперь какъ результатъ все того же озлобленія и желанія отомстить. На это указано въ главѣ IV-ой (IV-ой части). Большую роль играла тутъ, весьма естественная въ данномъ случаѣ, неразумная подозрительность обманутаго мужа: Каренинъ забралъ себѣ въ голову, будто Анна и Вронскій замышляютъ нѣкій комплотъ противъ него, будто Анна ничего лучшаго не желаетъ, какъ пользоваться по-прежнему

положеніемъ жены сановника и продолжать обманывать его. На эту подозрительность Каренина указано и въ дальнѣйшемъ. Повторяю, все это въ порядкѣ вещей, но только переходъ къ такому крайнему озлобленію послѣ того относительнаго успокоенія, о которомъ была рѣчь выше, намъ представляется нѣсколько искусственнымъ. Какъ бы то ни было, но въ общемъ развитіи психологіи Каренина это чувство озлобленія безусловно-необходимо: безъ этого мотива была бы психологически невозможна та реакція, то обратное душевное движеніе въ сторону прощенія и самоотверженія, которое возникло въ Каренинѣ у постели умирающей Анны. И вотъ Толстой въ рядѣ сценъ рисуетъ намъ все усиливающійся процессъ ожесточенія, очерствѣнія души Каренина, доходящаго до глухой ненависти къ Аннѣ, до желанія смерти ея (гл. XVII-ая IV-ой части). Душевная реакція противъ этого ожесточенія, необычайная сила которой объясняется исключительностью обстоятельствъ и обстановки, въ существѣ дѣла, была вызвана естественнымъ протестомъ самой натуры Каренина, натуры доброй, деликатной, жалостливой и чувствительной. Здѣсь нужно вспомнить одно мѣсто въ главѣ XIII-ой (III-ей части), которое мы, разбирая эту главу, пропустили, потому что не знали, что дѣлать съ нимъ при анализѣ душевнаго состоянія Каренина, изображеннаго въ указанной главѣ. Это мѣсто гласитъ: «Никто, кромѣ самыхъ близкихъ людей къ Алексѣю Александровичу, не зналъ, что этотъ съ виду самый холодный и разсудительный человѣкъ имѣлъ одну, противорѣчившую общему складу его характера, слабость: Алексѣй Александровичъ не могъ равнодушно слышать и видѣть слезы ребенка или женщины. Видъ слезъ приводилъ его въ растерянное состояніе, и онъ терялъ совершенно способность соображенія...» Толстой утилизируетъ эту черту, въ той же главѣ, только для поясненія того, какъ реагировалъ Каренинъ на признаніе Анны. Когда она «закрывъ лицо руками, заплакала, Алексѣй Александровичъ, несмотря на вызванную въ немъ злобу къ ней, почувствовалъ въ то же время приливъ того душевнаго разстройства, которое на него всегда производили слезы». Чтобы не поддаться этому разстройству, которое не соотвѣтствовало бы положенію, «онъ старался удержать въ себѣ всякое проявленіе жизни и потому не шевелился и не смотрѣлъ на нее (на Анну). Отъ этого-то и происходило то странное выраженіе мертвенности на его лицѣ, которое такъ поразило Анну». Вотъ и все. Для послѣдующихъ

сценъ эта черта не нужна, и Толстой о ней не вспоминаетъ вплоть до тѣхъ главъ, гдѣ изображено обратное движеніе чувствъ Каренина отъ злобы и ожесточенія къ состраданію, душевному размягченію и прощенію, т. е. до главъ XVII-ой, XIX-ой и XX-ой IV-ой части. Здѣсь эта черта опять выплываетъ, здѣсь она нужна, но при этомъ мы, вспоминая ея формулировку въ главѣ XIII-ой (III-ей части), чувствуемъ нѣкоторую неудовлетворенность этой формулировкою. На основаніи послѣдней можно подумать, что это просто та внѣшняя чувствительность, которая нисколько не свидѣтельствуетъ о настоящей добротѣ души, о подлинной сострадательности. Да вѣдь такъ и представлена эта черта въ указанномъ мѣстѣ—какъ «слабость», къ тому же противорѣчащая «общему складу характера» Каренина. А вотъ теперь оказывается, что Каренинъ въ самомъ дѣлѣ, по основному складу своей натуры,—человѣкъ весьма способный къ глубокому сочувствію, къ истинному состраданію...

Вызванный (изъ Москвы) телеграммою Анны, гласившею: «Умираю, прошу, умоляю пріѣхать, умру съ прощеніемъ спокойнѣе», Каренинъ пріѣхалъ въ Петербургъ съ тѣмъ взволнованнымъ и страннымъ настроеніемъ, въ которомъ сквозь злыя чувства недовѣрія (онъ заподозрилъ обманъ или какую-то уловку), подозрительности, ожесточенія пробивалось новое чувство какого-то облегченія, какой-то неясной надежды. Это чувство внушалось возможностью смерти Анны, въ силу чего открывался бы неожиданный и наилучшій для него выходъ изъ тяжелаго положенія. Онъ желалъ смерти Анны, но (и въ этомъ сказывается первый протестъ его доброй души) не хотѣлъ, не смѣлъ, стыдился признаться въ этомъ самому себѣ. Давленіе злыхъ чувствъ достигло высшаго предѣла, когда онъ убѣдился, что въ самомъ дѣлѣ Анна при смерти, и близокъ часъ его освобожденія. Гордіевъ узелъ запутаннаго положенія будетъ разрубленъ смертью виновнаго лица,— и все разрѣшится, его жизнь войдетъ въ нормальную колею...

Въ такомъ замораживающемъ душу, замкнуто-эгоистическомъ настроеніи подходилъ Каренинъ къ дверямъ комнаты, гдѣ умирала Анна. Здѣсь онъ увидѣлъ убитаго горемъ и стыдомъ, плачущаго Вронскаго. И онъ сейчасъ же ощутилъ «приливъ того душевнаго разстройства, которое производилъ въ немъ видъ страданій другихъ людей... [1]). Когда онъ вошелъ въ комнату

[1]) Вотъ уже маленькая поправка къ вышеприведенному мѣсту главы XIII-ой III-ей ч., гдѣ говорится только о дѣйствіи на Каренина слезъ ребенка или женщины.

Анны, когда онъ ее увидѣлъ и услышалъ ея быструю, отчетливую бредовую рѣчь,—онъ уже не могъ бороться съ охватившимъ его «душевнымъ разстройствомъ». И вотъ тутъ-то онъ «вдругъ почувствовалъ, что то, что онъ считалъ душевнымъ разстройствомъ, было, напротивъ, блаженное состояніе души, давшее ему вдругъ новое, никогда не испытанное имъ счастье». Теперь уже не было гнета холодно-эгоистическихъ чувствъ, которыя замораживали его душу, они исчезли, и «радостное чувство любви и прощенія къ врагамъ наполняло его душу...»

Такое душевное умиленіе можетъ, конечно, посѣтить всякаго, даже очень черстваго человѣка, при исключительныхъ обстоятельствахъ, при потрясающей обстановкѣ, какъ въ данномъ случаѣ, и по большей части это—минутный подъемъ духа, за которымъ неизбѣжно слѣдуетъ пониженіе, когда ужъ не будетъ исключительной обстановки, и жизнь войдетъ въ обычную норму. Но у Каренина это высокое и рѣдкое просвѣтлѣніе души оказалось гораздо сильнѣе и устойчивѣе. Онъ умилился, пожалѣлъ и простилъ не только въ эту минуту,—онъ дѣйствительно отбросилъ ярмо эгоистическихъ чувствъ и всецѣло отдался во власть состраданія и самоотверженнаго прощенія. И онъ не лгалъ, не преувеличивалъ, когда говорилъ Вронскому:... «Я увидѣлъ ее и простилъ. И счастье прощенія открыло мнѣ мою обязанность. Я простилъ совершенно...»—Вронскій «не понималъ чувствъ Алексѣя Александровича. Но онъ чувствовалъ, что это было что-то высшее и даже недоступное ему въ его міровоззрѣніи».—Итакъ, это не былъ мимолетный порывъ, преходящее слѣдствіе слабости нервовъ, внушеніе той чувствительности Каренина, о которой была рѣчь выше. Радикальное измѣненіе всего настроенія и чувствъ Каренина вытекало изъ основъ его душевной организаціи, въ которой лежали нетронутыми, не упражняемыми, но и не заглушенными сокровища добрыхъ, сострадательныхъ, великодушныхъ чувствъ. Дальнѣйшее, какъ извѣстно, подтверждаетъ этотъ взглядъ. Въ главѣ XIX-ой читаемъ, что Каренинъ «до этого дня свиданія съ умирающею женою не зналъ своего сердца. Онъ у постели больной жены въ первый разъ отдался тому чувству умиленнаго состраданія, которое въ немъ вызывали страданія другихъ людей, и котораго онъ прежде стыдился, какъ вредной слабости; и жалость къ ней, и раскаяніе въ томъ, что онъ желалъ ея смерти, и, главное, самая радость прощенія сдѣлали то, что онъ вдругъ почувствовалъ не только уто-

леніе своихъ страданій, но и душевное спокойствіе, которыхъ онъ никогда прежде не испытывалъ». И далѣе мы узнаемъ, что онъ простилъ и Вронскому, что онъ и его пожалѣлъ, а «къ новорожденной дѣвочкѣ (дочери Вронскаго) онъ испыталъ какое-то особенное чувство—не только жалости, но и нѣжности». Слѣдуетъ (въ той же главѣ XIX-ой) описаніе его заботъ и хлопотъ о малюткѣ.

Читая эти страницы, изображающія душевную перемѣну, происшедшую въ Каренинѣ, мы не можемъ отдѣлаться отъ чего-то такого, что мѣшаетъ намъ прочувствовать ее надлежащимъ образомъ, откликнуться собственными душевными движеніями на душевныя движенія Каренина. Толстой, въ отношеніи другихъ лицъ, зачастую заставляетъ насъ отликаться, какъ напр., въ сценѣ свиданія Анны съ сыномъ или въ сценѣ объясненія Левина и Кити у Облонскихъ. Но здѣсь, въ указанныхъ главахъ (XVII-й, XIX-й и XX-ой IV-й части), мы только присутствуемъ и слушаемъ, что говоритъ намъ авторъ, слѣдимъ съ заинтересованнымъ вниманіемъ за его разсказомъ и анализомъ, но въ это время въ нашей душѣ не обнаруживается достаточно явственнаго отклика и трепетанія созвучныхъ струнъ. А между тѣмъ мы чувствуемъ, что выборъ душевныхъ мотивовъ сдѣланъ весьма удачно, что ихъ психологическая послѣдовательность—отъ ожесточенія къ умиленію и прощенію—глубоко вѣрна. Мало того: намъ нравится то, что новое настроеніе Каренина оказывается не минутнымъ, что оно глубоко захватило его душу. Мы хорошо понимаемъ мысль Толстого, что если это настроеніе и не удержалось потомъ, то въ томъ виноваты сила вещей, вліяніе среды, вмѣшательство постороннихъ лицъ. Это развито въ рядѣ сценъ, съ Анною, княгинею Тверскою, графинею Лидіей Ивановной, Облонскимъ. Все это мы понимаемъ и всему этому сочувствуемъ, но остаемся относительно-холодными и не находимъ въ себѣ непроизвольнаго, внезапнаго душевнаго отклика. Почему это такъ?

Мнѣ кажется, тщетно будемъ мы искать во всѣхъ этихъ мѣстахъ романа, написанныхъ съ обычнымъ мастерствомъ, какого-либо изъяна въ рисункѣ, расхолаживающихъ длиннотъ, недочетовъ въ психологическомъ анализѣ (они были въ предшествующихъ, вышеразсмотрѣнныхъ главахъ). Единственную причину, почему мы остаемся относительно-холодны и безучастны, нужно искать въ общемъ замыслѣ и во всемъ построеніи фигуры Ка-

ренина,—въ томъ, что онъ вышелъ не законченнымъ художественнымъ типомъ, а, въ значительной мѣрѣ, апріорнымъ и искусственнымъ созданіемъ беллетристики. Мы видимъ, какъ Толстой его строитъ, какъ собираетъ его изъ различныхъ чертъ,—и не можемъ заставить себя относиться къ нему, какъ къ живому человѣку. Мы не можемъ отдѣлаться отъ впечатлѣнія, что образъ Каренина—только предлогъ показать всю тщету той жизни и дѣятельности, представителемъ которой онъ является. Того, что̀ называется художественною правдою, въ Каренинѣ весьма немного, гораздо болѣе въ немъ того, что̀ можно назвать беллетристическимъ правдоподобіемъ. Но это правдоподобіе только мѣшаетъ художественной правдѣ быть полной и захватывающей.

V.

Съ большимъ правдоподобіемъ, кромѣ нѣкоторыхъ пунктовъ, построены дальнѣйшіе моменты въ исторіи Каренина.

Это, во-первыхъ, растерянность и упадокъ душевныхъ силъ Каренина, послѣ того какъ онъ убѣдился, что новая жизнь, основанная на прощеніи и самоотверженіи, рушилась подобно прежней. Онъ увидалъ что не можетъ вернуть любовь жены, что Анна по-прежнему тяготится его присутствіемъ, и жизнь въ его домѣ для нея невыносимо-тяжела. Этотъ моментъ описанъ въ началѣ главы XXI-ой V-ой части. Когда, наконецъ, Анна покинула его домъ, онъ, оставшись одинокимъ, «въ первый разъ понялъ ясно свое положеніе и ужаснулся ему» (ib.). То, что̀ происходило въ его душѣ въ это время, указано слѣдующими словами (той же главы): «Онъ не могъ теперь никакъ примирить свое недавнее прощеніе, свое умиленіе, свою любовь къ больной женѣ и чужому ребенку съ тѣмъ, что теперь было, т. е. съ тѣмъ, что, какъ бы въ награду за все это, онъ теперь очутился одинъ, опозоренный, осмѣянный, никому не нужный и всѣми презираемый».

Второй моментъ, это—вліяніе графини Лидіи Ивановны и постепенное обращеніе Каренина къ мистическому ученію, которое раньше онъ не одобрялъ. Это мотивировано полнымъ одиночествомъ Каренина, тѣмъ, что онъ ни въ комъ не находилъ нравственной поддержки. Онъ нашелъ теперь такую поддержку въ искренно-расположенной къ нему и платонически-влюбленной въ него графинѣ, убѣжденной послѣдовательницѣ

великосвѣтской секты, учившей, что обладающій полнотой вѣры не можетъ уже грѣшить и «испытываетъ здѣсь, на землѣ, уже полное спасеніе» (гл. XXII-ая V-ой части). Несмотря на беллетристическое правдоподобіе, съ какимъ все это проведено, намъ всетаки нѣсколько трудно представить себѣ Каренина, какъ мы его до сихъ поръ знали, адептомъ этого мистическаго ученія. Не всякій можетъ даже при обстоятельствахъ, наиболѣе предрасполагающихъ къ тому, сдѣлаться въ одинъ прекрасный день мистикомъ, увѣровать въ мнимое «спасеніе» и въ ясновидѣніе такихъ очевидныхъ шарлатановъ, какъ Landau. Для этого нужно имѣть извѣстныя предрасположенія въ складѣ ума, въ организаціи чувствующей сферы, а такихъ предрасположеній, очевидно, у Каренина вовсе не было. Повидимому, самъ Толстой сознавалъ или чувствовалъ, что, помимо всѣхъ мотивовъ и вліяній, какіе могли направить Каренина въ сторону мистицизма, необходимо указать въ самомъ складѣ его ума такую особенность, которая давала бы дѣлу болѣе прочное психологическое обоснованіе. Оттуда слѣдующее соображеніе, которое нельзя признать удачнымъ: «Алексѣй Александровичъ (а равно и Лидія Ивановна, и другіе мистики)... былъ вовсе лишенъ глубины воображенія, той душевной способности, благодаря которой представленія, вызываемыя воображеніемъ, становятся такъ дѣйствительны, что требуютъ соотвѣтствія съ другими представленіями и съ дѣйствительностью. Онъ не видѣлъ ничего невозможнаго и несообразнаго въ представленіи о томъ, что смерть, существующая для невѣрующихъ, для него не существуетъ, и что, такъ какъ онъ обладаетъ полнѣйшею вѣрою, судьею мѣры которой онъ самъ, то и грѣха уже нѣтъ въ его душѣ, и онъ испытываетъ здѣсь, на землѣ, уже полное спасеніе» (гл. XXII). Недостатокъ, который Толстой называетъ здѣсь отсутствіемъ глубины воображенія, правильнѣе было бы назвать недостаткомъ или непослѣдовательностью логическаго мышленія. Такую непослѣдовательность, вызываемую, напр. воздѣйствіемъ сильнаго чувства на мысль, могутъ проявлять и умы, отличающіеся большою глубиною воображенія, большой яркостью представленій. Но какъ бы мы ни назвали этотъ недостатокъ мышленія,— отсутствіемъ-ли глубины воображенія, или непослѣдовательностью логики,—во всякомъ случаѣ этотъ недостатокъ для даннаго вопроса (о мистицизмѣ Каренина) существеннаго значенія не имѣетъ. Каренинъ, не будучи нисколько предрасположенъ къ мистицизму

по самой натурѣ своей, могъ, хотя бы временно, примкнуть къ мистической сектѣ въ силу той перемѣны, какая должна была произойти, при данныхъ обстоятельствахъ, въ складѣ его религіозности. Алексѣй Александровичъ, съ его положительнымъ и суховатымъ умомъ дѣлового человѣка, до сихъ поръ держался строгой ортодоксальности и смотрѣлъ на религію исключительно съ государственной точки зрѣнія. На это указано въ той же главѣ XXII-ой, и это очень для него типично. Всякія уклоненія отъ догмы, всякія «новыя толкованія» онъ считалъ вредными уже потому, что это «открывало двери спору и анализу». И съ тѣмъ вмѣстѣ, онъ, человѣкъ несомнѣнно религіозный, не вѣдалъ религіи «сердца», религіозности, какъ дѣла совѣсти и какъ вопроса интимныхъ, душевныхъ потребностей человѣка. Онъ и не нуждался въ ней. Но теперь насталъ моментъ, когда въ немъ живо сказалась потребность имѣть такую религію. Въ подобныхъ случаяхъ зачастую наблюдается, что люди, ощутившіе эту потребность, склонны искать удовлетворенія ей не въ тѣхъ формахъ религіозности, въ которыхъ они выросли и съ которыми сроднились, а въ какихъ-нибудь другихъ, какія представляются имъ наиболѣе говорящими ихъ настроенію. Каренинъ, конечно, не могъ бы перейти, напр., въ католицизмъ, но онъ могъ сдѣлать попытку найти религіозное утѣшеніе въ какомъ-нибудь новомъ ученіи, имѣющемъ уже своихъ адептовъ въ высшемъ обществѣ и не считающемся зловреднымъ. И, конечно, всего проще было ему примкнуть къ тому модному ученію, восторженной послѣдовательницею котораго была графиня Лидія Ивановна, единственный человѣкъ, принимавшій участіе въ его горѣ. Но это было бы еще понятнѣе и возможнѣе въ томъ случаѣ, если бы Каренинъ хорошо сознавалъ, что его карьера, какъ государственнаго человѣка, кончена, и ему предстоитъ остаться не у дѣлъ. Въ главѣ XXIV-ой (той же V-ой части) Толстой говоритъ, что «почти въ одно и то же время, когда ушла жена отъ Алексѣя Александровича, съ нимъ случилось и самое горькое для служащаго человѣка событіе—прекращеніе восходящаго служебнаго движенія». Но вмѣстѣ съ тѣмъ, Толстой заставляетъ Каренина не сознавать этого и воображать, что, напротивъ, теперь, болѣе чѣмъ когда-либо, онъ нуженъ и его дѣятельность цѣнится еще болѣе прежняго. Въ дѣйствительности же, какъ говоритъ Толстой, онъ уже «былъ человѣкомъ, который весь вышелъ, и отъ котораго ничего болѣе не ждутъ». Находясь въ

такомъ—странномъ для опытнаго и искушеннаго въ дѣлахъ и служебныхъ отношеніяхъ сановника — заблужденіи, впрочемъ, отчасти объясняемомъ общимъ упадкомъ его душевныхъ силъ, Каренинъ принимается за писаніе многочисленныхъ докладныхъ записокъ «по всѣмъ отраслямъ управленія». Онъ придаетъ этому занятію огромное значеніе, и, если это такъ, то мы ожидали бы, что онъ скорѣе здѣсь, чѣмъ въ мистицизмѣ, найдетъ искомое утѣшеніе и прибѣжище. «Алексѣй Александровичъ (читаемъ въ той же главѣ XXIV-й) не только не замѣчалъ своего безнадежнаго положенія въ служебномъ мірѣ и не только не огорчался имъ, но больше, чѣмъ когда-нибудь, былъ доволенъ своей дѣятельностью». Если примемъ это, то обращеніе Каренина къ мистицизму представится намъ излишнимъ, психологически ненужнымъ. Передъ нами два исхода, изъ которыхъ одинъ, скажемъ, не исключаетъ другого, но дѣлаетъ его ненужнымъ, подрываетъ его значеніе. Мы затрудняемся отдать предпочтеніе одному передъ другимъ: каждый изъ нихъ (принимая въ соображеніе натуру Каренина, насколько мы ее понимаемъ) представляетъ свои неудобства, на которыя мы и указали выше.

Творчество Толстого, какъ это достаточно извѣстно, рѣзко отмѣчено (даже въ сравненіи съ творчествомъ другихъ нашихъ великихъ художниковъ) глубиною и ясностью психологическаго изслѣдованія натуръ и характеровъ. Но въ этомъ отношеніи образъ Каренина представляется исключеніемъ. Онъ вызываетъ сомнѣнія и недоразумѣнія.

Задуманный типъ русскаго государственнаго человѣка не удался Толстому: натура и весь духовный складъ бюрократа настолько чужды Толстому, что онъ не могъ иначе отнестись къ нимъ, какъ сатирически. Но нашъ великій художникъ — по существу своего генія—не сатирикъ,—и изъ Каренина не вышелъ настоящій сатирическій образъ. Этому противорѣчило также и столь характерное для Толстого, какъ художника, стремленіе въ создаваемомъ образѣ найти, пожалѣть и полюбить человѣка. И вотъ онъ открываетъ въ Каренинѣ цѣлое сокровище высокихъ душевныхъ задатковъ и заставляетъ его проявлять чувства столь чистыя, столь самоотверженныя и прекрасныя, къ какимъ, повидимому, неспособно никакое другое лицо романа. И при всемъ томъ и самъ художникъ, и мы, вслѣдъ за нимъ, остаемся холодны къ Каренину. И онъ, и мы только дѣлаемъ безплодныя усилія пожалѣть, полюбить, оцѣнить его.

Искусство ищетъ человѣка. И если въ построеніи Каренина есть элементы художественности, то они заключены здѣсь именно въ этомъ исканіи человѣка въ Карениннѣ. Читая романъ, мы чувствуемъ, что тутъ происходятъ эти поиски, но задача художника не только искать человѣка, но и найти его. Въ образѣ Каренина человѣкъ художественно не найденъ.

ГЛАВА XI.

Душевная драма Левина и переходъ Толстого отъ „наблюдательнаго“ творчества къ „экспериментальному“.

I.

Левинымъ завершается рядъ субъективныхъ въ тѣсномъ смыслѣ, «автобіографическихъ» образовъ, созданныхъ Толстымъ въ теченіе его художественной дѣятельности отъ начала 50-хъ годовъ до половины 70-хъ, отъ «Дѣтства» до послѣднихъ главъ «Анны Карениной».

Въ этихъ главахъ, описывающихъ душевный кризисъ, пережитый Левинымъ, мы имѣемъ родъ авторской исповѣди, въ которой отмѣченъ весьма важный моментъ въ умственной и моральной жизни Толстого. Его послѣдующая дѣятельность выяснила значеніе этого момента, и въ ея свѣтѣ фигура Левина получаетъ особое значеніе, какого иначе она не имѣла бы.

Присмотримся нѣсколько ближе къ этому лицу, какимъ оно является въ послѣднихъ главахъ романа, и постараемся уяснить себѣ характеръ душевнаго кризиса, о которомъ здѣсь идетъ дѣло. Левинъ, какъ извѣстно,—человѣкъ особенный, не подводимый ни подъ какой шаблонъ, — человѣкъ съ оригинальнымъ складомъ ума, ищущій своего пути въ жизни и стремящійся выработать цѣльное, законченное міросозерцаніе, которое давало бы ему отвѣты на такъ-называемые «проклятые вопросы» и въ то же время служило бы ему нравственнымъ руководительствомъ въ жизни.

Левинъ-Толстой принадлежитъ къ числу тѣхъ, довольно-рѣдкихъ натуръ, которыя отмѣчены призваніемъ къ моральному творчеству. Натуры этого рода характеризуются между прочимъ тѣмъ, что для нихъ интересы теоретической мысли отступаютъ на второй планъ, и такъ-называемая «истина», научная и

философская, утрачиваютъ свою самоцѣнность. На первый планъ выдвигается у нихъ «истина» моральная, опредѣленія которой они ищутъ. Они ищутъ также и другого, безъ чего — въ ихъ глазахъ—моральная истина, какъ бы сама по себѣ она ни была высока и ни казалась убѣдительною и самодовлѣющею, не имѣетъ достаточно силы и власти надъ умами и сердцами людей. Это другое — религіозная санкція. Левинъ — натура не только моральная, съ ясно-выраженнымъ стремленіемъ къ моральному творчеству, но и религіозная, испытывающая настоятельную душевную потребность—вѣровать и исповѣдовать.—

Онъ, повидимому, живо интересуется философскими вопросами и хорошо знакомъ съ философскою литературою.—«Для чего онъ цѣлый годъ все читаетъ философіи какія-то?»—думала Кити (часть VIII, гл. VII).—Онъ «перечиталъ и вновь прочелъ и Платона, и Спинозу, и Канта, и Шеллинга, и Гегеля, и Шопенгауера, тѣхъ философовъ, которые не матеріалистически объясняли жизнь» (ч. VIII, гл. IX). Знаетъ онъ и тѣхъ, которые «объясняли жизнь матеріалистически». Знакомы ему также и богословскія сочиненія Хомякова (гл. IX)...Но вся эта эрудиція, столь рѣдкая въ томъ кругу, къ которому принадлежитъ Левинъ, является для него почти ненужнымъ балластомъ,—и онъ даже спѣшитъ выбросить его за бортъ своей душевной жизни... Очевидно, Левинъ, по складу ума, совсѣмъ не «философъ», не мыслитель въ современномъ значеніи этого слова. Но это не значитъ, что онъ не въ силахъ понять Канта или Гегеля. Онъ понимаетъ ихъ, повидимому, съ достаточною ясностью. Онъ только разочаровался въ философіи, какъ и въ наукѣ: ему стало ясно, что на его вопросы философія и наука не дадутъ отвѣтовъ, что это—совсѣмъ не та инстанція, къ которой слѣдуетъ ему обратиться въ его моральныхъ запросахъ и религіозныхъ исканіяхъ...

Съ другой стороны, онъ не принадлежитъ и къ тѣмъ религіознымъ натурамъ, которыя ищутъ знаменій и чудесъ. Онъ также—не мистикъ, а равно нѣтъ въ немъ ничего узко-сектантскаго,—и въ религіозной исторіи человѣчества его интересуетъ не обрядовая сторона, даже не вопросы вѣроисповѣдные, а—то вѣчное, незыблемое, абсолютное, которое онъ усматриваетъ въ самомъ фактѣ—религіозности человѣчества и въ категорическомъ императивѣ совѣсти. Онъ—изъ числа тѣхъ религіозныхъ натуръ, которыя, не ища знаменій и чудесъ, ищутъ абсолютной, всече-

ловѣческой религіозной догмы, какъ аксіомы, не нуждающейся ни въ какомъ оправданіи, стоящей неизмѣримо выше всякой философіи, всякой науки. Поэтому, ему антипатиченъ недогматическій характеръ науки, ему, такъ сказать, не по нраву относительность и ограниченность научнаго знанія и разноголосица философскихъ системъ. Онъ, кажется, угадалъ и то, что сама философія давно уже идетъ въ направленіи критицизма и—вслѣдъ за Кантомъ—вступаетъ въ новую эпоху—философской критики и психологическаго изслѣдованія своего собственнаго орудія—разума человѣческаго. Великій гносеологическій вопросъ «что̀ есть истина?», ничего общаго не имѣющій съ циническимъ вопросомъ Пилата, повидимому, противенъ Левину почти въ той же мѣрѣ, какъ и этотъ послѣдній вопросъ. Левинъ не спрашиваетъ: что есть истина, какъ результатъ познавательной дѣятельности разума? Онъ знаетъ, что эта «истина» относительна и является только продуктомъ работы того же разума, показателемъ достигнутыхъ имъ успѣховъ, симптомомъ даннаго состоянія познавательныхъ силъ мысли человѣческой. Левина не интересуетъ и не привлекаетъ картина многовѣковой дѣятельности разума, плетущаго паутину своей мысли, и ему кажется, что разумъ давно уже запутался въ этой паутинѣ. И онъ ставитъ вопросъ иначе: что̀ гласитъ истина? Ему представляется несомнѣннымъ, что какая-то высшая истина существуетъ объективно,—и вотъ только нужно узнать, что̀ именно гласитъ она. Вопросъ и его постановка—совсѣмъ не научныя и даже—при современномъ состояніи мысли—не философскія. Это не вопросъ теоретическаго знанія, это вопросъ (употребляя терминъ Канта) «практическаго разума» или (употребляя выраженіе Левина)—вопросъ «жизни».

И, по своему, Левинъ правъ: вѣдь мораль въ ея statu quo и ея творчествѣ, а равно и поиски религіозной санкціи, это—вопросъ и дѣло жизни, а не «чистаго разума».—Только напрасно Левинъ такъ легко и пренебрежительно относится къ «чистому разуму», который, правда, на «проклятые вопросы» не отвѣчаетъ, но всетаки даетъ нѣкоторыя указанія, какъ слѣдовало бы ставить ихъ, при какой постановкѣ, при какомъ освѣщеніи они могли бы занять свое мѣсто въ ряду великихъ проблеммъ эпохи, столь важнымъ отличіемъ которой служатъ подвиги научной мысли, успѣхи техники, разитіе философской критики.

II.

Левинъ ищетъ откровеній абсолютной истины и требуетъ прямыхъ отвѣтовъ на «проклятые вопросы», въ ряду которыхъ важнѣе всѣхъ другихъ представляется ему вопросъ о жизни и смерти. Это для него основной вопросъ, въ которомъ скрыты корни моральнаго и религіознаго сознанія.—Года два или три послѣ окончанія «Анны Карениной» Толстой въ наброскѣ «Первыя воспоминанія» (1878 г., «изъ неизданныхъ автобіографическихъ замѣтокъ») указываетъ на скудость того, что̀ сохранилось въ его памяти отъ первыхъ лѣтъ его жизни. Описавъ два «впечатлѣнія», онъ говоритъ: «Странно [1]) и страшно [1]) подумать, что отъ рожденія моего и до трехъ лѣтъ, въ то время, когда я кормился грудью, когда меня отняли отъ груди, когда я сталъ ползать, ходить, говорить, сколько бы я ни искалъ въ своей памяти, я не могу найти ни однихъ впечатлѣній, кромѣ этихъ двухъ. Когда же я начался? Когда я началъ жить [1])? И почему мнѣ радостно представлять себя тогда, а бывало страшно, какъ и теперь страшно многимъ, представлять себя тогда, когда я опять вступлю въ то состояніе смерти, отъ котораго не будетъ воспоминаній, выразимыхъ словами? [1]) Развѣ я не жилъ тогда, когда учился смотрѣть, слушать, понимать, говорить, когда спалъ, сосалъ грудь и цѣловалъ грудь и смѣялся и радовалъ мою мать? Я жилъ и блаженно жилъ. Развѣ не тогда я пріобрѣталъ все то, чѣмъ я теперь живу, и пріобрѣталъ такъ много, такъ быстро, что во всю остальную жизнь я не пріобрѣлъ и одной сотой того? Отъ пятилѣтняго ребенка до меня только шагъ. Отъ новорожденнаго до пятилѣтняго страшное разстояніе. Отъ зародыша до новорожденнаго—пучина.. А отъ несуществованія до зародыша отдѣляетъ уже не пучина, а непостижимость. Мало того, что пространство, и время, и причина суть формы мышленія, и что сущность жизни внѣ этихъ формъ, но вся жизнь наша есть большее и большее подчиненіе себя этимъ формамъ и потомъ опять освобожденіе отъ нихъ.» [2]) («Сочиненія

---

[1]) Курсивъ мой.

графа Л. Н. Толстого». Москва. 1895 г. Дополненіе къ XII части, стр. 4—5.)—Эти строки въ высокой степени любопытны: въ нихъ ярко отразилась столь характерная для натуръ религіозныхъ и моральныхъ духовная жажда—познать тайну жизни и тайну смерти. Этою жаждою и былъ томимъ Левинъ-Толстой въ разсматриваемый періодъ, и здѣсь, въ маломъ масштабѣ, повторилось то, что въ огромномъ всемірно-историческомъ масштабѣ обнаруживается во всей религіозной жизни и моральной страдѣ человѣчества: мораль, дѣло жизни по преимуществу, именно жизни соціальной и человѣческой, приводила къ метафизической «тайнѣ жизни» и на этомъ пути встрѣчалась съ религіей, которая, въ качествѣ ученія о «тайнѣ смерти», должна была давать верховную санкцію моральному дѣлу жизни... Переживая это и упрочиваясь на этой точкѣ духовнаго зрѣнія, Левинъ-Толстой является человѣкомъ прошлаго, хотя, можетъ быть, очень и очень передовымъ, но не человѣкомъ будущаго, не піонеромъ той грядущей морали, которую провидѣлъ геніальный Гюйо, когда развивалъ свою глубокую мысль о «морали безъ санкціи и обязательности» (morale sans sanction ni obligation),..

Ища санкціи, Левинъ переживалъ мучительную душевную драму. Въ главѣ VIII-ой мы узнаемъ, что «онъ ужаснулся не столько смерти, сколько жизни безъ малѣйшаго знанія о томъ, откуда, для чего, зачѣмъ и что онъ такое [1])...»—Не возражайте ему, что вѣдь это вопросы біологіи, психологіи, этики, наконецъ исторіи и соціологіи. Онъ отвѣтитъ вамъ, что въ этихъ наукахъ и ихъ философіи это вопросы мысли, а не жизни.—Разумъ изслѣдуетъ и терпѣливо ждетъ результатовъ изслѣдованій, не предрѣшая отвѣтовъ на поставленные вопросы, и охотно пріемлетъ какой-угодно отвѣтъ, хотя бы отрицательный и безотрадный, лишь бы онъ былъ научно доказанъ и философски обоснованъ. «Жизнь» не ждетъ и требуетъ отвѣта сейчасъ, и при томъ—отвѣта благопріятнаго, утѣшительнаго. Въ противномъ случаѣ, т. е. когда отвѣта нѣтъ, или онъ безотраденъ, «жизнь» впадаетъ въ уныніе и омрачается призракомъ смерти.—Вотъ послушаемъ дальше, что говоритъ Толстой о Левинѣ: «Организмъ, разрушеніе его, неистребимость матеріи, законъ сохраненія силы, развитіе—были тѣ слова, которыя за-

---

[1]) Курсивъ мой.

мѣнили ему прежнюю вѣру. Слова эти и связанныя съ ними понятія были очень хороши для умственныхъ цѣлей; но для жизни они ничего не давали [1]), и Левинъ вдругъ почувствовалъ себя въ положеніи человѣка, который промѣнялъ бы теплую шубу на кисейную одежду и который въ первый разъ на морозѣ несомнѣнно, не разсужденіями, а всѣмъ существомъ своимъ убѣдился бы, что онъ все равно что голый, и что онъ неминуемо долженъ мучительно погибнуть». (Ч. VIII, гл. VIII).—Мало того: онъ уже склоненъ отрицать свои прежнія «убѣжденія»—какъ нѣчто такое, что не только не даетъ истиннаго знанія, но и мѣшаетъ добиваться его. «Онъ смутно чувствовалъ, что то, что онъ называлъ своими убѣжденіями, было не только незнаніе, но что это былъ такой складъ мысли, при которомъ невозможно было знаніе того, что ему нужно было» [1]) (гл. VIII).—

И ему нѣтъ другого выхода, какъ отказаться отъ этого «склада мысли» и искать другого источника «знанія». Первое дается ему легко, потому-что такъ называемое «научное міросозерцаніе», несмотря на большую начитанность и незаурядную вдумчивость, не имѣло прочныхъ корней въ его умѣ, частью въ силу природныхъ свойствъ его ума, частью по недостатку раціональной научно-философской культуры мысли. Такъ или иначе, но научное міросозерцаніе не отвѣчало требованіямъ его мысли и было безсильно успокоить тревогу его совѣсти.—Гораздо труднѣе было другое: найти иной источникъ «знанія», которымъ могла быть только религія. Наука и философія не дали ему искомыхъ отвѣтовъ, но они нарушили непосредственность и наивность религіознаго чувства. Вернуться къ религіозности, вновь увѣровать, добиться той непоколебимой убѣжденности, какая свойственна натурамъ непосредственнымъ,—это задача, тѣмъ болѣе трудная для Левина, что онъ, по складу ума и по натурѣ, совсѣмъ не мистикъ, какъ и Толстой. Онъ—натура религіозная, но не мистическая, и ему приходится добиваться вѣры труднымъ путемъ сомнѣній, исканій, размышленія, изученія. Онъ это и дѣлаетъ,—и Толстой довольно обстоятельно описываетъ намъ весь этотъ процессъ и всю его мучительность. «Онъ (Левинъ) былъ въ мучительномъ разладѣ съ самимъ собою и напрягалъ всѣ душевныя силы, чтобы выйти изъ него» (гл. VIII).—

---

[1]) Курсивъ мой.

Разочаровавшись въ философіи, а потомъ и въ богословской системѣ Хомякова, онъ «былъ не свой человѣкъ и пережилъ ужасныя минуты» (гл. IX). Въ такія минуты жизнь казалась ему ничтожною, даже—зломъ, которое можетъ быть устранено только—смертью.—«Безъ знанія того, что я такое и зачѣмъ я здѣсь,—нельзя жить. А знать я этого не могу, слѣдовательно нельзя жить, говорилъ себѣ Левинъ» (гл. IX). Онъ былъ близокъ къ отчаянію и даже къ самоубійству (IX).—

Можно пожалѣть, что Толстой не далъ себѣ труда художественно воспроизвести эту душевную драму Левина. Онъ только говоритъ о ней, излагаетъ ходъ мыслей Левина, указываетъ на угнетенное и тревожное состояніе его духа,—и мы читаемъ соотвѣтственныя страницы безъ того захватывающаго интереса, который обычно вызывается въ насъ художественнымъ мастерствомъ и психологическимъ анализомъ Толстого. Мы остаемся холодны и равнодушны ко всѣмъ мученіямъ и исканіямъ Левина. Его душевная—религіозная—драма привлекаетъ къ себѣ наше вниманіе только какъ отзвукъ той, которую пережилъ самъ Толстой на поворотѣ своей дѣятельности. Съ этой стороны, и только съ этой, получаетъ интересъ то, что разсказано въ главахъ X-ой и XI-ой. Здѣсь Левинъ находитъ наконецъ выходъ изъ душевнаго кризиса. Его осѣнила такая мысль: я—невѣрующій, но живу и поступаю такъ, какъ будто я—вѣрующій, во мнѣ говоритъ и направляетъ мою волю какой-то внутренній голосъ, безошибочно опредѣляющій, что хорошо и что дурно. Наблюденія надъ другими показываютъ, что и у нихъ есть тотъже «императивъ», и что выведенный наукою законъ борьбы за существованіе вовсе не такъ всемогущъ, какъ кажется,—сплошь и рядомъ человѣкъ подчиняется не ему, а инымъ побужденіямъ или велѣніямъ, которыхъ наука объяснить не можетъ. Итакъ, повидимому, въ человѣкѣ есть (человѣку имманентно, говоря философскимъ языкомъ) то самое, что Левинъ добивается постичь разумомъ.—«Когда Левинъ думалъ о томъ, что онъ такое, и для чего онъ живетъ, онъ не находилъ отвѣта и приходилъ въ отчаяніе; но когда онъ переставалъ спрашивать себя объ этомъ, онъ какъ-будто зналъ,—и что онъ такое, и для чего онъ живетъ, потому-что твердо и опредѣленно дѣйствовалъ и жилъ [1])...» (гл. X). Это иллюстрируется

---

[1]) Курсивъ мой.

рядомъ, какъ мнѣ кажется, неубѣдительныхъ примѣровъ въ родѣ напр. слѣдующихъ: «Онъ зналъ, что нанимать рабочихъ надо было какъ можно дешевле; но брать въ кабалу ихъ, давая впередъ деньги, дешевле, чѣмъ они стоятъ, не надо было, хотя это и было очень выгодно. Продавать въ безкормицу мужикамъ солому можно было, хотя и жалко было ихъ; но постоялый дворъ и питейный, хотя они и доставляли доходъ, надо было уничтожить... Петру, платившему ростовщику 10 процентовъ въ мѣсяцъ, нужно было дать взаймы, чтобы выкупить его; но нельзя было спустить и отсрочить оброкъ мужикамъ неплательщикамъ...» и т. д.

Изъ такихъ примѣровъ выводится не то, что изъ нихъ слѣдуетъ. Слѣдуетъ же изъ нихъ только то, что Левинъ—хорошій человѣкъ и отличный хозяинъ, что онъ свои выгоды соблюдаетъ, но не прижимистъ, не кулакъ, не эксплуататоръ... Но Левинъ выводитъ гораздо больше: «Разсужденія приводили его въ сомнѣнія и мѣшали ему видѣть, что должно и что не должно. Когда же онъ не думалъ, а жилъ, онъ не переставая чувствовалъ въ душѣ своей присутствіе непогрѣшимаго судьи, рѣшавшаго, который изъ двухъ возможныхъ поступковъ лучше и который хуже; и, какъ-только онъ поступалъ не такъ, какъ надо, онъ тотчасъ же чувствовалъ это» (X).

И вотъ когда онъ однажды услышалъ аналогичное сужденіе мужика Ѳедора,—сомнѣнія разсѣялись окончательно. Этотъ Ѳедоръ говоритъ объ одномъ мужикѣ, что онъ—«правдивый старикъ,—для души живетъ,—Бога помнитъ» (въ то время какъ другой «только для нужды своей живетъ, только брюхо набиваетъ»).—«Какъ Бога помнитъ? Какъ для души живетъ?—почти вскрикнулъ Левинъ.—Извѣстно, какъ, по правдѣ, по Божью. Вѣдь люди разные. Вотъ хоть васъ взять, тоже не обидите человѣка...»—Эти простыя слова имѣли для Левина рѣшающее значеніе. «Да, да, прощай!—проговорилъ онъ, задыхаясь отъ волненія... При словахъ мужика о томъ, что Ѳоканычъ живетъ для души, по правдѣ, по Божью, неясныя, но значительныя мысли толпою какъ-будто вырвались откуда-то изъ-заперти и, всѣ стремясь къ одной цѣли, закружились въ его головѣ, ослѣпляя его своимъ свѣтомъ» (гл. XI).—

Въ слѣдующей главѣ XII-ой разсказано, какія это были мысли, и какою логическою цѣпью привели онѣ Левина къ выходу изъ душевнаго кризиса.—«Слова, сказанныя мужикомъ,

произвели въ его душѣ дѣйствіе электрической искры, вдругъ преобразившей и сплотившей въ одно цѣлый рой разрозненныхъ, безсильныхъ отдѣльныхъ мыслей, никогда не перестававшихъ занимать его...»—

Дѣйствіе этой «электрической искры» выразилось ярче всего въ слѣдующемъ: «Ѳедоръ говоритъ, что Кирилловъ—дворникъ живетъ для брюха. Это понятно и разумно. Мы всѣ, какъ разумныя существа, не можемъ иначе жить, какъ для брюха. И вдругъ тотъ-же Ѳедоръ говоритъ, что для брюха жить дурно, а надо жить для правды, для Бога, и я съ намека понимаю его!..»

Это разсужденіе поражаетъ своей несостоятельностью... Мы здѣсь не полемизируемъ съ Левинымъ, но всетаки позволимъ себѣ указать на слѣдующее. Законъ борьбы за существованіе выведенъ разумомъ, научною дѣятельностью мысли, но самый фактъ этой борьбы—не продуктъ разума и всего менѣе можетъ быть назвать «разумнымъ», какъ и животный эгоизмъ. Это явленія именно «неразумныя», ирраціональныя и, несомнѣнно, предшествовали появленію на земномъ шарѣ самыхъ раннихъ проблесковъ разума человѣческаго. Этическія нормы, издревле ограничивавшія или смягчавшія борьбу за существованіе и различныя проявленія животнаго эгоизма, возникли также изъ ирраціональныхъ началъ (между прочимъ, изъ явленій симбіоза), но развивались при несомнѣнномъ участьи разума... Но вернемся къ Левину.

«Я ничего не открылъ»—размышляетъ онъ—«я только узналъ то, что я знаю. Я понялъ ту силу, которая не въ одномъ прошедшемъ—дала мнѣ жизнь, но теперь даетъ мнѣ жизнь. Я освободился отъ обмана, я узналъ хозяина» (гл. XII).

Радостное чувство наполнило его душу, и, предаваясь ему, продолжая размышлять на ту же тему, онъ «логически» приходитъ къ выводу, гласящему такъ: «Разумъ открылъ борьбу за существованіе, и законъ, требующій того, чтобы душить всѣхъ, мѣшающихъ удовлетворенію моихъ желаній. Это выводъ разума. А любить другого не могъ открыть разумъ, потому что это не разумно»...

Дальнѣйшій ходъ разсужденія приводитъ его, въ главѣ XIII-ой, къ заключенію: «да, то, что я знаю, я знаю не разумомъ, а это дано мнѣ, открыто мнѣ, и я знаю это сердцемъ, вѣрою въ то главное, что исповѣдуетъ церковь».

Такъ Левинъ, натура религіозная по самому укладу своему, освободился, наконецъ, отъ тяготившихъ его путъ невѣрія или

религіознаго индифферентизма и достигъ того душевнаго подъема, на которомъ для него стало возможнымъ моральное самоопредѣленіе и моральное творчество. Въ религіи нашелъ онъ искомую санкцію.

Кризисъ окончился. Несказанная радость, которую я назвалъ бы мистическою, еслибы въ Левинѣ замѣчались хоть малѣйшіе слѣды мистицизма, охватила и потрясла его.—«Неужели это вѣра?—подумалъ онъ, боясь вѣрить своему счастью. Боже мой, благодарю Тебя!—проговорилъ онъ, проглатывая поднимавшіяся рыданія и вытирая обѣими руками слезы, которыми полны были его глаза» (гл. XIII).

Передъ нимъ открылся новый путь... Куда прійдетъ онъ на этомъ пути?

III.

Мы изучаемъ въ этой книгѣ Толстого только какъ художника. Поэтому, поставленный нами вопросъ, въ примѣненіи къ Толстому, долженъ быть формулированъ такъ: какъ преобразовалось художественное творчество Толстого на томъ новомъ пути моральнаго творчества и религіозныхъ исканій, на который онъ выступилъ въ второй половинѣ 70-хъ годовъ?

Нашъ отвѣтъ гласитъ: его художественное творчество преобразовалось изъ «наблюдательнаго» въ «экспериментальное» [1]).

До тѣхъ поръ Толстой былъ по преимуществу художникъ—наблюдатель. Примѣсь того, что я называю «экспе-

---

[1]) Эти два понятія (творчество наблюдательное и творчество экспериментальное) я старался установить въ статьѣ о Чеховѣ («Вопросы психологіи творчества»), въ книжкѣ о Гоголѣ и въ статьѣ о наблюдательномъ и экспериментальномъ методѣ въ искусствѣ («Вѣстн. воспитанія», 1903 г.).—Недавно А. Г. Горнфельдъ (въ статьѣ «Экспериментальное искусство», «Русс. богатство» 1904, № 7) подвергъ мою теорію обстоятельной критикѣ и пришелъ къ отрицательному выводу, въ силу котораго предложенное мною понятіе «эксперимента» въ искусствѣ представляется несостоятельнымъ. Сходясь съ А. Г. Горнфельдомъ почти по всѣмъ важнѣйшимъ вопросамъ искусства, я однако на этотъ разъ принципіально расхожусь съ моимъ глубокоуважаемымъ и даровитымъ оппонентомъ. Предложенное имъ понятіе «стилизаціи» я считаю непригоднымъ и упорствую на своемъ понятіи «эксперимента». Возраженіе на статью А. Г. Горнфельда я надѣюсь представить вскорѣ вниманію читателей, интересующихся вопросами теоріи искусства.

риментомъ» въ искусствѣ, была сведена у него къ почти ничтожному минимуму. Большинство созданныхъ имъ характеровъ, типовъ, картинъ рисуетъ жизнь въ ея разнообразіи, въ ея разносторонности, ея полнотѣ. Мы не видимъ здѣсь того нарочитаго подбора извѣстныхъ чертъ и того особаго освѣщенія, въ силу которыхъ получается одностороннее, рѣзкое, неполное воспроизведеніе жизни, усиливающее ея краски, выдѣляющее то, что въ дѣйствительности не выдѣляется или же выдѣляется лишь въ рѣдкихъ случаяхъ.

Главныя орудія эксперимента въ искуствѣ это—юморъ, смѣхъ, сарказмъ, слезы, скорбь, мучительное реагированіе на пошлую сторону жизни, негодованіе. Излишне доказывать, какъ мало всего этого было у Толстого въ первую половину его дѣятельности. Ни въ «Дѣтствѣ», «Отрочествѣ», «Юности» и другихъ раннихъ повѣстяхъ, ни въ великой эпопеѣ «Войны и Мира» нѣтъ ни скорби, ни смѣха, ни негодованія; юморъ и сарказмъ, пожалуй, найдутся кое-гдѣ, но лишь въ незначительныхъ дозахъ; во всякомъ случаѣ они настолько слабы, что не могли преобразовать наблюдательное отношеніе къ дѣйствительности въ экспериментальное. Въ «Аннѣ Карениной» уже больше и юмора (напр. въ изображеніи Облонскаго) и, пожалуй, сарказма (въ изображеніи Каренина, а также въ нѣкоторыхъ, такъ сказать, «выходкахъ» Левина). При всемъ томъ «Анна Каренина» остается произведеніемъ наблюдательнымъ, но можно сказать, что оно, нѣкоторыми сторонами своими, намѣчаетъ переходъ Толстого отъ творчества наблюдательнаго къ экспериментальному.

Но если Толстой такъ долго былъ почти исключительно художникомъ—наблюдателемъ, то это еще не значитъ, что въ его умѣ и дарованіи не было никакихъ задатковъ для творчества экспериментальнаго. Эти задатки, несомнѣнно, были у него, но, такъ сказать, находились въ потенціальномъ состояніи. Это была сила связанная. Ее освободили моральныя и религіозныя стремленія Толстого.

Да припомнитъ читатель то, что было сказано въ первой главѣ этой книги: въ противуположность Тургеневу, Толстой никогда не былъ спокойнымъ созерцателемъ жизни, безстрастнымъ наблюдателемъ людей и вещей,—это былъ всегда умъ ищущій и мятущійся... Эта сторона его ума и натуры уже сказалась въ раннихъ повѣстяхъ (въ особенности въ «Юности» и въ «Казакахъ»), что въ своемъ мѣстѣ мы и отмѣтили,—по-

томъ въ «Войнѣ и Мирѣ»—частью исканіями Пьера Безухова, а еще болѣе—созданіемъ оригинальной философіи исторіи и извѣстнаго воззрѣнія на войны и событія Наполеоновской эпохи, наконецъ—въ «Аннѣ Карениной»—фигурою Левина и общимъ моральнымъ (даже морализирующимъ) направленіемъ романа. Въ теченіе всей этой эпохи, отъ начала 50-хъ годовъ до половины 70-хъ, мы наблюдаемъ у Толстого крайне любопытное сочетаніе внутренней тревоги съ художническимъ—истинно—эпическимъ—спокойствіемъ. Для психолога здѣсь открывается заманчивая проблемма, изучать которую теперь мы не беремся. Я ограничиваюсь указаніемъ на фактъ: какъ натура, умъ и моральная личность, Толстой никогда не былъ безстрастнымъ наблюдателемъ людей и вещей, спокойнымъ созерцателемъ жизни; но какъ художникъ, онъ отличается необыкновенною уравновѣшенностью и почти всегда находитъ для своихъ тревожныхъ наблюденій и страстныхъ исканій эпически—спокойную форму художественнаго выраженія. И въ своихъ, какъ субъективныхъ, такъ и объективныхъ образахъ и картинахъ онъ остается художникомъ—наблюдателемъ (а не экспериментаторомъ) въ теченіе всей первой половины своей литературной дѣятельности,—пока, наконецъ, великая тревога его души не приняла такихъ размѣровъ и формъ, которые уже не мирились съ пріемами наблюдательнаго искусства и требовали иныхъ.

Переживъ кризисъ возвращенія отъ невѣрія къ вѣрѣ, описанный въ послѣднихъ главахъ «Анны Карениной», Толстой не могъ, конечно, на этомъ остановиться и успокоиться. Онъ продолжаетъ напряженно искать, размышлять, изучать,—обращается даже къ первоисточникамъ (еврейскій текстъ Библіи, греческій—Евангелія), знакомится съ религіозными ученіями востока (буддизмъ и др.) и наконецъ вырабатываетъ свое собственное вѣроученіе и свою догму морали.

Отнынѣ онъ—уже не только художникъ и моралистъ, онъ также—проповѣдникъ, обращающійся «съ горячимъ словомъ убѣжденья» ко всему человѣчеству и глубоко вѣрящій въ настоятельность и спасительность своей проповѣди, своего ученія о любви къ ближнему, о воздержаніи, о непротивленіи злу и т. д. Онъ выступаетъ сперва съ исповѣдью, кается въ своихъ «грѣхахъ», осуждаетъ свою прежнюю жизнь и дѣятельность, потомъ пишетъ рядъ трактатовъ и статей на религіозныя и мо-

ральныя темы и вмѣстѣ съ тѣмъ вновь обращается къ художественному творчеству, которое теперь не будетъ, да и не можетъ быть наблюдательнымъ. Съ психологическою необходимостью оно станетъ экспериментальнымъ: явленія жизни будутъ даны здѣсь въ особомъ освѣщеніи, какое нужно для того, чтобы художественное произведеніе стало проповѣдью новыхъ идей Толстого.

И на этотъ разъ мы опять стоимъ передъ психологическою проблеммою, аналогичною той, на которую мы указали выше. Но только тамъ тревога исканій сочеталась съ художническимъ спокойствіемъ изображенія, а здѣсь, наоборотъ, спокойствіе и ясность духа, достигнутыя Толстымъ, когда онъ рѣшилъ для себя всѣ волновавшіе его вопросы религіознаго и нравственнаго порядка, сочетаются съ порывистою и страстною манерою художественнаго письма. Въ «Смерти Ивана Ильича», въ «Крейцеровой сонатѣ» нѣтъ уже былой уравновѣшенности эпически—спокойнаго художника, нѣтъ прежней обстоятельности изображенія и полноты психологическаго анализа. Толстой здѣсь уже не Гомеръ и Шекспиръ, онъ—обличитель, аскетъ, проповѣдникъ, и страстнымъ призывомъ, гнѣвомъ, сарказмомъ, негодованіемъ, презрѣніемъ, ужасомъ передъ бездною зла и нравственной тьмы полны эти яркіе, эти сильные, потрясающіе «эксперименты», озаглавленные «Власть тьмы», «Смерть Ивана Ильича», «Крейцерова Соната», «Воскресеніе».

Здѣсь проповѣдникъ евангельской любви является художникомъ весьма далекимъ отъ снисхожденія къ человѣческимъ слабостямъ. Онъ нетерпимъ, неумолимъ, безпощаденъ. Онъ изрекаетъ грозный, безжалостный приговоръ всей цивилизаціи со всѣми ея неправдами, всей нашей бѣдной, грѣховной природѣ человѣческой, всей нашей жизни съ ея условностями, пустотой и пустяками.

Самыя, если позволено такъ выразиться, «свирѣпыя» произведенія Толстого въ этомъ родѣ - это, конечно, «Смерть Ивана Ильича» и «Крейцерова Соната». Ими ярко отмѣченъ аскетическій фазисъ въ развитіи морали Толстого и въ его художественныхъ опытахъ, руководимыхъ догмою этой морали. Послѣ «Крейцеровой Сонаты», около половины 90-хъ годовъ, замѣчается нѣкоторое смягченіе суроваго аскетизма, проповѣдуемаго Толстымъ, и занимавшія тогда Толстого идеи «непротивленія» и «недѣланія», какъ будто, приводили къ нѣкоторой умѣренности

отрицанія, къ нѣкоторой терпимости. Разсказъ «Хозяинъ и работникъ» былъ выраженіемъ этого настроенія художника-моралиста. Вскорѣ послѣ того «моральное» отрицаніе Толстого получаетъ нѣсколько иную, болѣе раціональную постановку, что и отразилось въ «Воскресеніи», гдѣ въ то же время подведены итоги той (выражаясь современнымъ терминомъ) «переоцѣнкѣ всѣхъ цѣнностей», которую предпринялъ Толстой послѣ «Анны Карениной».

ГЛАВА XII.

Краткій обзоръ важнѣйшихъ художественныхъ экспериментовъ Толстого.

I.

Минуя нравоучительныя сказки и легенды («Чѣмъ люди живы», «Гдѣ любовь, тамъ и Богъ» и др.), имѣющія несомнѣнную художественную цѣнность, но все-таки занимающія въ творчествѣ Толстого второстепенное мѣсто, обратимся къ разсмотрѣнію важнѣйшихъ его произведеній, въ которыхъ мы съ поразительною ясностью видимъ, какъ окрасилась и какъ омрачилась картина жизни человѣческой, — лишь только художникъ подошелъ къ ней съ мѣриломъ евангельскаго идеала и суровымъ критеріемъ аскетической морали.

Начнемъ съ «Власти тьмы». Не лишено значенія то, что сюжетъ драмы взятъ изъ народной жизни, а также и то, что онъ представляетъ собою, такъ сказать, случай изъ уголовной хроники. Какъ извѣстно, новая религіозно-нравственная точка зрѣнія, съ которой Толстой сталъ смотрѣть на Божій міръ, была установлена имъ не только путемъ книжнымъ, т. е. изученіемъ Евангелія, буддизма и т. д., но и путемъ живого общенія съ народомъ, близкаго ознакомленія съ крестьянскимъ міровоззрѣніемъ вообще, сектантскимъ въ частности. Мужикъ, т. е. крестьянинъ-земледѣлецъ, всегда представлялся Толстому какъ-бы прирожденнымъ носителемъ «истины», если и не чисто-евангельской, то близкой къ ней. Вспомнимъ Каратаева. «Обращенію» Левина, какъ мы знаемъ, былъ данъ рѣшительный толчекъ простодушными словами мужика Ѳедора. Кромѣ того, какъ оказывается, для Левина имѣетъ огромное значеніе тотъ фактъ, что «вѣритъ» «девяносто девять сотыхъ русскаго народа,—весь тотъ народъ, жизнь котораго внушала ему наибольшее уваженіе...» («Анна

Каренина», ч. VIII, гл. VIII).—Этотъ какъ бы «культъ» народа, народнаго духа и это давнишнее уваженіе, которое внушала Толстому жизнь земледѣльческаго класса, вполнѣ гармонировали съ давнишнимъ отрицательнымъ отношеніемъ Толстого къ городской цивилизаціи, къ искусственной, праздной и ненормальной жизни образованнаго общества.—Съ этой стороны Толстой, какъ художникъ и моралистъ, является своеобразнымъ «народникомъ».

При всемъ томъ онъ всегда былъ далекъ отъ идеализаціи народа и народной жизни. Послѣдовательный реалистъ въ искусствѣ, онъ изображаетъ народные типы и складъ крестьянской жизни такъ, какими они являются въ дѣйствительности. Если его «культъ» крестьянства, какъ земледѣльческаго класса, представляется намъ разновидностью «общественнаго романтизма», то въ его художественныхъ произведеніяхъ изъ народной жизни мы не найдемъ ничего романтическаго, какъ равно и—сентиментальнаго.

Когда онъ перешелъ отъ наблюденія къ эксперименту, это противорѣчіе должно было значительно усилиться. Толстой—проповѣдникъ и моралистъ еще больше возненавидѣлъ городскую жизнь и «ложную» цивилизацію и тѣмъ рѣзче сталъ выставлять на видъ «здоровыя» основы деревенской, крестьянской жизни. Его «общественный романтизмъ» получилъ теперь вполнѣ категорическую форму и опору въ тѣхъ религіозныхъ понятіяхъ, которыя у него сложились въ это время. Но вмѣстѣ съ тѣмъ трезвое, реалистическое, чуждое идеализаціи отношеніе къ мужику и крестьянской жизни обнаружилось въ его художественныхъ экспериментахъ еще отчетливѣе, чѣмъ въ его художественныхъ наблюденіяхъ. Моралистъ-проповѣдникъ, отдающій рѣшительное предпочтеніе деревнѣ передъ городомъ, мужику передъ такъ-называемымъ образованнымъ обществомъ, тѣмъ строже относится къ этому самому мужику, когда видитъ, что онъ тянетъ къ городу и усваиваетъ привычки и пороки «правящихъ классовъ». Но помимо этой «порчи» народная жизнь сама по себѣ, въ ея исконныхъ формахъ, представится въ чертахъ крайне-отрицательныхъ, если мы подойдемъ къ ней съ критеріемъ евангельской любви и аскетической морали. Это и есть точка зрѣнія Толстого,—на этомъ и построенъ весь «опытъ». И въ результатѣ получается картина власти тьмы,—тьмы не въ смыслѣ отсутствія просвѣщенія, школы, книги, а въ смыслѣ моральномъ:

это картина жестокихъ нравовъ, душевнаго извращенія, нравственнаго уродства. Любопытно, что настоящими нравственными уродами, напоминающими Ломброзовскаго «прирожденнаго преступника», являются въ пьесѣ женщины, именно Матрена, Анисья и Акулина. Мущины несравненно выше ихъ въ нравственномъ отношеніи. Не говоря уже объ Акимѣ, представителѣ стародавней крестьянской морали, близкой, по мысли Толстого, къ морали евангельской, — ни Петръ, ни пьяница Митричъ, ни самъ Никита не могутъ быть названы натурами нравственно-извращенными. Никита совершаетъ безнравственныя и преступныя дѣянія, но, какъ извѣстно, онъ грѣшитъ и падаетъ подъ вліяніемъ страстей и по слабости характера, а вовсе не потому, чтобы у него не было нравственныхъ чувствъ и совѣсти. Его, не обинуясь, можно назвать натурой нравственною, но только—изъ числа тѣхъ, у которыхъ слаба задерживающая воля, а аппарать совѣсти устроенъ такъ, что ея голосъ становится внятнымъ человѣку не тогда, когда впервые является соблазнъ, но тогда, когда человѣкъ уже соблазнился и нравственно палъ. Тѣмъ ужаснѣе у такихъ натуръ муки совѣсти, и тѣмъ неизбѣжнѣе для нихъ либо самоубійство, либо покаяніе и жажда кары и искупленія грѣха. Никита — яркій представитель этого психологическаго типа—кающагося грѣшника, истерзаннаго запоздалыми муками совѣсти. Изъ числа женщинъ выдѣляется, какъ типъ положительный, Марина, но для насъ остается не совсѣмъ яснымъ ея нравственный укладъ: что́ она такое, въ самомъ-ли дѣлѣ она—натура съ сильно выраженными нравственными задатками, или просто доброе, незлобивое, безобидное и пассивное существо, какихъ много.

Для Толстого, какъ моралиста, характерно въ этомъ его «опытѣ» то, что пьеса направлена противъ страстей и слабостей человѣческихъ, что въ ней показано, какъ подъ ихъ вліяніемъ извращается нравственное чувство и заглушается голосъ совѣсти. Это—«исторія одного преступленія», воспроизведенная моралистомъ, который подошелъ къ своей задачѣ съ предвзятою мыслью—показать, какъ, въ какой бытовой обстановкѣ, подъ какими вліяніями развивается деморализація, душевное извращеніе и преступность въ современной русской деревнѣ, гдѣ еще держатся кое-какія традиціи добрыхъ нравовъ и еще есть Акимы, въ простотѣ душевной хранящіе и законъ любви къ ближнему, и живое чувство справедливости, жалости и нравственной

отвѣтственности, вмѣстѣ съ наивною, но крѣпкою вѣрою въ Бога, который съ высоты небесъ зорко слѣдитъ за поведеніемъ людей и рано или поздно воздастъ «коемуждо по дѣломъ его».

Во всякомъ міркѣ или уголкѣ человѣческомъ есть своя уголовная хроника, и если мы подойдемъ къ этому уголку или мірку со стороны этой послѣдней, то получимъ картину, напоминающую то, что я называю экспериментомъ въ искусствѣ. Но смыслъ этой картины будетъ весьма различенъ, смотря по тому, на какой точкѣ зрѣнія стоимъ мы сами, съ какими мыслями и цѣлями мы ее разсматриваемъ. Возможны, напр., точки зрѣнія, мысли и цѣли 1) моралиста вообще, 2) моралиста религіознаго и аскета въ частности, 3) психолога, 4) психіатра, 5) криминалиста, 6) соціолога и т. д. и т. д. Если вы стоите на второй изъ указанныхъ точекъ зрѣнія, т. е. если вы адептъ и проповѣдникъ аскетической морали на религіозной почвѣ, то, навѣрное, вы главнымъ образомъ обратите ваше вниманіе и ваше негодованіе на грѣхи и преступленія плоти, на любострастіе, на прелюбодѣяніе, а слѣдовательно—на женщину. «Cherchez la femme», скажите вы,—и обрушитесь съ вашими обвиненіями прежде всего на представительницъ прекраснаго, но коварнаго пола, — какъ это дѣлали аскеты и моралисты всѣхъ временъ. Женщина — исчадье ада и сосудъ всякаго соблазна и зла—это старая, очень старая формула, которую мы найдемъ и въ старой Руси, и въ Индіи, и въ Европѣ среднихъ вѣковъ, и гдѣ угодно. И пора бы уже бросить ее,—пора бы моралистамъ придумать что нибудь поновѣе... Гнету старыхъ формулъ подчиняются даже геніи, когда они начинаютъ «архаизировать». Любопытно, что Толстой, какъ только онъ упрочился на своей религіозно-моральной точкѣ зрѣнія, такъ сейчасъ-же и началъ писать о женщинахъ, о бракѣ, то рекомендуя дамамъ сперва «отрожаться», а потомъ уже учиться и приниматься за разныя дѣла, то совсѣмъ запрещая имъ рожать и проповѣдуя бракъ—фиктивный. Какъ и въ другихъ отношеніяхъ, такъ и въ этомъ, романъ «Анна Каренина» былъ переходною ступенью въ развитіи идей Толстого,—и не даромъ этотъ романъ морализируетъ главнымъ образомъ по вопросу объ адюльтерѣ, и ему предпосланъ эпиграфъ: «Мнѣ отмщеніе, и Азъ воздамъ».—Но тамъ этотъ эпиграфъ не былъ оправданъ: Анна Каренина бросилась подъ поѣздъ не по произволенію Божію, а въ силу слѣпой женской ревности... Эпиграфъ лучше подходилъ бы къ «Власти тьмы», гдѣ жестокія муки совѣсти, переживаемыя

Никитой, его всенародное покаяніе и его жажда искупить свой грѣхъ наказаніемъ, дѣйствительно, могутъ, съ точки зрѣнія религіознаго моралиста, бытъ поняты и представлены какъ вердиктъ верховнаго нравственнаго закона, исходящій отъ Промысла.

Въ знаменитомъ романѣ моралистъ-аскетъ, такъ сказать, забѣгаетъ впередъ, но великій художникъ-наблюдатель еще не даетъ ему ходу и рисуетъ женщинъ не по вышеуказанной традиціонной формулѣ аскетовъ, а такъ, какъ онѣ являются въ дѣйствительности, съ женскими слабостями и недостатками, но и съ положительными качествами. И сама героиня, Анна Каренина, представлена вовсе не сосудомъ грѣха и соблазна, а, напротивъ, очень хорошею женщиною, все несчастье которой проистекло отъ неудачнаго брака, отъ неудовлетворенной потребности любви. При этомъ отнюдь не подчеркнута чувственная сторона любви. Художникъ относится отрицательно къ нарушенію супружеской вѣрности, но онъ ее мотивируетъ, почти извиняетъ, выдвигая впередъ моральную и поэтическую сторону любви и цѣломудренно заслоняя ея чувственную сторону, хотя онъ и не отрицаетъ ея наличности.

Когда моралистъ-аскетъ взялъ верхъ, и когда, вмѣстѣ съ тѣмъ, художникъ—наблюдатель превратился въ экспериментатора, тогда и женщины явились козлищемъ отпущенія, и чувственная сторона любви выступила на первый планъ. Такъ это во «Власти тьмы»—и вовсе не потому, что сюжетъ взятъ изъ народной жизни, гдѣ чувственности во всякомъ случаѣ не больше, чѣмъ въ высшихъ классахъ общества, а потому только, что художникъ сталъ моралистомъ аскетическаго пошиба.

На этомъ пути онъ вскорѣ пойдетъ еще дальше и дойдетъ до нѣкоторыхъ Геркулесовыхъ столбовъ — въ «Крейцеровой Сонатѣ», гдѣ онъ ополчится противъ — продолженія рода человѣческаго.

Но сперва онъ направитъ свои эксперименты въ другую сторону.

Онъ обратитъ свое негодованіе на совсѣмъ ужъ беззащитнаго передъ аскерической моралью средняго человѣка изъ общества,—того шаблонно-мыслящаго и по заведенному порядку живущаго человѣка, который учится въ гимназіяхъ, университетахъ, лицеяхъ, поступаетъ на службу, грѣшитъ съ модистками и дамами полусвѣта, потомъ женится, плодитъ дѣтей, такихъ же среднихъ и тусклыхъ, какъ и онъ, дѣлаетъ карьеру, ищетъ

протекціи, безконечно — счастливъ, когда получитъ лучшее мѣсто, повышеніе, съ приличнымъ окладомъ и соотвѣтственнымъ чиномъ, а потомъ вдругъ возьметъ, да и умретъ не во-время, не выполнивъ до конца своего предназначенія... И вотъ онъ лежитъ на столѣ, спокойный и строгій мертвецъ, и великая тайна смерти бросаетъ на всю эту жизнь зловѣщій свѣтъ или зловѣщій мракъ,—и художнику-экспериментатору желательно посмотрѣть, какъ озаряется или какъ омрачается эта жалкая и мелкая, въ его глазахъ, жизнь грозною и величавою тайной смерти.

Здѣсь опять—великій вопросъ жизни и смерти, вокругъ котораго вращаются помыслы религіознаго моралиста, тотъ самый вопросъ, съ котораго и началъ нѣкогда Левинъ, когда выступалъ на путь религіозныхъ и моральныхъ исканій..

II.

Чѣмъ собственно провинился Иванъ Ильичъ передъ моралью Толстого? Его грѣхи столь же многочисленны, сколько и «ужасны...» Уже въ юности, «въ правовѣдѣніи онъ былъ тѣмъ, чѣмъ онъ былъ впослѣдствіи, всю свою жизнь: человѣкомъ способнымъ, весело добродушнымъ и общительнымъ, но строго исполняющимъ то, что онъ считалъ своимъ долгомъ; долгомъ же онъ своимъ считалъ все то, что считалось таковымъ наивысше поставленными людьми. Онъ не былъ заискивающимъ ни мальчикомъ, ни потомъ взрослымъ человѣкомъ, но у него съ самыхъ молодыхъ лѣтъ было то, что онъ, какъ муха въ свѣту, тянулся къ наивысше поставленнымъ въ свѣтѣ людямъ, усвоивалъ себѣ ихъ пріемы, ихъ взгляды на жизнь и съ ними устанавливалъ дружескія отношенія [1]). (Глава II). — Потомъ, когда Иванъ Ильичъ служилъ въ провинціи чиновникомъ особыхъ порученій, этотъ «порокъ» принялъ форму подслуживанія начальнику и даже женѣ начальника (гл. II). Впрочемъ, этотъ карьеризмъ не переходилъ границъ общепринятой добропорядочности, какъ и другія прегрѣшенія молодости, въ родѣ того что у Ивана Ильича «была связь съ одной изъ дамъ, навязавшейся щеголеватому правовѣду,—была и модистка, были и попойки съ пріѣзжими флигель-адъютантами, и поѣздка въ дальнюю улицу

---

[1]) Курсивъ мой.

послѣ ужина...» Но «все это не могло быть называемо дурными словами», ибо «все происходило съ чистыми руками, въ чистыхъ рубашкахъ, съ французскими словами и, главное, въ самомъ высшемъ обществѣ, слѣдовательно, съ одобреніемъ высоко стоящихъ людей» (гл. II).

Виновенъ еще Иванъ Ильичъ въ томъ, что онъ не стоикъ, а эпикуреецъ: его идеалъ—жизнь легкая, приличная и пріятная. Съ этой же точки зрѣнія смотритъ онъ и на семейную жизнь. Бракъ съ Прасковьей Ѳедоровной казался ему вполнѣ отвѣчающимъ его «программѣ».—«Сказать, что Иванъ Ильичъ женился потому, онъ полюбилъ свою невѣсту и нашелъ въ ней сочувствіе своимъ взглядамъ на жизнь, было бы также несправедливо, какъ и сказать то, что онъ женился потому, что люди его общества одобрили эту партію. Иванъ Ильичъ женился по обоимъ соображеніямъ: онъ дѣлалъ пріятное для себя, пріобрѣтая такую жену, и вмѣстѣ съ тѣмъ дѣлалъ то, что наивысше поставленные люди считали правильнымъ. — И Иванъ Ильичъ женился...» (Гл. II).

Виновенъ еще Иванъ Ильичъ въ томъ, что ко всему на свѣтѣ, въ томъ числѣ къ службѣ и даже къ своей семейной жизни, относится какъ-то формально, можно бы сказать—«бюрократически». Такъ, еще въ бытность его чиновникомъ особыхъ порученій и, позже, судебнымъ слѣдователемъ, онъ «очень быстро усвоилъ пріемъ отстраненія отъ себя всѣхъ обстоятельствъ, не касающихся службы, и облеченія всякаго самаго сложнаго дѣла въ такую форму, при которой бы дѣло только внѣшнимъ образомъ отражалось на бумагѣ, и при которой исключалось совершенно его личное воззрѣніе и, главное, соблюдалась бы вся требуемая формальность (гл. II). — Такъ-же точно и въ семейной жизни Иванъ Ильичъ находитъ наиболѣе удобнымъ и приличнымъ держаться той-же системы,—соблюдать всѣ общепринятыя «формальности» семейнаго обихода, не участвуя въ интимной жизни семьи. Онъ въ семьѣ—«чиновникъ». Впрочемъ, онъ сталъ такимъ не сразу, а черезъ годъ послѣ женидьбы, когда обнаружился душевный разладъ между супругами, и Прасковья Ѳедоровна усвоила себѣ «тактику» вѣчныхъ попрековъ, ворчанія и грубыхъ выходокъ. Тогда Иванъ Ильичъ «понялъ, что супружеская жизнь, представляя нѣкоторыя удобства въ жизни, въ сущности есть очень сложное и тяжелое дѣло, по отношенію котораго, для того, чтобы исполнить свой долгъ, т. е. вести при-

личную, одобряемую обществомъ жизнь, нужно выработать опредѣленное отношеніе, какъ и къ службѣ. И такое опредѣленное отношеніе къ супружеской жизни выработалъ себѣ Иванъ Ильичъ. Онъ требовалъ отъ семейной жизни только тѣхъ удобствъ домашняго обѣда, хозяйки, постели, которыя она могла дать ему, и, главное, того приличія внѣшнихъ формъ, которыя опредѣлялись общественнымъ мнѣніемъ». (Гл, II).—Семейная жизнь доставляла ему огорченія и непріятности и противорѣчила его «идеалу легкой, пріятной и приличной жизни». И вотъ онъ душевно отчуждается отъ семьи, признаетъ это отчужденіе — дѣломъ нормальнымъ и даже «цѣлью своей жизни».— «Цѣль его состояла въ томъ, чтобы все больше и больше освобождать себя отъ этихъ непріятностей и придать имъ характеръ безвредности и приличія...» (Гл. II). Онъ достигаетъ этого тѣмъ, что какъ можно меньше проводитъ времени въ семьѣ, и еще тѣмъ, что «обезпечиваетъ свое положеніе присутствіемъ постороннихъ лицъ».—Непріютно, холодно и пусто въ его семьѣ,—и онъ ищетъ себѣ «душевнаго пристанища» на службѣ, въ своей общественной дѣятельности. Въ немъ все больше развивается честолюбіе... Но и здѣсь онъ оказывается столь-же несостоятельнымъ какъ и въ семейной жизни,—и здѣсь онъ опять—«виновенъ».

Виновенъ онъ въ томъ, что не способенъ внести, такъ сказать, «духъ живъ» въ свою общественную дѣятельность, что не имѣетъ никакого призванія къ дѣлу, а только—выучку, сноровку и служебную аккуратность,—и лишь исполняетъ обрядъ службы, чтобы 20-го числа получать жалованіе и дослужиться до повышенія и высшаго оклада. Однимъ словомъ, онъ виноватъ въ томъ, что онъ — человѣкъ служебной рутины и карьеры. Когда ему не повезло на службѣ, и онъ рѣшилъ искать другого мѣста,—онъ поѣхалъ въ Петербургъ «за однимъ: выпросить мѣсто въ пять тысячъ жалованія. Онъ уже не держался никакого министерства, направленія или рода дѣятельности. Ему нужно только было мѣсто,—мѣсто съ пятью тысячами, по администраціи, по банкамъ, по желѣзнымъ дорогамъ, по учрежденіямъ Императрицы Маріи, даже таможни—но непремѣнно пять тысячъ, и непремѣнно выйти изъ министерства, гдѣ не умѣли оцѣнить его» (гл. III).

Если собрать воедино всѣ эти пункты обвиненія, да еще присоединить къ нимъ всѣ тѣ мелкія черточки, которыя такъ искусно группируетъ и оттѣняетъ Толстой, чтобы выставить какъ

можно ярче душевную пустоту и пошлость Ивана Ильича, то получимъ выводъ, гласящій такъ: Иванъ Ильичъ привлекается къ моральному суду за то, что онъ—средній, шаблонный человѣкъ, безъ «искры Божьей». Моральное слѣдствіе, такъ художественно произведенное Толстымъ, выяснило, что настоящей любви къ дѣлу у подсудимаго нѣтъ, настоящихъ семейныхъ чувствъ нѣтъ, — какъ гражданинъ, какъ общественная величина онъ—нуль, выработанныхъ собственнымъ умомъ и опытомъ убѣжденій у него не имѣется,—какъ нравственная личность, онъ—ничтожество,—въ результатѣ выходитъ нуль душевнаго содержанія. За эту душевную «бѣдность да бѣдность» онъ и подлежитъ смерти, и тяжкій процессъ умиранія будетъ для него въ родѣ нравственной казни и въ то же время — искупленіемъ. Умирая онъ постепенно прійдетъ къ сознанію пустоты, пошлости и безобразія жизни, имъ прожитой, пойметъ свое ничтожество и почувствуетъ весь ужасъ своего душевнаго одиночества. И онъ умретъ — преображенный и просвѣтленный сознаніемъ, «что жизнь его была не то, что надо» (гл. XII), что, въ самомъ дѣлѣ, жизнь его была—«самая простая и обыкновенная» и вмѣстѣ съ тѣмъ—«самая ужасная» (гл. II).

Открыть и показать это «самое ужасное» въ «самой простой и обыкновенной жизни» и было цѣлью художественнаго эксперимента, проведеннаго съ необыкновеннымъ мастерствомъ. Это, можетъ быть, самый удачный изъ художественныхъ экспериментовъ Толстого.

Но это «ужасное», обнаруженное Толстымъ въ жизни Ивана Ильича, можетъ явиться въ весьма различномъ освѣщеніи, смотря потому, на какой точкѣ зрѣнія стоитъ читатель. Можно воспользоваться результатами художественнаго опыта Толстого, не раздѣляя моральной догмы художника и не предъявляя Иванамъ Ильичамъ тѣхъ суровыхъ требованій, съ которыми обращается къ нимъ Толстой. Для него Иванъ Ильичъ—настоящій нравственный уродъ, котораго «выпрямляетъ» только смерть. Для насъ эта исключительная точка зрѣнія не обязательна. Такихъ, какъ Иванъ Ильичъ, мы встрѣчаемъ въ жизни чуть не на каждомъ шагу и вовсе не считаемъ ихъ уродами. Да и въ самомъ дѣлѣ: Иванъ Ильичъ—человѣкъ не дурной, не злой, честный, неподкупный и т. д. Хотя большинство этихъ опредѣленій—отрицательны, т. е. указываетъ не столько на присутствіе хорошаго, сколько на отсутствіе дурного, но всетаки

въ общемъ они даютъ намъ характеристику весьма порядочнаго человѣка. Зная, что Иванъ Ильичъ, еще въ дореформенное время, когда онъ служилъ чиновникомъ особыхъ порученій, заявилъ себя человѣкомъ, котораго нельзя подкупить, что потомъ, въ должности слѣдователя или прокурора, онъ не злоупотреблялъ властью и даже старался смягчить ея проявленія и т. д.,—мы имѣемъ всѣ основанія отнести Ивана Ильича къ числу такъ называемыхъ «хорошихъ людей». И этимъ хорошимъ людямъ имя—легіонъ. И думается намъ, что для слѣдствія и суда надъ этимъ легіономъ съ точки зрѣнія высокихъ религіозно-моральныхъ требованій, какія предъявляетъ Толстой, нѣтъ достаточныхъ основаній. Я оспариваю, въ данномъ случаѣ, «подсудность» и выборъ «инстанціи». Толстой хочетъ, чтобы всякій такой Иванъ Ильичъ былъ непремѣнно развитою морально-религіозною личностью, подымающеюся надъ даннымъ уровнемъ шаблонныхъ понятій, чтобы этотъ средній, душевно—ничтожный человѣкъ являлся дѣятелемъ жизни, критически относящимся (и при томъ съ точки зрѣнія высшей морали) къ установленнымъ формамъ, нравамъ, условнымъ приличіямъ, чтобы, наконецъ, онъ не былъ мелкимъ эгоистомъ и не смотрѣлъ на жизнь, какъ на пріятное и приличное препровожденіе времени, а видѣлъ ея смыслъ и цѣнность въ служеніи нѣкоторому высшему идеалу. Толстой слишкомъ много требуетъ... Отъ Ивановъ Ильичей можно требовать только одного: чтобы они не опускались, морально и граждански, ниже средняго уровня и не мѣшали жить и дѣйствовать тѣмъ, которые подымаются выше его. Если они удовлетворяютъ этому скромному, минимальному требованію, мы скажемъ имъ: живите себѣ на здоровье! Плодитесь и множьтесь!.. Очень прискорбно, конечно, что вы не способны смотрѣть на общество, какъ на созидающееся зданіе, въ которомъ каждый долженъ быть работникомъ въ мѣру своихъ силъ и гражданскаго разумѣнія,—и для васъ оно—давно-готовый домъ, вѣками сооруженный и не требующій перестройки, и вы съ легкимъ сердцемъ водворяетесь туда, не заботясь о томъ, чтобы провѣтрить спертую атмосферу, и даже еще увеличивая ее затхлость... Но все это вамъ отпустится, если вы не препятствуете другимъ вентилировать зданіе, и если сами почувствуете нѣкоторое удовольствіе отъ притока свѣжаго воздуха. Для догмы и практики высокой морали вы не годитесь, но, можетъ быть, вы окажетесь способными привыкнуть дышать свѣжимъ воздухомъ...

III.

Описывая семейный разладъ, вѣчныя ссоры и переканія Ивана Ильича съ женою, указывая на то, что «ссоры каждую минуту готовы были разгораться», Толстой даетъ обращикъ ненормальной семейной жизни, когда нѣтъ настоящей любви между супругами, а есть только чувственное влеченіе, по удовлетвореніи котораго еще пуще разгорается взаимная вражда, явно принимающая характеръ органическаго отвращенія другъ къ другу. «Оставались (въ промежуткахъ распри) только тѣ рѣдкіе періоды влюбленности, которые находили на супруговъ, но продолжались не долго. Это были островки, на которые они приставали на время, но потомъ опять пускались въ море затаенной вражды, выражавшейся въ отчужденіи другъ отъ друга» (гл. II).—Это послужитъ отправною точкою для другого художественнаго «эксперимента», гдѣ будетъ ребромъ поставленъ мудренный вопросъ этики половыхъ отношеній вообще и спеціально—въ бракѣ. Адептъ аскетической морали, Толстой прійдетъ къ рискованному выводу, что половыя отношенія, все равно какъ внѣ брака, такъ и въ бракѣ, противорѣчатъ этической природѣ человѣка, и послѣдній, какъ существо моральное, долженъ отъ нихъ воздерживаться. Что послѣдовательное проведеніе этого принципа грозило бы прекращеніемъ рода человѣческаго, это не смущаетъ моралиста: для него «нравственный законъ» выше человѣчества и долженъ восторжествовать хотя бы цѣною гибели человѣчества,—точка зрѣнія, съ которою никогда не примирится это самое человѣчество, и которую, конечно, отвергнетъ и опровергнетъ наука и критическая философія, эти лучшіе друзья человѣчества и надежные союзники его—въ его стремленіяхъ къ счастью, равенству, справедливости и высшей—раціональной—морали «безъ санкціи» и «безъ обязательности»...

Новый экспериментъ, озаглавленный «Крейцерова соната», былъ проведенъ съ необычайнымъ художественнымъ мастерствомъ, и его результаты вылились въ форму, отмѣченную исключительною силою выраженія.

Я не могу дать здѣсь ни критическаго анализа «Крейцеровой сонаты», ни психологическаго разбора фигуры Позднышева и другихъ лицъ, ни наконецъ—критики основной идеи или оцѣнки вывода, къ которому пришелъ художникъ—моралистъ: вопросъ, имъ поставленный, принадлежитъ къ числу тѣхъ, о которыхъ

слѣдуетъ говорить много, обстоятельно и доказательно, или—ничего не говорить.—Я позволю себѣ только отмѣтить одну черту, относящуюся къ самой «постановкѣ опыта».

Разсказъ ведется отъ лица героя—Позднышева. Этотъ печальный герой является также выразителемъ моральной идеи Толстого. Онъ проповѣдуетъ ученіе послѣдняго по данному вопросу,—ученіе, въ справедливости и спасительности котораго онъ, Позднышевъ, убѣдился горькимъ опытомъ. Грѣшникъ и убійца, онъ выступаетъ въ роли «творца» и проповѣдника новой морали... Это, во всякомъ случаѣ, любопытно и, отчасти, согласуется съ тѣмъ, что̀ говоритъ намъ многовѣковая исторія нравственныхъ понятій и нормъ.—Мораль творили не только праведники, но и грѣшники.

Безконечно-разнообразны психологическіе пути, которыми, творя мораль, шли и праведники, и грѣшники. И зачастую, идя различными путями, они приходили къ одному и тому же результату,—къ созданію опредѣленныхъ нравственныхъ идеаловъ, къ выработкѣ извѣстной моральной догмы. Въ числѣ этихъ путей есть одинъ, особливо—любопытный, хотя, кажется,—не особливо-важный, это—именно тотъ, которымъ идетъ Позднышевъ,—путь крайняго негодованія и внутренняго возмущенія, граничащаго съ психозомъ, путь своеобразнаго цинизма и ожесточеннаго надругательства надо всѣмъ тѣмъ, въ чемъ, правильно или неправильно, грѣшникъ-моралистъ видитъ главную причину грѣха и зла вообще, своего личнаго паденія въ частности. Нельзя отрицать здѣсь присутствія того, что̀ выражается поговоркой: «съ больной головы на здоровую». Нельзя не видѣть здѣсь и тѣхъ логическихъ скачковъ и несообразностей, какія вообще являются неизбѣжными спутниками воспаленной мысли, одержимой страстью. Аскетическая проповѣдь воздержанія въ устахъ Позднышева—это какой-то дикій вопль и циническій бредъ маніака, видящаго соблазнъ и грѣхъ тамъ, гдѣ ихъ и въ поминѣ нѣтъ

Семейная жизнь Позднышева напоминаетъ семейную жизнь Ивана Ильича: какъ тамъ, такъ и здѣсь—вѣчная распря, взаимное отчужденіе и ожесточеніе, сплошной раздоръ, прерываемый кратковременными періодами «влюбленности». Между этими двумя состояніями: хронической злобы, взаимнаго ожесточенія съ одной стороны и краткими періодами («островками») «влюбленности» съ другой—устанавливается (и, повидимому, безъ достаточнаго основанія) тѣсная причинная связь: «...періоды злобы возникали

во мнѣ (разсказываетъ Позднышевъ) совершенно правильно и равномѣрно, соотвѣтственно періодамъ того, что мы называли любовью. Періодъ любви, періодъ злобы; энергическій періодъ любви,—длинный періодъ злобы, болѣе слабое проявленіе любви,—короткій періодъ злобы. Тогда мы не понимали, что эта любовь и злоба были тоже самое животное чувство, только съ разныхъ концовъ». (Гл. XVII.)—Позднышевъ возводитъ этотъ частный случай въ законъ. Онъ увѣренъ, будто то же самое повторяется во всѣхъ семьяхъ. Онъ утверждаетъ, что половая страсть для человѣка—«неестественна» (гл. XI) и съ психологической необходимостью должна приводить къ душевному огрубенію, ожесточенію, ненависти...

Позднышевъ, въ своихъ страстныхъ и желчныхъ обличеніяхъ, не щадитъ себя. Все время онъ кается, исповѣдуется, казнитъ себя... Но, присматриваясь ближе, мы легко, замѣтимъ, что въ этомъ отношеніи онъ представляетъ собою одну изъ самыхъ антипатичныхъ разновидностей кающагося грѣшника—моралиста. Онъ казнитъ себя за тотъ «грѣхъ», который у него оказывается общимъ со всѣмъ родомъ человѣческимъ. Въ своемъ лицѣ онъ казнитъ человѣчество. О своемъ-же личномъ «грѣхѣ», который и былъ не только непосредственною, но и главнѣйшею причиною его преступленія, онъ умалчиваетъ. Этотъ его «грѣхъ» или вѣрнѣе, моральный дефектъ состоитъ въ томъ, что онъ—человѣкъ злой, мелко-эгоистичный, слишкомъ подавленный гнетомъ своего маленькаго «я» и соотвѣтственно этому слишкомъ доступный дурману дрянной мужской ревности. Онъ убилъ жену изъ-за ревности, и при томъ ревности дикой, самолюбивой и злобной, сводящейся, въ концѣ концовъ, все къ тому же культу своего «я» и къ той-же душевной жесткости и грубости натуры, которыя сквозятъ во всѣхъ рѣчахъ Позднышева и такъ ярко сказались въ его семейной жизни съ ея трагическимъ финаломъ. И если ужъ ему подобаетъ, послѣ этого ужаснаго опыта жизни, «творить мораль», учить добродѣтели насъ грѣшныхъ и все человѣчество, погрязшее въ плотскомъ грѣхѣ, то, думается намъ, онъ долженъ былъ бы прежде всего ополчиться на истинно-безнравственную страсть ревности и на столь-же безнравственное сожитіе супруговъ, другъ друга ненавидящихъ. Предметомъ своихъ глубокихъ размышленій, живыхъ негодованій и страстныхъ обличеній ему слѣдовало бы избрать вопросы психологіи и этики брака, какъ юридическаго института, вопросы супружеской и

вообще семейной любви, а вовсе не мудренную до безнадежности біологическую и физіологическую проблемму половыхъ отношеній, рѣшить которую безсильна какая бы то ни было мораль, и ужъ навѣрное не разрѣшитъ мораль, творимая грѣшниками...

«Крейцерова соната» представляется мнѣ художественнымъ экспериментомъ, любопытнымъ во многихъ отношеніяхъ и прежде всего—какъ образщикъ блестящаго по исполненію эксперимента, превосходно иллюстрирующаго исходную мысль автора и въ то же время обнаруживающаго несостоятельность и, еще больше, негуманность аскетической морали, по крайней мѣрѣ въ томъ ея видѣ, въ какомъ является она у Толстого. Это произошло именно благодаря той «постановкѣ опыта», о которой я только-что говорилъ. Позднышевъ, какъ человѣкъ, какъ натура, явно недобрая, негуманная, производитъ на насъ впечатлѣніе отталкивающее. И это впечатлѣніе по неволѣ переносится и на ту мораль, которую онъ проповѣдуетъ. Въ морали, можетъ быть, больше, чѣмъ гдѣ-либо, c'est le ton qui fait la musique. А «тонъ» у Позднышева—циничный, дикій, изступленный, почти человѣконенавистническій... «Послѣсловіемъ»—уже отъ своего имени—Толстой какъ будто хотѣлъ исправить это впечатлѣніе... Но было уже поздно: Позднышевъ не уничтожается «Послѣсловіемъ», которое безсильно обезвредить его... Позднышевъ—художественный образъ, а художественное «слово» Толстого—всегда «со властью», какой не имѣетъ его «моральная въ тѣсномъ смыслѣ» проповѣдь...

IV.

Другое дѣло—та его проповѣдь, которую можно назвать «моральною въ широкомъ смыслѣ» и для которой иллюстраціею послужило «Воскресеніе», художественный экспериментъ смѣшаннаго характера: поэтъ выступаетъ здѣсь не только моралистомъ-аскетомъ, но и сатирикомъ. «Воскресеніе»—произведеніе на добрую половину сатирическое, мѣстами переходящее въ памфлетъ, и сама моральная догма Толстого представляется здѣсь болѣе широкою, болѣе эластическою, я готовъ сказать: болѣе гуманною, сравнительно съ тѣмъ, какою являлась она раньше.

Нехлюдовъ—также «грѣшникъ», который кается и творитъ мораль. Но онъ—не Позднышевъ. Если послѣдній способенъ вну-

шить намъ только отвращеніе, невольно распространяющееся и на его «мораль», то Нехлюдовъ, напротивъ, есть несомнѣнно тотъ «хорошій человѣкъ», который, по слову Гете, «въ своемъ темномъ стремленіи сознаетъ или находитъ правильный путь», — добавимъ отъ себя: свой правильный путь, необязательный для насъ. Его путь—не нашъ, но все наше сочувствіе на его сторонѣ. Его душевныя страданія, его исканія такъ привлекательны, такъ человѣчны, порою—такъ обаятельны, что мы, не раздѣляя всѣхъ его взглядовъ и его сужденій, не колеблясь, причисляемъ его къ истиннымъ друзьямъ человѣчества, призваннымъ «творить мораль». И онъ ее творитъ...

Если Позднышевъ не имѣлъ права говорить отъ имени Толстого, то Нехлюдовъ, несомнѣнно, имѣетъ это право.

Толстой придалъ ему нѣкоторыя—симпатичнѣйшія—стороны своей сложной натуры и ввѣрилъ ему пропаганду своихъ идей, въ ихъ послѣднемъ фазисѣ, когда онѣ, все расширяясь и углубляясь, становятся одной изъ великихъ—освободительныхъ—силъ времени.

Уже въ раннихъ произведеніяхъ Толстого, въ «Утрѣ помѣщика» и въ «Юности», мы встрѣчаемъ лицо Дмитрія Нехлюдова, въ которомъ, какъ извѣстно, воспроизведенъ былъ опредѣленный моментъ въ духовной жизни Толстого. Это одна изъ субъективныхъ въ тѣсномъ смыслѣ, «автобіографическихъ» фигуръ, на что мы и указали въ своемъ мѣстѣ (см. гл. I, III и IV).— На склонѣ своей дѣятельности, приступая къ «постановкѣ» грандіознаго художественнаго опыта, озаглавленнаго «Воскресеніе», Толстой вспомнилъ Дмитрія Нехлюдова и избралъ это старое имя для новаго героя, воспроизводящаго идеи и стремленія Толстого 90-хъ годовъ [1]). Николай Иртеньевъ, воплощеніе юнаго и молодого Толстого, называетъ Нехлюдова «чуднымъ Дмитріемъ»,—и этотъ «чудный Дмитрій» является для Иртеньева какъ-бы «развивателемъ» и руководителемъ въ жизни. Нехлюдовъ 50-хъ годовъ—это та сторона сложной натуры Толстого, въ которой по преимуществу сосредоточены задатки высокой моральной личности, тѣ импульсы, которые рано или поздно приведутъ къ «переоцѣнкѣ всѣхъ цѣнностей», къ нравственному

---

[1]) Что выборъ стараго имени не былъ случайностью и имѣетъ свое значеніе, это, мнѣ кажется, подтверждается тѣмъ, что въ одномъ мѣстѣ вспоминается и имя—Николая Иртеньева, какъ друга Нехлюдова (ч. II, гл. XXIX).

перевоспитанію человѣка, къ его внутреннему «воскресенію». Отъ Иртеньева, Оленина, Левина Нехлюдовъ всегда отличался большею уравновѣшенностью или раціональностью души, въ немъ нѣтъ или мало той, если можно такъ выразиться, умственной необузданности и душевнаго своенравія, какими въ той или иной мѣрѣ характеризуются другія художественныя воплощенія натуры Толстого. Эта особенность Нехлюдова оказалась весьма подходящею для «постановки» того опыта, который данъ въ «Воскресеніи».

Въ немъ также нѣтъ той душевной путаницы и смуты, сквозь которую пришлось съ такимъ трудомъ пробиваться къ свѣту Иртеньеву, Оленину, Левину. Душевный міръ Нехлюдова прозраченъ и открытъ передъ нами: мы, и безъ прямого свидѣтельства Толстого, могли бы, прочитавъ романъ, сказать о немъ: «Въ Нехлюдовѣ, какъ и во всѣхъ людяхъ, было два человѣка. Одинъ, духовный, ищущій блага себѣ только такого, которое было бы благомъ и другимъ людямъ, и другой—животный человѣкъ, ищущій блага только себѣ, и для этого блага готовый пожертвовать благами всего міра «(ч. I, гл. XIV)».—И вмѣстѣ съ тѣмъ, уже въ первыхъ главахъ романа намъ становится вполнѣ яснымъ, что этотъ второй, животный, человѣкъ въ Нехлюдовѣ лишь временно можетъ взять верхъ надъ первымъ, духовнымъ,—что это временное торжество животнаго человѣка, представляющееся, въ отношеніи многихъ, явленіемъ нормальнымъ, должно быть признано, для Нехлюдова, явленіемъ ненормальнымъ, извращеніемъ его настоящей натуры, «сумасшествіемъ эгоизма», по прекрасному выраженію Толстого.—Настоящая же натура Нехлюдова опредѣляется тѣмъ, что онъ—«одинъ изъ тѣхъ людей, для которыхъ жертва во имя нравственныхъ требованій составляетъ высшее духовное наслажденіе» (ч. I, гл. XII).

Нехлюдовъ не «мудрствуетъ» и не «мудритъ», какъ это дѣлали, въ свое время, Иртеньевъ, Оленинъ, Левинъ. Онъ просто—«честный, самоотверженный юноша, готовый отдать себя на всякое честное дѣло...» (ч. I, гл. XIII). Онъ—натура столь-же моральная, какъ и его литературные предшественники (Иртеньевъ, Оленинъ, Левинъ и Нехлюдовъ «Юности» и «Утра помѣщика), но, какъ умъ, онъ въ противоположность имъ, въ особенности тремъ первымъ, не склоненъ къ напряженному и головоломному морализированію и философствованію. Правда, «Міръ Божій представлялся ему тайной, которую онъ радостно и восторженно

старался разгадывать... и ему нужно и важно было общеніе съ природой и съ людьми, жившими, мыслившими и чувствовавшими до него (философами, поэтами)» (ч. I, гл. XIII), но все это еще не дѣлаетъ изъ него «самобытнаго философа» въ духѣ Ник. Иртеньева или Левина и, въ существѣ дѣла, имѣетъ тотъ-же психологическій смыслъ, какъ и то, что «женщина представлялась» ему «таинственнымъ и прелестнымъ,—именно этой таинственностью прелестнымъ существомъ» (ч. I, гл. XIII). И то, и другое было проявленіемъ господства въ немъ духовнаго человѣка надъ животнымъ,—прямымъ выраженіемъ его здоровой, доброй, возвышенной души, какою она и оставалась въ счастливое время свѣтлой юности, когда Нехлюдовъ писалъ студенческое сочиненіе «О землевладѣніи», отдалъ крестьянамъ землю, доставшуюся ему по наслѣдству отъ отца (гл. XII), и «любилъ Катюшу, какъ любятъ невинные люди, и его любовь была главной защитой отъ паденія и для него, и для нея...» (гл. XII.)

Подавленіе этого высокаго и чистаго уклада души страстями и усвоенными понятіями, всѣмъ, что Толстой превосходно опредѣляетъ—какъ «сумасшествіе эгоизма», было временнымъ, и только нужно было первое сильное, отрезвляющее впечатлѣніе, чтобы Нехлюдовъ освободился отъ гнета «животнаго человѣка». Извѣстно, съ какою быстротою и силою совершилось это перерожденіе или «воскресеніе» подъ живымъ воздѣйствіемъ пробудившейся совѣсти. Кризисъ выздоровленія отъ «сумасшествія эгоизма» изображенъ въ главѣ XXVIII-ой (I-ой части). Жизнь, которую велъ Нехлюдовъ, стала противна ему до отвращенія, и чарующе—властно заговорили въ немъ воспоминанія юности... «На него пахнуло этой свѣжестью, молодостью, полнотою жизни, и ему стало мучительно грустно».—И Толстой проводитъ параллель между тѣмъ прежнимъ, чистымъ, идеалистически-настроеннiемъ Нехлюдовымъ и теперешнимъ, загрязненнымъ, опошлившимся, опустившимся: «Различіе между нимъ, какимъ онъ былъ тогда и какимъ онъ былъ теперь,—было огромно... Тогда онъ былъ бодрый, свободный человѣкъ, передъ которымъ раскрывались безконечныя возможности, теперь онъ чувствовалъ себя со всѣхъ сторонъ пойманнымъ въ тенетахъ глупой, пустой, безцѣльной, ничтожной жизни... Онъ вспомнилъ, какъ онъ когда-то гордился своей прямотой, какъ ставилъ себѣ когда-то правиломъ всегда говорить правду и, дѣйствительно, былъ правдивъ, и какъ онъ теперь былъ весь во лжи,—въ самой страшной лжи,

признаваемой всѣми людьми, окружающими его, правдой». (ч. I, гл. XXVIII.)

Живое сознаніе этого контраста и настойчивый призывъ совѣсти (послѣ осужденія Масловой) указали Нехлюдову путь къ нравственному возрожденію. Въ ряду тѣхъ душевныхъ силъ, совмѣстнымъ дѣйствіемъ которыхъ былъ выработанъ его новый моральный укладъ, особенное вниманіе обращаетъ на себя чувство жалости и состраданія, являющееся въ глазахъ Нехлюдова чуть-ли не высшею добродѣтелью. Много разъ испытываетъ онъ это чувство, а когда не испытываетъ,—сожалѣетъ о томъ, что его нѣтъ, старается вызвать его въ себѣ, и вообще смотритъ на это душевное движеніе, какъ на высшее моральное начало, которому подобаетъ власть и господство въ душевномъ мірѣ человѣка и въ отношеніяхъ человѣка къ другимъ людямъ. Мнѣ кажется, это было новымъ шагомъ въ развитіи моральныхъ ученій и стремленій Толстого, сблизившимъ эти ученія и стремленія съ передовыми идеями и движеніями вѣка. До этого «шага», мораль Толстого, узко или строго-аскетическая, была, можно сказать, «безжалостна». Суровая, слишкомъ требовательная и непреклонно прямолинейная, она проповѣдовала любовь къ людямъ, но не знала жалости къ нимъ. Теперь, въ этомъ новомъ фазисѣ, она проникнута живымъ чувствомъ состраданія къ бѣдному, грѣшному, слабому, заблуждающемуся человѣку и уже не казнить его всѣми ужасами «Власти тьмы», жестокой смертью Ивана Ильича, страшными призраками и разоблаченіями «Крейцеровой сонаты». И если вдуматься, съ этой точки зрѣнія, «Воскресеніе» окажется почти «опроверженіемъ» и «Смерти Ивана Ильича», и, въ особенности, «Крейцеровой сонаты»... А вѣдь предпосылки—тѣ-же, догма—та-же, санкція—та-же самая...

Яркимъ выраженіемъ этого поворота Толстого въ сторону жалости могутъ служить мысли Нехлюдова въ главѣ XXXVIII-ой II-ой части: «Все дѣло въ томъ, что люди думаютъ, что есть положенія, въ которыхъ можно обращаться съ человѣкомъ безъ любви, а такихъ положеній нѣтъ. Съ вещами можно обращаться безъ любви... Правда, что человѣкъ не можетъ заставить себя любить, какъ онъ можетъ заставить себя работать; но изъ этого не слѣдуетъ, что можно обращаться съ людьми безъ любви, особенно если чего-нибудь требуешь отъ нихъ. Не чувствуешь любви, сиди смирно—занимайся собой, вещами, чѣмъ хо-

чешь, но только не людьми...» Эти замѣчательныя слова будутъ еще яснѣе, если слово «любовь» (кстати сказать, очень растяжимое и вообще неудобное, какъ терминъ) мы поставимъ слово «жалость». И это будетъ не только перемѣна выраженія, но и нѣсколько иная постановка практической задачи: нельзя заставить себя любить человѣка, намъ антипатичнаго, противнаго, но можно вызвать въ себѣ чувство жалости къ нему — за то самое, что онъ антипатиченъ и противенъ. И Нехлюдовъ, можно сказать, «упражняется» въ этомъ вызываніи въ себѣ чувства жалости, и я склоненъ такого рода «упражненіямъ» приписывать гораздо больше моральнаго значенія, чѣмъ самымъ краснорѣчивымъ моральнымъ проповѣдямъ и самымъ грознымъ обличеніямъ. — Теперь прочтемъ слѣдующее мѣсто изъ главы V-ой III-ей части: «Онъ (Нехлюдовъ) испытывалъ теперь (по пути въ Сибирь) къ ней (Масловой) чувство, никогда не испытанное имъ прежде...„ Это, оказывается, было «простое чувство жалости и умиленія». «О чемъ бы онъ ни думалъ теперь, что бы ни дѣлалъ, общее настроеніе его было это чувство жалости и умиленія, не только къ ней, но ко всѣмъ людямъ [1]). — Это чувство какъ-будто раскрыло въ душѣ Нехлюдова потокъ любви, не находившій прежде исхода, а теперь направлявшійся на всѣхъ людей, съ которыми онъ встрѣчался...»—

Морали, основанной на чувствѣ жалости, слѣдуетъ, мнѣ кажется, отдать рѣшительное предпочтеніе передъ той, которая основана на суровой догмѣ «воздержанія», аскетизма.

Мораль, основанная на жалости, на состраданіи, не ищетъ догмы и не нуждается въ санкціи. Одинъ изъ новыхъ и высшихъ продуктовъ нравственной эволюціи человѣчества, она, повидимому, имѣетъ всѣ шансы стать моралью будущаго. Она призвана смягчать рѣзкія формы соціальной борьбы. Она содѣйствуетъ установленію взаимнаго пониманія и сочувствія между народами, расами, классами, партіями.

Она хороша еще тѣмъ, что, подобно наукѣ, никакихъ отвѣтовъ на «проклятые вопросы» не даетъ и не претендуетъ разъ на всегда объяснить людямъ—въ чемъ счастье, что такое «высшее благо, доступное человѣчеству» и какъ устроить Царствіе Божіе на землѣ. Она — не догматична и не теократична.

[1]) Курсивъ мой.

Съ этимъ Нехлюдовъ, какъ и Толстой, помириться не могутъ. Выдвигая впередъ чувство жалости, они въ своихъ моральныхъ исканіяхъ не могутъ остановиться на этомъ и, устремляясь дальше, не замѣчаютъ, что возвращаются назадъ. То, что мы читаемъ въ послѣдней главѣ романа, есть, по моему, шагъ назадъ. Впрочемъ это не имѣетъ большого значенія... Оставляя въ сторонѣ Нехлюдова, мы имѣемъ право сказать о самомъ Л. Н. Толстомъ, что великій писатель земли Русской, послѣ «Воскресенія» (1899), не вернулся къ прежнему фазису, характеризуемому безплоднымъ аскетизмомъ «Крейцеровой Сонаты» и теоріей «недѣланія». Онъ съумѣлъ согласовать свои моральныя стремленія, свое ученіе съ жгучими запросами историческаго момента,—и мы теперь имѣемъ въ его лицѣ не только геніальнаго художника и оригинальнаго мыслителя—моралиста, но и—великаго историческаго дѣятеля.

PG
3410
O87
1905

Ovsianiko-Kulikovskii, Dmitrii Nikolaevich
L. N. Tolstoi kak khudozhnik
[Izd. 2., ispr. i dop.]

PLEASE DO NOT REMOVE
CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

UTL AT DOWNSVIEW
D RANGE BAY SHLF POS ITEM C
39 09 20 07 14 011 6